

Франсуа Фенелон

# Телемак



# Франсуа де Салиньяк де Ла Мот Фенелон Телемак

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=6686231](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6686231)*

## **Аннотация**

«Калипсо ничем не могла утешиться по разлуке с Улиссом. В горести она считала свое бессмертие казнью. Давно уже не было слышно песен в ее пещере, давно ее нимфы ничего не смели сказать ей. Часто она блуждала уединенно по цветистым лугам, которыми вечная весна одевала кругом ее остров, но и прелестные места не могли рассеять ее грусти, возбуждали еще в ней печальное воспоминание о том, как она бывала там вместе с Улиссом. Часто она стояла у моря долго и неподвижно и вся в слезах непрерывно глядела в даль бесконечную, где корабль Улиссов, рассекая волны, скрылся от ее взора...»

# Содержание

Часть первая	5
Книга первая	5
Книга вторая	23
Книга третья	44
Книга четвертая	66
Книга пятая	87
Книга шестая	108
Книга седьмая	122
Книга восьмая	147
Книга девятая	173
Книга десятая	193
Книга одиннадцатая	210
Книга двенадцатая	225
Часть вторая	257
Книга тринадцатая	257
Книга четырнадцатая	277
Книга пятнадцатая	296
Книга шестнадцатая	317
Книга семнадцатая	334
Книга восемнадцатая	353
Книга девятнадцатая	371
Книга двадцатая	389
Книга двадцать первая	412

Книга двадцать вторая	431
Книга двадцать третья	448
Книга двадцать четвертая	465

# Франсуа Фенелон

## Телемак

*Печатать позволяется с тем, чтобы по отпечатании представлено было в Цензурный комитет узаконенное число экземпляров.*

*С.-Петербург, июня 7 дня 1838 года. Цензор А. Никитенко*

### Часть первая

#### Книга первая

*Телемак и Ментор выброшены бурей на остров Калипсо. Богиня предлагает Телемаку бессмертие.*

*Он начинает рассказ о своем путешествии.*

*Опасности в Сицилии.*

*Ментор отражает нападение варваров на город Ацестов.*

*Отъезд из Сицилии.*

Калипсо ничем не могла утешиться по разлуке с Улиссом.

В горести она считала свое бессмертие казнью. Давно уже не было слышно песен в ее пещере, давно ее нимфы ничего не смели сказать ей. Часто она блуждала уединенно по цветистым лугам, которыми вечная весна одевала кругом ее ост-

ров, но и прелестные места не могли рассеять ее грусти, возбуждали еще в ней печальное воспоминание о том, как она бывала там вместе с Улиссом. Часто она стояла у моря долго и неподвижно и вся в слезах непрестанно глядела в даль бесконечную, где корабль Улиссов, рассекая волны, скрылся от ее взора.

Вдруг она видит обломки разбитого корабля, доски переломленные, весла, выброшенные на берег, руль, мачту и разные снасти, поверх зыбей несомые к острову. Скоро увидела она вдали двух странников: одного в преклонных уже летах, другого при всем еще цвете юности, сходного с Улиссом приятностью и горделивой осанкой, ростом и величавою поступью, предугадала, что то был Телемак, сын мудрого героя. Но, хотя боги знают все и недоступное уму человеческому, она не постигала, кто бы был его спутник, почтенный сединами. Вышние боги блюдут в глубоком мраке от низших богов все, что им благоугодно, и Минерва, сопровождая Телемака во образе Ментора, не хотела вверить своей тайны Калипсо.

Невзирая на то, Калипсо радовалась несчастному случаю, который привел к ней на остров сына Улиссова, во всем другого Улисса, спешила к нему навстречу и, не показывая и вида того, что знала, кто он, говорила:

– Какая дерзость – пристать к моему берегу! Юный странник! Знай, что никто еще не приходил безнаказанно в мою область.

Грозными словами она старалась прикрыть радость сердца, но все черты лица наперекор ей дышали радостью.

Телемак отвечал:

– О ты, смертная или богиня. Но кто пред лицом твоим не почитит божества в твоём образе? Можешь ли ты без сострадания видеть несчастного сына, который, странствуя по всем морям за отцом своим, сам стал игралищем вихрей и волн и у берегов твоих претерпел кораблекрушение?

– Кто твой отец? – спросила Богиня.

– Отец мой, Улисс, один из тех царей, – отвечал Телемак, – которые после десятилетней осады обратили в пепел гордую Троию. Вся Греция и Азия чтут его имя, славное мужеством в битвах, а еще более мудростью в советах. Теперь он, как изгнанник, переходит из моря в море, от одной ужасной пучины к другой ужаснейшей, ищет родной земли и не находит, Пенелопа, супруга, и я, сын его, мы потеряли всякую надежду соединиться с ним. Я, роком также гонимый, скитаюсь из страны в страну, не узнаю ли, где он. Но что говорю? Может быть, он давно уже в бездне моря. Сжался над несчастным, богиня! И если известна тебе воля судьбы, спасла ли она Улисса, обрекла ли на гибель: то возвести жребий отца сыну его, Телемаку.

Изумленная и растроганная столь зрелым разумом и витийством в нежном цвете юного возраста, Калипсо не отводила взора от Телемака и долго молчала. Потом говорила ему:

– Телемак! Я расскажу тебе все, что постигло отца твоего, но эта повесть потребует времени. Тебе нужен покой после страданий, иди ко мне в жилище, я приму тебя, как сына, пойдем, ты будешь отрадой мне, одинокой, счастье ждет тебя под моим кровом, умей только им воспользоваться.

Телемак пошел за богиней. Окруженная множеством юных нимф, она была выше их на целую голову, подобно тому, как великий дуб в лесу возносит выше всех вокруг его деревьев пышные ветви. Телемак не мог надивиться и блеску ее красоты, и великолепному багряному цвету длинной, сходящей долу одежды, и волосам, завязанным сзади с прелестной небрежностью, и взору, молнии подобному, и сливной с огнем в глазах ее нежности. Ментор, безмолвный, с очами поникнувшими, смиренно следовал за Телемаком.

Достигли пещеры Калипсо. Телемак, изумленный, нашел там под кровом сельской простоты все, что могло пленить его взор. Не было там ни золота, ни серебра, ни мраморов, ни столбов, ни изваяний, ни живописи. Пещера в кремнистой горе устроена была в виде сводов, унизанных раковинами и камнями светящимися. Стены были одеты молодой виноградной лозой, расстилавшей равно во все стороны гибкие ветви. Кроткие зephyры сохраняли в ней при палящем дневном зное приятнейшую прохладу. Ручьи, с тихим шумом струясь по долинам, усеянным фиалками и амарантами, оставляли в разных местах заливами воды, прозрачные, как чистый кристалл. Зеленый луг, как широкий около пеще-



ры ковер, был весь изукрашен цветами. Вдали виднелась роща, вся из тех тенистых деревьев, которые приносят золотые плоды, сменяют цвет новым цветом с изменением каждого времени года и разливают дух животворный. Венец прекрасных долин, она была посреди их, как царство ночи, недоступное солнцу. Слух пленялся пением птиц или внимал громам водопада, который сыпался сверху скалы клубами пены и бежал по лугам далеко от взоров.

Пещера была на скате холма. Представлялось оттоле глазам бесконечное море, то тихое и гладкое, как зеркало, то в бурной борьбе со скалами. Волны со стоном плескали в утесы и вновь поднимались, как горы.

С другой стороны извивалась река, островами усеянная. По злачным берегам их цветущие липы и высокие тополя гордо возносили под облака пышные ветви. Протоки, омыв острова, расходились вдоль по обширной равнине. В одном струи светлые быстро катились, в другом вода стояла, как усыпленная, иной, будто вспомнив об истоке, издалека обратно бежал и, казалось, расстаться не мог с волшебными берегами.

Вдали холмы и горы терялись в облаках и живописными изменениями представляли каждому взгляду новые виды. Ближние горы были одеты виноградными лозами, которые висели с дерева на дерево длинную цепью. Прозрачные, багровым соком тучные гроздья не могли скрыться под листьями, и лоза под тягостью плода клонила долу. Смоков-

ницы, масленичные, гранатовые, всех родов деревья составляли пространный сад по долине.

Калипсо, показав Телемаку все красоты своего острова, сказала ему: тебе нужно отдохновение, перемени одежду измокнувшую, после увидимся, и ты услышишь о таких происшествиях, каких не ожидаешь: сердце твое растрогается. И велела отвести его с Ментором в уединенное место особой пещеры подле той, где сама обитала. Нимфы положили там для них одеяние и развели огонь из кедрового дерева: пещера наполнилась приятнейшим благоуханием.

Телемак, увидев оставленное для него одеяние, одно из тонкой ткани, превосходившей снег белизной, другое багряного цвета с богатым золотым шитьем, любовался этим великолепием с удовольствием, свойственным юноше.

– Такие ли мысли, Телемак, должны занимать сердце сына Улисса? – строгим голосом сказал ему Ментор. – Поддерживать славу родителя, победить судьбу, тебя преследующую – вот что должно быть предметом твоих мыслей! Юноша, любящий, как женщина, драгоценное убранство, недостойн мудрости и славы. Слава есть достояние сердца, которое умеет страдать, отвергая забавы.

– Пусть снидет на меня гром с небес прежде, нежели нега и страсть к наслаждениям овладеют моим сердцем, – отвечал Телемак с глубоким вздохом, – Нет! Сын Улисс не поработит себя прелестям жизни позорной и сладострастной. Но каким небесным промыслом после несчастного круше-

ния мы приведены к смертной или богине, осыпающей нас благодеяниями?

– Страшись, – прервал его Ментор, – чтобы она не ввергнула тебя в новые бедствия. Страшись обворожительных ее прелестей более, нежели камней под водой. Кораблекрушение, самая смерть не столь опасны, как удовольствия, подмывающие в нас добродетель. Не верь хитрым вымыслам. Юность высокомерна, возлагает всю надежду на свою крепость, слабая трость мечтает быть всемогущей и, никогда не пребывая на страже у сердца, легкомысленно отдает его всякому. Не внимай сладким и льстивым словам коварной Калипсо. Они будут вкрадываться в тебя, как змея под цветами. Трепещи тайного яда, не верь себе и ничего не начинай без совета твоего верного друга.

Потом они возвратились к богине, которая уже их ожидала. Немедленно нимфы, все в белой одежде и с волосами, заплетенными в косы, подали им яства простые, но приготовленные с отличным вкусом из птиц, пойманных сетью, и из зверей, убитых стрелами на ловле. Вино, приятнейшее нектара, переливалось из огромных серебряных сосудов в золотые чаши, цветами обвитые. Поставлены на стол корзины, полные отборных всякого рода плодов, которых предвестница молодая весна, и которые осень сыплет на землю щедрой рукой. Стали между тем петь четыре нимфы, цветущие юностью: пели прежде всего брань богов с исполинами, потом любовь Юпитера и Семелы, рождение Вакха, воспитание его

под руководством престарелого Силена, бег Аталанты и Гиппомена, обязанного победой золотым яблокам из гесперидского сада, и, наконец, Троянский поход: до звезд превозносили ум и битвы Улиссовы. Первая нимфа Левкотея с нежным голосом прочих соединяла звуки лиры.

Услышав имя отца своего, Телемак прослезился. Слезы, струясь по лицу, придали красоте его новое очарование. Но Калипсо, заметив, что он в крушении сердца забывал и голод и пищу, дала знак нимфам, и тотчас они воспели брань кентавров с лапитами и снисхождение Орфея в царство Плутоново за Эвридикой.

После стола богиня, устранившись с Телемаком, говорила ему: – Сын великого Улисса! Ты видишь, с каким отличием я принимаю тебя. Я бессмертна. Никто из земнородных, ступив на мой остров, не может избежать гнева, карающего такую дерзость. И тебя самое кораблекрушение не оградило бы от моего негодования, если бы я не полюбила тебя. Отца твоего ожидало такое же счастье, но он не умел им воспользоваться. Я долго удерживала его у себя на острове. От него зависело наслаждаться со мной бессмертной жизнью.

Ослепленный желанием возвратиться в бедное отечество, он отвергнул все мои предложения. Ты видишь, чего он сам себя лишил для Итаки, – и то напрасно, он и не видел Итаки, покинув меня, он пошел по волнам, но месть была недалеко: поднялась буря, корабль его, долго быв игралищем вихрей, погряз в пучине. Печальный пример тебе в наставле-

ние! Что остается тебе после судьбы, постигшей Улисса? Вся твоя надежда некогда соединиться с ним или наследовать по нем державу в Итаке исчезла. Но утешься. Ты не останешься си ротой, потеря отца твое счастье: богиня готова устроить твою участь, ты находишь царство, которое она тебе предлагает.

Потом она еще описывала ему в длинном рассказе, как Улисс был счастлив под ее кровом, представила плен его в пещере ужасного циклопа Полифема и бедствия, претерпленные им у берегов Антифата, царя Лестригонского, вспомнула о всех происшествиях на острове Цирцеи, дочери солнца, и о всех опасностях, которым он подвергался между Харибдой и Сциллою, изобразила и последнюю бурю, воздвигнутую в казнь ему Нептуном, когда он оставил ее остров, хотела уверить Телемака, что отец его был жертвой бури, и умолчала о прибытии его в Феакию.

Восхищенный отличным приемом, упоенный сначала радостью, Телемак, наконец, разгадал коварство Калипсо и почувствовал мудрость Менторовых наставлений. Он отвечал кратко:

– Богиня! Прости мои скорби. Горе подавляет во мне всякое чувство. Может быть, время даст мне более силы воспользоваться твоим даром. Позволь мне теперь оплакать отца: ты знаешь лучше меня, сколь он того достоин.

Калипсо тотчас не смела противоречить, и даже, под притворным видом участия в горести сына, сострадала с ним об

отце. Но, чтобы видеть, чем удобнее могла поколебать юное сердце, спросила Телемака, как он претерпел кораблекрушение и какими судьбами брошен на ее берег.

– Повесть о злополучии моем будет весьма продолжительна, – отвечал он.

– Нет! Нет! – возразила Богиня, – Я жажду знать твое странствование, теперь же, теперь же расскажи мне свое путешествие.

Долго молила его, наконец, он не мог ничего уже сказать на ее убеждения и начал так свою повесть:

– Я оставил Итаку, чтобы узнать о жребии отца своего от прочих царей, возвратившихся из-под Трои. Преследователи моей матери поражены были неожиданным моим отсутствием: я скрывал от них свое намерение, зная их вероломство. Нестор, которого нашел я в Пилосе, и Менелай, принявший меня дружественно в Лакедемоне, не могли мне сказать, жив ли еще отец мой. Утомленный неизвестностью и непрерывными сомнениями, я решился идти в Сицилию: промчалась тогда молва, что отец мой занесен туда бурей. Мудрый Ментор, мой спутник, не одобрял этого дерзкого предприятия, представлял мне с одной стороны циклопов, ужасных исполинов, людоедов, с другой – корабли Энеевы и троян на берегах сицилийских.

– Трояне, – говорил он, – враги греческого племени, какое же торжество для них будет пролить кровь сына Улиссава? Возвратись в Итаку, – продолжал он. – Может быть, отец

твой под кровом богов прибудет туда вслед за тобой. Но если бы и суждено было ему погибнуть и никогда уже не видеть отечества, то все дол г твой отмстить за него, избавить мать от преследований, показать ум свой народам, показать Греции образ царя, достойного царствовать, – нового Улисса.

Спасительное предвозвещение! Но, ослепленный, я не внял ему, внимал своей страсти. Мудрый Ментор простер любовь ко мне до того, что согласился быть моим спутником в дерзком, предпринятом вопреки всем его советам странствования. И боги попустили мне преткнуться, чтобы падением смирить мое высокомерие.

Так говорил Телемак. Калипсо между тем обращала взоры на Ментора и изумлялась. Она предугадывала, чувствовала в нем божественную силу, но не могла сообразить смутных своих мыслей, от подозрений к страху, от страха к подозрениям переходила перед таинственным странником, наконец, боялась показать тревогу души и говорила:

– Продолжай, Телемак, свою повесть, удовлетвори моему любопытству.

Он продолжал:

– Довольно долго мы имели по пути в Сицилию ветер благоприятный. Но скоро черная туча расстлалась по всему небу, и ночь раскинула вокруг нас мрачные тени. Под заревом молний мы увидели другие корабли, также в опасности, и тотчас заметили, что то были корабли Энеевы, – камни в пучине были бы для нас менее страшны. Тогда, но уже

поздно, я увидел свое заблуждение, которого прежде легкомысленная юность, слепая в пылком порыве, не дала разглядеть мне с должным вниманием. Наступившее бедствие Ментор встретил не только с бесстрашной твердостью, но даже с необыкновенным в лице весельем, ободрял меня, оживлял дух мой непреоборимой силой и спокойно давал повеления вместо унылого кормчего. Я говорил ему:

– Любезный Ментор! Зачем я не внял твоим наставлениям? Я несчастлив: положился сам на себя в таком возрасте, когда нет в человеке ни прозрения в будущее, ни опыта в прошедшем, ни в настоящем скромного благоразумия. Ах! Если теперь удастся нам спастись от бури, никогда и ни в чем уже не поверю себе, как опаснейшему врагу своему. Любезный Ментор! Тебе во всем буду повиноваться.

Он отвечал мне с улыбкой:

– Я не стану упрекать тебя в погрешности, довольно того, что ты сам ее чувствуешь, и пусть она научит тебя сдерживать впредь свои желания. Но когда пройдет опасность, высокомерие, может быть, снова возникнет. Теперь надлежит вооружиться великодушным терпением. Прежде, чем подвергнешься опасности, надобно предусматривать, бояться ее. Но когда она настигнет, тогда одно оружие – преодолеть ее мужественно. Будь сыном, достойным Улисса, вознесись сердцем выше беды.

Я восхищался непоколебимым спокойствием мудрого Ментора, но как удивился, когда увидел, с каким искусством



он избавил нас от рук неприятельских! Как только из-за туч показалось ясное небо, так, что трояне, уже вблизи, легко могли узнать нас, он завидел вдали один из их кораблей, сходный по всем почти с нашим: буря отдалила его от прочих. На корме у них цветы были подняты. Он поднял и у нас на корме венки из цветов, сам увязал их тканями такого же цвета, какие развевались на том корабле, и, чтоб неприятель не мог узнать нас по гребцам, велел им наклониться. Посредством этой хитрости мы прошли между их кораблями. Приняв врагов за товарищей, которых почитали жертвой моря, они встретили нас радостным криком. Увлеченные стремлением вод, мы принуждены были долго плыть с ними вместе, наконец, отстали от них. Бурный ветер обратил их между тем к Африке, а мы истощили последние усилия, чтобы на веслах достигнуть ближайшего берега Сицилии.

Достигли, но не на радость: рать, которой мы убегали, и самое убежище равно для нас были пагубны. Мы нашли в той стороне Сицилии иных троян, но ту же вражду против греков. Там царствовал престарелый Ацест, переселившийся из Трои. Лишь только вышли мы на берег, они приняли нас за других ли того же острова жителей, неожиданных врагов, или за иноземцев, коварных гостей: в первом порыве гнева предадут корабль наш огню, всех наших спутников – смерти, оставляют в живых меня и Ментора, но только для того, чтобы представить Ацесту и допросить нас, откуда мы и с каким намерением пристали к их берегу. Связали нам руки,

мы входим в город, и казнь наша, потешное зрелище расщепившему народу, отложена только до удостоверения в том, что мы греки.

Привели нас к Ацесту. С золотым жезлом в руке, он судил тогда подданных и приготавлился к какому-то особенному жертвоприношению. Грозным голосом он спросил нас, откуда мы и зачем прибыли?

– Мы пришли с берегов великой Гесперии, и отечество наше недалеко оттоле, – отвечал Ментор. Таким образом он умолчал о том, что мы греки. Но царь, отвратив от него слух и приняв нас за чужеземцев, опасных тайными замыслами, велел сослать нас в леса, где под властью главных стражей его стад мы должны были служить как невольники.

Эта участь в глазах моих была мучительнее всякой казни. Я тут же сказал:

– Государь! Предай нас смерти, но не позорному рабству. Знай, что я – Телемак, сын мудрого Улисса, царя Итакского. Я ищу отца по всем морям. Если уже судьба не велит мне ни увидеть родителя, ни возвратиться в отечество, ни избавиться от рабства, то прекрати мою жизнь – убийственное бремя.

Сказал я – и вдруг весь народ, запыхав гневом, обрек единогласно на смерть сына того бесчеловечного, как они вопили, Улисса, которого хитростью пали стены Трои.

– Сын Улиссов! – говорил мне Ацест. – Тени витязей несчастной Трои, низринутых отцом твоим на берега мрачного Коцита, требуют твоей крови. Ты и наставник твой, оба

вы должны погибнуть.

Тогда старец из толпы народа предложил царю заклать нас на гробе Анхизовом. Кровь их, говорил он, будет приятна его тени. Сам Эней, услышав о такой жертве, отдаст справедливость твоей любви к тому, кто был для него драгоценнее всего на свете.

Народ отвечал громкими рукоплесканиями, алкая нашей крови. Повели нас ко гробу Анхизову, поставили там два жертвенника, зажгли на них священный огонь, возложили на нас венки из цветов, роковая секира сверкала у нас перед глазами, никакое сострадание не могло уже быть нам заступником, час наш ударил. Вдруг Ментор, с лицом светлым, испросив дозволение, обратил речь к царю и говорил:

– Великий царь, если несчастная доля юного Телемака, который никогда не обнажал меча против Трои, не может вселить сострадание в твое сердце, то пусть преклонит его на жалость ваша собственная польза. Дар прорицания и предвидения воли богов открывает мне, что еще до истечения трех дней вы увидите свирепый и дикий народ у себя под стенами. Он идет уже с гор, как быстрый поток, чтобы вторгнуться в ваш город, расхитить всю вашу область. Не медли, предупреди нападение, вооружи своих подданных, спеши собрать стада из окрестностей. Окажется мое предсказание ложным – жизнь наша по истечении трех дней в твоей власти, сбудется – тогда вспомни, что не должно отнимать жизни у тех, кому мы ею обязаны.

Ацест, изумленный, безмолвно внимал прорицанию. Ментор говорил ему с уверенностью, совсем для него новой. Царь сказал:

– Странник! Боги, даровав тебе скудную долю счастья, ниспослали за то тебе мудрость, драгоценнейшую сокровищ.

И отложив жертвоприношение, немедленно устроил все меры защиты против нашествия варваров, предвозвещенного Ментором.

Стекались со всех сторон в город женщины в трепете, старцы с поникнувшими головами, дети с плачем и воплем. Стадами с тучных лугов приходили волы с томным ревом и овцы с жалобным бляением, оставаясь без крова и сени. Везде раздавался крик унылого страха, жители в отчаянии преследовали друг друга толпами, один другому не внемля, неизвестного в смутной тревоге считали за друга, и мчались, не зная куда. Но знатнейшие граждане, надменные мнимой прозорливостью, думали, что Ментор был лстец, вымысливший ложное предсказание для спасения жизни.

Спокойно они оставались в этих мыслях как вдруг перед истечением третьего дня пыль за клубилась на окрестных горах, засверкало оружие, толпа тянулась, как темная туча. То были гиммерияне, свирепое племя, и с ними дикие с хребтов Невродских и с Акрагской горы, где царствует зима, одетая вечными льдами. Презревшие предсказание Менторово лишились и стад, и рабов. Царь говорил ему: я забываю, что вы греки, вижу в вас не врагов, а верных друзей, вас Боги по-

слали спасти нас от гибели. Довершите мудрые советы мужеством в опасности: подайте нам руку помощи.

Смотрю я на Ментора: вижу доблесть ратоводца в глазах его. Самые смелые витязи стояли перед ним, как пораженные. Он, надев шлем, берет меч, и щит, и копье, строит дружину воинов Ацестовых, сам идет впереди и бодрую рать ведет прямо против неприятеля. Ацест, здоровый рвением, но ветхий летами, издалека едва за ним следует. Я, хотя шел по следам его, но также далек был от него в мужестве. Броня его в битве блистала, как бессмертный эгид<sup>1</sup>. Под сильными ударами меча его смерть перебегала из строя в строй, как лев нумидийский, когда он, томимый голодом, встретит стадо слабых овец, рвет их, терзает, плавает в крови: пастухи в трепете, покинув стадо без защиты и помощи, бегут от его ярости.

Варвары, мнив найти открытый путь в сердце города Ацестова, дрогнули, изумленные сопротивлением. Рать, предводимая Ментором, его примером, его голосом оживляемая, ударила на врагов против собственного чаяния с невероятной храбростью. Я сразил сына царя их. Он был моих лет, но ростом выше меня: народ тот есть отрасль исполинов, одноплеменных с циклопами. Могучий, он презирал во мне слабого соперника, но я, не ужасаясь ни великой силы, ни дико-

---

<sup>1</sup> В переносном смысле – защита, покровительство; в древнегреческой мифологии – сделанный Гефестом щит бога-громовержца Зевса, а также его дочери Афины Паллады. – *Прим. изд.*

го, зверообразного вида его, копьем пронзил его в сердце. Он рухнул и черную кровь ручьем изрыгнул с последним дыханием: едва не подавила меня громада низринувшаяся. Звук его оружия отгрянул между горами. Я снял с него доспехи и возвратился с ними к Ацесту. Ментор, смяв неприятелей, трупами их устлав поле битвы, гнал обращенные в бегство толпы до отдаленного леса.

Молва, удивленная столь блистательным и неожиданным успехом, ославила Ментора любимцем богов, мужем, свыше вдохновенным. Ацест, исполненный благодарности, изъявил беспокойство о жребии нашем, если Эней прибудет с войском в Сицилию. Дав нам корабль и осыпав дарами, он молил нас идти немедленно в отечество и тем спастись от близкого бедствия. Не отпустил однако же с нами ни кормчего, ни гребцов из своих подданных, боясь подвергнуть их опасностям на берегах Греции, а отправил купцов финикийских, по торговле со всеми народами везде ограждаемых правом полной свободы. Они обязались возвратить ему корабль по прибытии нашем в Итаку. Но Боги, всегда играя советами смертных, готовили нам новые несчастья.

## Книга вторая

*Телемак в плену у египтян.*

*Богатство Египта и мудрое правление Сезострисово.*

*Разлука с Ментором.*

*Ссылка Телемака в пустыню.*

*Встреча его со жрецом Аполлоновым.*

*Преобразование диких нравов.*

*Возвращение Телемака из ссылки.*

*Смерть Сезостриса.*

*Заключение Телемака в темницу.*

*Падение сына Сезострисова.*

Тириане гордостью оскорбили великого Сезостриса, царя Египетского, славного завоеваниями. Надменные богатством, приобретенным торговлей, и неприступными посреди моря твердынями Тира, они перестали платить дань, наложенную на них Сезострисом, и войском своим помогали его брату в заговоре, которого цель была умертвить царя на торжественном пиршестве.

Чтобы смирить их гордость, Сезострис решился теснить их в торговле. Корабли его, рассеявшись, везде искали финикийян. Египтяне встретили и нас на пути, как только мы начали терять из вида горы сицилийские. Пристань и берег, как будто обратясь в бегство, уходили от нас за дальние тучи. Вдруг их корабли показались: город плыл к нам навстречу.

Узнав их, финикияне хотели от них удалиться: труд бесполезный и поздний! Гребцов у них было более, снасти лучше наших, и ветер им благоприятствовал: нас окружают, берут в плен и обращаются в Египет.

Напрасно я представлял им, что мы не финикияне. Не внемля моим уверениям, они приняли нас за невольников, которыми тиряне торгуют, и расчисляли уже только цену добычи. Показались нам между тем струи Нила, как белая пелена по синему морю, и берег отлогий, почти вровень с водой, потом пристали к острову Фаросу в недалеком расстоянии от города Но, а оттуда поплыли по Нилу вверх до Мемфиса.

Если бы горесть плена не сделала нас бесчувственными ко всем удовольствиям, то мы переходили бы от восторга к восторгу, обозревая плодоносную землю Египетскую, – обворожительный сад, омываемый несчетными протоками. По минутно представлялись взорам по берегам то города, один другого великолепнейшие, то сельские дома на прелестных местах, то поля, одетые тучной жатвой, то луга с бесчисленными стадами, то земледельцы с несметным богатством даров неистощимой природы, пастухи, которых веселые песни со звуками свирелей откликались в окрестностях.

– Счастлив народ, управляемый мудрым государем! – говорил Ментор. – Он в изобилии, благоденствует и любит того, кому обязан своим благоденствием. Царствуй так и ты, Телемак, – присовокупил он, – будь отрадой подданных, ес-



ли некогда боги возведут тебя на престол отца твоего. Люби народ, как детей своих, любовь народа пусть будет для тебя лучшей утехой, пусть он невольно при каждом ощущении мира и радости воспоминает, что получил от доброго царя своего в дар эти сокровища, драгоценнейшие золота. Цари, сильные страхом, жезлом железным пасущие подданных, чтобы они под ярмом были покорнее, – бичи рода смертных: они достигают своей цели, страшны, но и проклинаемы, и ненавидимы. Трепещут их подданные, но сами они должны стократно более трепетать своих подданных.

– Нам ли думать о правилах, как царствовать должно? – отвечал я Ментору. – Мы навеки удалены от Итаки, не видеть уже нам ни отечества, ни Пенелопы, и если бы даже Улисс возвратился некогда в свою область, увенчанный славой, он не будет иметь утешения обнять сына, а я не буду иметь счастья повиноваться ему и от него научиться искусству правления. Умрем, любезный Ментор! Вот одна мысль, которая вам еще предоставлена! Умрем, когда нас и боги забыли!

Глубокие вздыхания прерывали в устах моих каждое слово. Но Ментор, боясь благовременно опасности, бесстрашно смотрел на грозную тучу, когда она находила.

– Недостойный сын мудрого Улисса! – говорил он мне. – Неужели ты упал духом в несчастье? Возвратишься в Итаку, увидишь Пенелопу, увидишь и того в прежней славе, кого еще не знаешь, – непобедимого Улисса, которого сама судьба не преоборает, и который посреди зол, превосходящих все

твои бедствия, учит тебя выстрадать победу терпением, но не предаваться унынию. Что, если он услышит на чужой стороне, куда занесла его буря, что сын его не умеет подражать ему ни в доблести, ни в великодушии! Такая весть покроет его вечным стыдом, будет для него убийственнее всех, столь давно им переносимых несчастий.

Потом Ментор изображал мне богатство и радость по всему царству Египетскому, где считалось до двадцати двух тысяч городов, с восторгом описывал строгое в них благоустройство, правосудие, – верный щит бедному от силы богатого, воспитание юношества в повиновении, в трезвости, в трудах, в любви к наукам и художествам, ненарушимое наблюдение обрядов богослужения, бескорыстие, рвение к истинной чести, верность к людям и страх к богам, которые каждый отец внушал своим детям, не истощался в прославлении столь благотворных установлений.

– Счастлив народ, – повторял он, – управляемый мудрым государем, но несравненно счастливее сам государь, который жиждет счастье народа, а свое находит лишь в добродетели! Он связывает людей узами, стократно надежнейшими страха, – узами любви. Всяк не только покорен, но рад ему повиноваться. Он – царь у каждого в сердце, всех одна мысль – не освободиться от его власти, но быть вечно под его властью: каждый готов положить за него свою душу.

Приклоня слух и внимание, чувствовал я, что слова мудрого друга восставляли дух мой, изнемогавший.

По прибытии в Мемфис, город богатый и великолепный, мы получили повеление следовать в Фивы, чтобы представиться Сезострису. Он всегда во все сам входил, а тогда еще был раздражен против тирян. Поплыли мы вверх по реке до славных стовратных Фив, где царь тогда имел пребывание. Этот город показался нам пространнейшим и многолюднейшим самых цветущих городов греческих. Порядок в нем совершенный, чистота улиц, водохранилища, устройство бань, свобода промышленности, общее спокойствие – все достойно удивления. Площади украшены водометами и обелисками, храмы мраморные просты, но величественны. Царский дворец – сам по себе уже город. В нем на каждом шагу мраморы, пирамиды, обелиски, огромные истуканы, серебро и золото.

Взявшие нас в полон донесли царю, что мы найдены на корабле финикийском. Сезострис ежедневно в известные часы принимал всякого, кто хотел представить ему или жалобу, или полезное сведение, никого не презирал, никому не затворял своей двери, думал, что он царь только для блага подданных: они были его любимое семейство. Иноземцев он также принимал благосклонно и к себе допускал, полагая, что познание нравов и законов отдаленных стран всегда полезное приобретение.

Любопытство его было поводом, что и мы ему были представлены. Он сидел на престоле слоновой кости с золотым царским жезлом в руке, был уже в преклонных летах, на лице

его написаны были величие, благость и кротость. Ежедневно он судил подданных с терпением, разумом и правотой, без лести достойными славы, день проводил в разрешении дел с нелицеприятным правосудием, а вечерним его успокоением была беседа с людьми учеными или отличными доблестью, тех и других он имел дар избирать в свое общество. На светлый путь его жизни бросают тень только тщеславие его при торжестве над побежденными царями и доверие к одному из царедворцев. Возрев на меня, он изъявил сострадание к моей молодости, спросил меня об имени и об отечестве. Мы смотрели на него с удивлением, устами его мудрость говорила.

– Великий царь, – я отвечал ему, – тебе известны десятилетняя осада и падение Трои, омытой греческой кровью. Улисс, отец мой, был один из главных царей, разрушителей этого города. Он теперь странствует по всем морям и родной своей земли не находит; я ищущу его, и судьба отдала меня в неволю. Возврати меня к отцу и в отечество. Боги да сохранят тебя за то для детей твоих, а они пусть никогда не знают горести жить в разлуке с отцом.

Сезострис долго смотрел на меня с соболезнованием, но для удостоверения в истине слов моих послал нас к одному из царедворцев и возложил на него узнать от египтян, которые взяли нас в плен, подлинно ли мы греки или финикияне.

– Если они финикияне, – говорил царь, – то будут сугубо наказаны, как враги, дерзнувшие сверх того на подлость

ложь и на обман. Но если они греки, то я желаю оказать им благоволение, отослать их в отечество. Я люблю Грецию. От египтян она получила законы. Известна мне доблесть Геркулесова. Слава Ахиллова достигла даже до наших пределов. Я всегда удивлялся сказаниям о мудрости несчастного Улисса. Удовольствие мое подавать руку помощи страждущей добродетели.

Царедворец, которому вверено было исследование нашего дела, имел душу столько же низкую, хитрую, сколько сердце Сезострисово было великодушно и искренно. Метофис, так его имя, старался смешать нас в допросах, и как Ментор отвечал ему с мудрой твердостью, то он отвращал от него слух с презрением и недоверчивостью. Злые обыкновенно ожесточаются против добрых. Наконец, он разлучил нас, и с той поры я ничего не знал о Менторе.

Разлука с ним как гром поразила меня. Метофис, допрашивая нас порознь, надеялся исторгнуть от нас разногласные показания. Более всего он думал, ослепив меня льстивыми обещаниями, заставить объявить тайны, умолчанные Ментором, одним словом, он не шел к истине честной дорогой, а только изыскивал способ уверить царя, что мы финикияне, и умножить нами число рабов своих; и подлинно успел обмануть Сезостриса, невзирая на прозорливость его и нашу невинность.

Каким опасностям подвержены государи! Самые мудрые из них часто попадают в сети. Коварство и алчность всегда у

подножия трона. «Люди благолюбивые ожидают или уходят, они не льстецы и не наглы. Злые, напротив того, дерзки и хитры, неотступны и вкрадчивы, раболепны, лицемеры, готовы на все против чести и совести, когда дело идет об угождении сильному. Бедственная доля – быть игралищем злого коварства! И горе царю, когда он не гонит от себя лести и не любит тех, кто смелым голосом говорит ему правду!» Так я размышлял в новом несчастье вспоминая все, что слышал от Ментора.

Между тем Метофис послал меня в отдаленные горы, на острова песчаного моря, ходить там в толпе рабов за бесчисленными его стадами.

Здесь Калипсо остановила Телемака.

– Желала бы я знать, – она сказала ему, – что ты предпринял в заточении, ты, который прежде в Сицилии предпочитал смерть позорному рабству?

– Несчастье мое с дня на день возрастало, – отвечал Телемак, – я даже лишился и той жалкой отрады, чтобы выбрать любое, смерть или рабство. Рабство было непреложным моим жребием, надлежало мне выпить всю чашу злого рока. Вся надежда моя исчезла, я не мог и подумать о свободе. Ментор, как он после сказывал мне, проданный купцам, был с ними в Аравии.

Приведен я в ужасную пустыню: кругом во все стороны идут бесконечные равнины – океан палящих песков, а на островах того страшного моря хребты гор – царство вечной зи-

мы, обложены снегом и льдами. Пастбища для стад встречаются только между скалами по скату гор недоступных. Солнце едва проникает в непроходимые ущелья.

В этой пустыне я нашел одних пастухов, достойных ее по дикой грубости нравов, ночью оплакивал свое горе, а днем гонял стадо на пажити, избегая свирепства раба, начальника нашего, именем Бутис, который, надеясь купить себе свободу непрестанной на других клеветой, хотел доказать тем господину любовь и усердие к его выгодам. Пал я под тяжелой рукой судьбы, и однажды, убитый горестью, покинул стадо, лег на траве у подошвы горы возле пещеры, и ожидал уже смерти: страдания превышали все мои силы.

Вдруг я заметил, что гора зашаталась. Дубы и сосны, казалось мне, сходили с чела ее надол, и ветер стих, и все замолкло. Внезапно раздался не голос, а гром из пещеры.

– Сын мудрого Улисса! – говорил голос. – Ты должен, как и отец твой, возвеличиться терпением. Царь, неискушенный бедой, всегда счастливый, недостоин такой доли – уснет в прохладах роскоши, забудется от гордости. Благо тебе, если ты преодолеешь свои несчастья, и пусть они пребудут навсегда в твоей памяти! Ты возвратишься в Итаку, и слава твоя до звезд вознесется. Но на престоле вспомни, что ты был также беден и слаб и страдал, как другие. Утешайся облегчением скорбей, люби народ свой, заграждай слух от лести, и знай, что величие твое будет измеряемо кротостью и силой души в победе над страстями.

Божественные глаголы проникли в мое сердце, в нем воскресли мужество и радость. Я не чувствовал здесь того ужаса, от которого волосы на голове горой стоят, кровь стынет в жилах, когда боги являются смертным. Встал я спокойно, пал на колена, воздел руки к небу, благословлял Минерву, приписывая ей предсказание, – и в тот же час обратился в иного человека. Мудрость озарила мой разум, я исполнился силы укрощать свои страсти, обуздывать стремления юности. Пастухи полюбили меня. Кротостью, терпением, ревностью в исполнении должности я смягчил наконец и жестокого Бутиса, начальника над рабами, дотоле моего притеснителя.

В горестном плену и заточении я искал книг для рассеяния мыслей. Скука снедала меня от того, что к подкреплению духа не было у меня никакого наставления. Счастлив тот, говорил я тогда, кто отвергает шумные увеселения и умеет довольствоваться приятностями невинной жизни! Счастлив, кто находит забаву в учении и обогащает ум свой познаниями! В какую бы страну превратная судьба ни занесла его, верные его собеседники с ним неразлучно. Других скука гложет посреди наслаждений, любителям чтения она неизвестна в глубоком уединении. Счастлив, кто любит чтение, и не лишен, как я, всех к тому способов!

В печальной думе однажды я зашел в середину темного леса и вдруг встретил старца с книгой в руке. На большом, совсем обнаженном челе его лета оставили след по себе лег-



кими морщинами, седая борода сходила до чресл его, он был роста высокого и величавого, на лице не совсем еще увял цвет бодрой юности, быстрые очи, казалось, проникали в сокровеннейшие помыслы, голос его был голосом кротости, беседа пленяла простотой. Я никогда не встречал столь почтенного старца. Термозирис – так его имя – был жрец Аполлонов и служил богу в мраморном храме, сооруженном в той дубраве царями египетскими. Книга в руке его заключала в себе собрание песней в честь богов.

Подошел он ко мне с дружеским приветствием, и мы долго разговаривали. Он описывал события протекших времен с таким чувством, что они будто тогда же происходили перед глазами, но повести его, всегда краткие, не утомляли. Глубокая мудрость, которой он познавал человека и склонность его сердца, провидела будущее.

При всем том он был любезен и весел. Самая счастливая молодость не может иметь столько приятства, сколько он имел в маститой старости. Он потому любил и юношей, когда они были преклонны к добродетели и внимали благим наставлениям.

Скоро Термозирис полюбил меня со всей нежностью, снабдил книгами для утешения в грусти и называл меня сыном. Часто и я говорил ему:

– Любезный отец! Боги, отняв у меня Ментора, умилились, даровали мне в лице твоём новую подпору.

Он читал мне свои песни, доставлял творения и других

любимых музами песнопевцев. Как Лин или Орфей, без сомнения, он был водим духом свыше. Когда, бывало, он, надев длинную и, как снег, белую ризу, начнет бряцать по струнам лиры из слоновой кости, то медведи, тигры и львы приходили с кроткой лаской лизать ему ноги, сатиры стремились из дебрей скакать близ него по зеленому лугу, деревья, мнилось, одушевленные, слушали, казалось, даже камни, смягченные, сходили с гор на волшебные звуки. Он пел всегда только величие богов, доблесть героев и мудрость мужей, предпочитающих истинную славу праздным забавам.

Часто он советовал мне противопоставить мужество гонению счастья, предсказывая, что боги не оставят ни Улисса, ни сына его. Наконец он уверил меня, что я должен был, по примеру Аполлона, образовать умы и сердца пастухов той дикой пустыни.

– Аполлон, – рассказывал он, – вознегодовал на Юпитера за то, что тот в самые красные дни смущал небо громом и молниями, излил свое мщение на циклопов, ковавших перуны<sup>2</sup> для Громодержца, поразил их стрелами. Тогда Этна перестала изрыгать пламя и тучи дыма, замолкли удары тех страшных молотов, которых звуком оглашались подземные пропасти и неизмеримые бездны морские. Медь и железо, без циклопов осиротевшие, ржавели. Раздраженный Вулкан оставляет свой горн, хромоногий, спешит на Олимп, является в соборе богов и приносит горестные жалобы, покрытый

---

<sup>2</sup> Иносказательно: молнии, громовые стрелы. – *Прим. изд.*

пылью и потом. Юпитер в гневе на Аполлона изгнал его с неба и низринул на землю. Колесница его, никем не управляемая, сама по себе совершала все дневное течение, производя для смертных дни и ночи и правильное изменение времен года.

Аполлон принужден был принять на себя вид пастуха и ходить за стадами у царя Адмета. Он играл на свирели, и все пастухи собирались на берег светлого источника, под тенистые кроны вязов слушать его песни. Они вели до той поры дикую, зверообразную жизнь, умели только ходить за овцами, стричь, доить их и из молока составлять сыр себе в пищу: страна их была страна ужаса.

Аполлон в короткое время показал им искусство приятного препровождения жизни: пел им весну, как она сплетает себе венки из цветов, как от прикосновения ног ее земля зеленеет, как она дышит благоуханием, пел и прелестные летние ночи, когда зефиры прохлаждают утомленного человека и небо дождит на землю благотворной росой, и златовидные плоды – дар щедрой осени в возмездие за труд земледельцу, и спокойство зимы, когда резвые юноши пляшут у огня хоровадом, и мрачные леса – убранство гор и холмов, и темные дебри, где гремячие потоки играют между цветущими берегами. Так он внушал пастухам прелести сельской жизни для тех, кто умеет чувствовать волшебную красоту природы.

И скоро пастухи со свирелями стали счастливее сильных земли, и непорочные удовольствия, избегая позлащенных

чертогов, никогда не уходили из-под их смиренного крова. Игры, смех и приятности не расставались с невинными пастушками. Каждый день был у них праздником. Раздоры смолкли, и вместо того везде были слышны то нежные голоса птиц, то тихий шум зефиров между древесными ветвями, то журчание светлых водопадов, то песни, вдохновенные музами пастухам, покорным Аполлону. Он установил у них почести за быстроту бега и учил их поражать стрелами серн и оленей. Боги наконец позавидовали пастухам, находили в их жизни более наслаждений, чем во всей своей славе, и воззвали на Олимп Аполлона.

Сын мой! Эта повесть должна быть тебе в наставление. Жребий твой подобен участи небесного изгнанника. Возделывай и ты, по примеру его, дикую землю. Пусть эта пустыня расцветет от труда рук твоих. Возвести пастухам сладкие плоды согласия, укрощай свирепые нравы, покажи им любезную добродетель, дай им восчувствовать, сколь приятны в уединении невинные удовольствия, никогда и никем неотъемлемые. Придет время, сын мой! Придет время, когда ты в трудах и скорбях, облажащих царский венец, на престоле пожалеешь о жизни пастушеской.

Так говорил Термозирис, и потом дал мне столь нежную свирель, что звуки ее, повторяясь в горах и дубравах, в короткое время привлекли ко мне всех пастухов из окрестностей. Сила божественная была в моем голосе. Вдохновение свыше, восторг возбуждал меня петь красоты, которыми

природа покрыла лицо земли. Совокупное пение продолжалось у нас по целому дню до позднего вечера. Все пастухи, каждый забыв и стада, и хижины, восхищенные, неподвижно внимали моим наставлениям. Печальная пустыня преобразилась. Все было тихо, все веселилось, кротость жителей смягчала, казалось, самую землю.

Часто мы собирались для жертвоприношения к Термозирису в храм Аполлонов. Пастух в честь богу приходил в лавровом венке, а пастушка, вся в цветах, приносила на голове корзину с дарами на жертву. Жертвы оканчивались сельскими праздниками. Молоко резвых коз и смирных овец, которых мы сами доили, плоды, сорванные собственными руками: виноград, финики, смоквы, – были для нас роскошными яствами. Места, где мы сиживали, были из дерна, а густые тени дерев были для нас кровом, приятнейшим золотых сводов в царских чертогах.

Имя мое, наконец, еще более прославилось между пастухами, когда однажды лев, томимый голодом, бросился на мое стадо. Несколько овец лежало уже растерзанных. В руке у меня было слабое оружие – посох, но я смело иду на алчного зверя. Он трясет длинной гривой, кажет мне зубы и когти, раскрывает засохшую, пламенную челюсть, сверкает очами, кровью налившимися, бьет хвостом себя в ребра. Я повалил его наземь. Броня на мне, по обычаю пастухов египетских, не дала ему растерзать меня. Трижды я сбивал с ног его надол, трижды он поднимался, оглашая леса ужасным рыкани-

ем. Наконец я задушил его, стиснув за горло руками. Пастухи, свидетели моей победы, требовали, чтобы я надел на себя шкуру лютого зверя.

Молва об этом происшествии и о счастливом преобразовании диких нравов промчалась по всему Египту, достигла Сезостриса. Он узнал, что один из двух пленников, принятых за финикийян, водворил золотой век в пустыне, прежде необитаемой, и захотел меня видеть: он любил науки, и все, что способствовало просвещению народа, приятно было великому его сердцу. Я вызван. Царь выслушал меня с благоволением, увидел, что Метофис обманул его из подлого корыстолюбия, осудил его на вечное заключение в темнице и лишил всех богатств, собранных неправдами.

– Несчастен тот, – говорил он, – кто на престоле! Часто не может он видеть истины собственными глазами, окружающие заграждают ей все к нему входы. Каждый находит в обмане царя свою пользу. Алчное властолюбие кроется под личиной усердия, благовестят любовь к государю, а в сердце таится любовь к богатствам, которые он расточает. Он сам так мало любим, что милости его покупаются ценой лести и предательства.

После того Сезострис осыпал меня благоволением и велел отправить со мной войско в Итаку для освобождения Пенелопы от всех ее преследователей. Корабли были уже готовы, мы в путь собирались. Я удивлялся превратности счастья: кого сегодня гнетет, того завтра возносит. Неожиданная пе-

ремена со мной подавала мне надежду, что и Улисс, после долговременных страданий, может быть, наконец возвратится в отечество. Я даже льстил себя мыслью, что могу еще некогда увидеть и Ментора, невзирая на то, что он был отведен в самый неизвестный край Эфиопии.

Между тем как я, ожидая известий о Менторе, отложил свой отъезд на короткое время, царь в глубокой старости скоропостижно скончался. Смерть его ввергнула меня в новые бедствия.

Весь Египет восстенал о кончине великого Сезостриса. Каждое семейство теряло в нем отца, заступника, друга. Старцы, воздев руки к небу, говорили: не было еще в Египте царя, столь благолюбивого, никогда и не будет. О Боги! Зачем вы послали его на землю, а послав, навсегда его нам не оставили? На что нам жизнь без великого Сезостриса? Юноши повторяли: пала вся надежда Египта. Отцы наши благоденствовали под кровом добродетельнейшего из венценосцев, мы только взглянули на него, чтобы узнать, чего лишаемся. Служители его проливали днем и ночью горькие слезы. Сорок дней сряду граждане отдаленнейших стран приходили толпами к его гробу, алкали еще однажды увидеть, облобызать его тело и образ Сезостриса запечатлеть в своей памяти. Многие хотели заключиться с ним в гробе.

Общую горесть увеличивал еще сын его Бокхорис, в котором не было ни человеколюбия к странникам, ни любопытства к наукам, ни уважения к добродетельным людям, ни

рвения к славе. Самое величие отца было отчасти виной, что сын был столь мало достоин престола: он воспитан в неге и неистовой гордости. Люди в глазах его были ничтожные твари, весь мир, – думал он, – для него, а сам он выше природы человеческой. Любимый труд его был насыщать свои страсти, расточать несметные богатства, собранные отцом с такими трудами, давить пятой народ, сосать кровь несчастных и исполнять во всем подлые советы безумных юношей-ласкателей: он окружал себя такими клеветами, разогнав с презрением всех мудрых старцев, друзей и наперсников отца своего. Он был не царь, а страшилище. Весь Египет стenal под его игом, и хотя имя Сезостриса, любезное египтянам, заставляло их сносить жестокость и буйство его сына, но он сам стремился к гибели: царь, столь недостойный престола, не мог властвовать долго.

Для меня вся надежда возвратиться в Итаку исчезла. Я содержался в башне на берегу моря возле Пелузы, откуда полагал отправиться, если бы смерть не постигла Сезостриса. Метофис, получив пронырством свободу и при новом царе прежнюю силу, в отмщение мне за претерпенное наказание, заключил меня в темницу. Там я проводил дни и ночи в глубоком крушении сердца. И предсказания Термозирисовы, и слышанные мной из пещеры слова представлялись мне сновидением. Убило меня горе. Смотрел я, как волны, нахлынув, плескали в подошву темницы, следовал взором за кораблями, когда они носились по бурным волнам, подверга-



ьясь опасности сокрушиться о камни под башней, и не только не сожалел о мореходцах, угрожаемых явной гибелью, но завидовал еще их доле, говоря сам себе: скоро или бедствия жизни их пресекутся, или они возвратятся в отечество. Я не мог ожидать ни того, ни другого.

Иссыхая в бесплодной грусти, однажды вдруг я вижу: словно лес, корабельные мачты. Море зачернелось под парусами, вода буграми клубилась под несчетными веслами, со всех сторон слышан был вопль мятежа. Смотрю я по берегу: толпы египтян с бледными от страха лицами стремглав бегут с оружием в руках, другие толпы, завидев корабли, как будто давно ожидаемые, с радостью спешат к ним навстречу. Я тотчас узнал это чуждое ополчение, корабли кипрские и финикийские: горе познакомило меня с мореплаванием. Египтяне, по-видимому, были в междоусобном раздоре. Я предугадывал, что безрассудный Бокхорис неистовством возбудил в народе дух мятежа и внутренней брани, и подлинно стал сверху башни зрителем кровопролитнейшей сечи.

Египтяне, призвав к себе в помощь иноземцев и открыв им путь в свою землю, восстали с ними на соотечественников, царем предводимых. Я видел, как юный царь примером одушевлял своих воинов: летал – второй Марс – по полю битвы, кругом его кровь ручьями лилась, колесница его вся была обрызгана черной, густой, пенившейся кровью, колеса едва проходили по грудам раздавленных трупов. Дивный стройностью тела и силой, величавый, гордый, он пылал в

очах яростью и отчаянием, подобный бурному молодому коню, когда почует, что удила из рта его выпали, в быстром порыве храбрости он предавал все воле случая и не воздерживал отваги рассудком, не умел ни исправлять погрешностей, ни давать ясных и точных повелений, ни предвидеть опасности, ни беречь людей полезных и нужных, не потому, что природа не одарила его разумом: в нем пылкость ума равнялась с мужеством, но он никогда не был в училище беды. Наставники заразили прекрасный нрав его лестью, он опьянел от славы царского сана и всемогущества, думал, что все должно было покоряться неистовым его желаниям: малейшее пререкание воспламеняло его сердце – и тогда он не рассуждал и не мыслил, приходил в исступление, раздраженная гордость обращала его в свирепого зверя, природная благость и здравый рассудок мгновенно терялись, самые верные слуги тогда его избегали, он терпел около себя только ласкателей. Таким образом всегда ко вреду своему он переходил из крайности в крайность и заставил всех благомыслящих невольно гнушаться буйным его поведением.

Храбрость его долго удерживала рать неприятельскую, наконец он изнемог, и я видел бедственную его кончину. Финикиянин копьем поразил его в сердце, выпали из рук его вожжи, и он грянулся с колесницы под ноги коней. Кипрянин отсек ему голову и, взяв за волосы, показал ее, как торжественное знамя, победоносному войску.

Всегда я буду помнить эту голову, кровью облитую, очи

померкшие и сомкнувшиеся, лицо бледное, увядшее, уста раскрытые и речь начатую как будто еще договаривавшие, гордое грозное чело, неизменное даже и смертью. Во всю мою жизнь будет у меня перед глаза это печальное зрелище, и если боги некогда вверят мне царство, то после столь горестного примера никогда не забуду, что царь тогда только достоин державы и счастлив могуществом, когда покоряет власть здравому разуму. Горе тому, кто призван устраивать общее благо, а, царствуя, умножает только бедствие народа.

## Книга третья

*Телемак отправляется из Египта на тирском корабле.*

*Описание Тира и царя тамошнего Пигмалиона.*

*Опасности в Тире.*

*Отъезд из Тира.*

Богиня с удивлением слушала столь умную повесть. Особенно она пленялась откровенностью, с которой Телемак признавался в погрешностях от пылкого нрава и непокорности мудрому Ментору, находила чудесное возвышение духа и величие в юноше, который осуждал сам себя, но и воспользовался преткновениями – научился владеть собой, предусматривать, быть бдительным на страже сердца.

– Продолжай, любезный Телемак, свою повесть, – говорила она. – Я жажду знать, каким образом ты вышел из Египта и где нашел мудрого Ментора: сокрушение твое о нем было так справедливо!

Телемак продолжал:

– Малая часть добродетельных египтян, верных, но слабых, после несчастной кончины Бокхориса принуждена была уступить силе: избран другой царь, по имени Термутис. Финикияне и кипрская рать, заключив с ним союз, возвратились. Новый царь отдал им пленных финикиян, в том числе и меня. Я освобожден из темницы, сели мы на корабли, надежда воскресла в моем сердце. Попутный ветер заиграл

парусами, гребцы рассекали веслами волны пенившиеся, корабли рассеялись по необозримым зыбям, загремел и клики веселые, берег от нас отдалялся, холмы и горы оседали, наконец, мы уже видели только небо, слиянное с морем. Между тем солнце, одевшись пламенным светом, вышло из влажной пучины и быстрыми лучами позолотило верхи гор, исчезавших за пределами зрения. Небо, темно-голубое, обещало нам благополучное плавание.

Я освобожден как финикийнин, но никому из финикийян не был известен. Нарбал, начальник корабля, на котором я находился, спросил меня об имени и об отечестве.

– Из какого ты города в Финикии? – говорил он.

– Я не из Финикии, – отвечал я, – а египтяне только взяли меня на корабле финикийском. Содержался я в плену у них как финикийнин, долго страдал под этим званием, наконец, получил и свободу.

– Откуда же ты? – продолжал он.

– Я Телемак, сын Улисса, царя итакского в Греции, – отвечал я. – Отец мой прославился между всеми царями под Троей, но не мог – так угодно было богам – возвратиться в отечество. Я искал его в разных странах: судьба гонит меня так же, как и его. Ты видишь во мне несчастного, которого единственное желание – возвратиться на родину и соединиться с родителем.

Нарбал смотрел на меня с изумлением, казалось, примечал во мне нечто счастливое, отличный дар небес выше об-

щей доли смертных. Он был от природы великодушен и искренен, сжалился над моим бедственным жребием и обращался со мной с доверенностью. Боги внушили ему это чувство, чтобы спасти меня от величайшей опасности.

Он говорил мне:

– Телемак! Я не сомневаюсь и не могу усомниться в истине слов твоих. Горесть и добродетель, написанные на лице твоём, изгоняют из моих мыслей все подозрение. Чувствую, что и боги, которым я всегда служил с благоговением, хранят тебя под своим кровом и желают, чтобы и я любил тебя, как сына. Я дам тебе спасительный совет, но соблюди его втайне, требую от тебя этого только возмездия.

– Не опасайся, – прервал я Нарбала, – чтобы я не мог сохранить в молчании вверенной мне тайны. Юный летами, я состарился в давней привычке блюсти свою тайну, а тем еще более не обнаруживать никогда и ни под каким видом тайны другого.

– Как ты научился такой добродетели в столь юных летах? – спросил меня Нарбал. – Приятно мне будет слышать, каким образом ты снискал это качество, первое основание благоразумного поведения, полезнейшее достоинство всех дарований.

Я отвечал ему:

– Улисс, отправляясь в поход против Трои, взял меня на руки, посадил на колена – так разлука его со мной была мне описываема, – обнял меня со всей нежностью и говорил мне,

хотя я не мог еще тогда разумать его: «Сын мой! Пусть лучше я никогда уже не увижу тебя, пусть Парка перережет нить твоей жизни, еще не развившуюся, как жнец подсекает серпом нежный крин<sup>3</sup>, едва только расцветший, пусть враги мои растерзают тебя пред глазами твоей матери и предо мной, если ты некогда развратишься и оставишь путь добродетели. Друзья мои! – продолжал он. – Вверяю вам сына, всего на свете мне любезнейшего: стерегите его юность. Если любите меня, то удаляйте его от пагубной лести, научайте его побеждать себя, пусть он будет в руках ваших гибкой отраслью, выправляемой, и от того прямо растущей. Старайтесь более всего сделать его правдолюбивым, благотворительным, чистосердечным и верным в хранении тайны. Кто лжет, тот недостоин быть человеком, а кто не умеет молчать, тот недостоин быть на престоле».

Слова его, часто мне повторяемые, врезались в мое сердце. Часто я сам себе их повторяю.

Друзья отца моего благовременно старались приучить меня к тайне. На заре еще лет моих они изъясляли мне все свои скорби, видя мать мою в плену у дерзких искателей брачного с ней союза. Таким образом, они с того еще времени поступали со мной, как с человеком здравомыслящим и благонадежным, открывали мне наедине самые важные предметы, сообщали мне все свои меры против злоумышленников. Я восхищался таким ко мне вниманием и считал себя уже не

---

<sup>3</sup> Лилия. – Прим. изд.

отроком. Никогда я не обратил во зло доверия, никогда не вышло из уст моих слово, которое могло бы обнаружить малейшую тайну. Враги нередко старались беседой вовлечь меня в сети, полагая, что молодой человек не воздержит языка, услышав или увидев что— либо важное. Я умел не лгать, но и не открывать им в ответах того, что надлежало хранить под печатью скромности.

После того Нарбал говорил мне:

– Телемак! Ты видишь могущество финикиян. Морским ополчением, сильным и многочисленным, мы страшны соседям. Торговля наша, распространяющаяся даже до столбов Геркулесовых, обогащает нас более всех самых цветущих в мире народов. Великий Сезострис никогда не успел бы одолеть нас на море, едва мог победить и на суше с войском, весь Восток покорившим. Он обложил нас и данью, но ненадолго. Финикияне при несметных богатствах и силах не могли смиренно сносить рабства, восстали и стрясли с себя иго. Смерть воспрепятствовала Сезострису кончить с нами войну. Надобно признаться, что мы были в большом страхе не столько еще от его могущества, сколько от мудрости. Но когда на громоносном престоле Сезострисовом сел безрассудный Бокхорис, мы тогда же увидели, что прошла вся гроза, над нами висевшая. И подлинно, египтяне вместо того, чтобы возвратиться в нашу область и с мечом в руке вновь предписать нам законы, сами принуждены были молить нас о помощи, о избавлении их от царя неистового и кровожадного.



Мы их избавители! Новая слава к богатству и независимости финикийян.

Но, освобождая других, мы сами рабы. Телемак! Опасайся впасть в руки царя нашего Пигмалиона. Он обагрил свои жестокие руки в крови Сихея, мужа Дидоны, сестры своей. Дидона, стгорая мщением, спаслась бегством из Тира. Все, в ком еще не умерла любовь к свободе и добродетели, вместе с ней покинули родную землю. Она основала на берегу Африки великолепнейший город, названный Карфагеном.

Пигмалион, томимый ненасытной алчностью к богатству, становится со дня на день презреннее и ненавистнее подданным. Быть богатым – преступление в Тире. От скупости он недоверчив, подозрителен и кровожаден, гонит богатых, бедных боится.

Быть добродетельным в Тире еще большее преступление. Пигмалион предугадывает, что благомыслящие не могут сносить его неправд и злодеяний. Добродетель осуждает его, он ожесточается. Все терзает его, мучит и гложет. Он трепещет своей тени, не спит ни днем, ни ночью, и боги, чтобы исполнить меру его страданий, осыпают его сокровищами, к которым он не смеет прикоснуться. То, чем он ищет себе счастья, то самое отравляет все часы его жизни. Он тоскует о всем, что выходит из рук его, непрестанно боится ущерба в имуществе, рвется умножить корысти корыстями.

Никто почти не видит его. Он всегда один, всегда уныл и печален – затворник в чертогах. Друзья даже не смеют яв-

латься к нему от страха навлечь на себя подозрение. Ужасная стража неотступно окружает его дом с обнаженными мечами и поднятыми копьями. Тридцать покоев, соединенных переходами, составляют его темницу, в каждом из них железная дверь с шестью огромными замками. Никому никогда неизвестно, в котором из них он заключается на ночь, молва говорит, что он никогда не проводит в одном месте двух ночей сряду от страха насильственной смерти. Он не знает никаких увеселений, ни дружбы, всего усладительнейшей. Предложит ли кто ему искать развлечения и удовольствий, он чувствует, что радость и удовольствие бегут от его сердца. Впалые очи его сверкают пламенем алчной, свирепой злобы и непрестанно оглядываются. Он внемлет с трепетом самому тихому шуму, бледен, исчах, и на лице его, обезображенном морщинами, написаны мрачные скорби, – всегда молчит, вздыхает, стоны отчаяния вырываются из его сердца, он не может скрыть угрызений, раздирающих его душу. Самые вкусные яства противны ему. Дети – вместо надежды и утешения – страх его. Он сделал их врагами себе и врагами опаснейшими, он не имеет покоя ни на одно мгновение ока, искупает бытие свое кровью всех, на кого бы ни пало его подозрение. Безумный! Не видит, что жестокость, единственный щит его, обратится ему в пагубу. Кто-нибудь из его же клеветов, равный ему в недоверчивости, не укоснит избавить мир от такого изверга.

Я боюсь богов и во что бы то ни стало пребуду верен царю,

ими поставленному, скорее сам от него погибну, а не посягну на жизнь его, и даже меч, другим на него обращенный, прежде пройдет чрез мое сердце. Но ты, Телемак! Опасайся открыть Пигмалиону, что ты сын Улиссов. Он возомнит, что отец твой по возвращении в Итаку выкупит тебя из плена ценой золота, и удержит тебя в узах.

Когда мы прибыли в Тир, я последовал совету Нарбалову и увидел всю картину, в столь справедливых чертах мне им описанную. Не понимал я, как человек может довести сам себя до столь позорного унижения.

Пораженный ужасным, новым для меня зрелищем, сам себе я говорил: вот человек, жаждущий в труде и болезни восхитить счастье! Он надеялся достигнуть своей цели богатством и беспредельной властью, имеет все, чего не захочет, но посреди богатства, со всей своей властью бедствует. Если бы он так же, как некогда я, был пастухом, так был бы и счастлив, наслаждался невинными сельскими удовольствиями без страха и без угрызения совести, не боялся бы ни меча, ни яда, любил бы людей, взаимно любимый, не обладал бы несметными, бесполезными для него, как песок на краю моря, сокровищами – он не смеет к ним прикасаться – но, свободно питаясь земными плодами ни в чем не терпел бы истинной нужды. Он, думает, что делает все по желанию – обманчивый призрак! Он исполняет только волю страстей своих, терзаясь ежеминутно любостяжанием, страхом, подозрениями. Думает, что царствует, а в действительности раб

собственного сердца: в нем столько тиранов и повелителей, сколько неистовых желаний.

Так я размышлял о Пигмалионе, не видевого ни однажды. Он никогда не показывался, и народ с ужасом только смотрел на высокие, денно и ночью обставленные стражей стены, где он, как в недоступной темнице, заключался с сокровищами от людей и от совести. Я сравнивал этого невидимого царя с Сезострисом, вспоминая, как тот был кроток, добр, снисходителен, как принимал иноземцев, как, слушая каждого, исторгал из сердец истину, скрываемую от государей. Сезострис, говорил я, ничего не боялся, нечего было ему и бояться: подданные были дети его. Пигмалион в непрестанном страхе, и должен страшиться всего. Насильственная смерть ежеминутно грозит ему и в непроницаемых чертогах, и посреди всех его телохранителей. Добрый Сезострис, напротив того, посреди бесчисленного народа был в безопасности, как отец в доме в кругу любезного семейства.

Пигмалион велел отпустить кипрскую рать, пришедшую к нему в помощь против египтян по дружественному тогда союзу между его народом и кипрянами. Нарбал хотел отправить меня при этом случае, и для того поставил меня в строй с кипрскими войсками – недоверчивость Пигмалионова простиралась до маловажнейших предметов.

Порок слабых и празднолюбивых государей – слепая преданность развратным и коварным любимцам. Совсем иной порок был в Пигмалионе – недоверчивость даже к испытан-

ным в честности людям. Он не знал различия между злодеем и простосердечным, правдивым человеком, чуждым лукавства. Никогда потому не было при нем людей добродетельных. От такого царя они бегают. Сверх того Пигмалион со времени царствования находил в исполнителях своей воли столько притворства, измен, черной злобы под благовидным покровом бескорыстия, что всех без изъятия считал лицемерами, думал, что нет в мире искренней добродетели и что люди все одинаковы. Встретив одного лживого и вероломного, он не искал на то место другого, полагая, что другой не будет благонамереннее. Добрые в глазах его были еще хуже явных злодеев. Он почитал их столько же злыми, но гораздо коварнейшими.

Таким образом, я ускользнул в числе рати кипрской от недоверчивости Пигмалионовой, все соглядавшей. Нарбал трепетал от одной мысли, что тайна наша могла обнаружиться: оба мы заплатили бы за это жизнью, с нетерпением он ожидал дня разлуки со мной, как дня вождеденнейшего, но я довольно долго еще пробыл в Тире из-за противного ветра.

Это время я посвятил познанию нравов народа финикийского, прославляемых везде и всеми. С удивлением я рассматривал счастливое местоположение обширного Тира на острове посреди моря. Лежащий насупротив берег, под приятнейшей полосой неба, обворожителен по изобилию, разнообразию редких своих произведений и по множеству сел, городов, следующих один за другим почти непрерывно. Горы

служат ему оградой от палящего ветра полуденного, а с моря воздух благорастворяется прохладой стран полуночных. Берег идет скатом от подошвы Ливана, сквозь тучи до звезд достигающего. Чело его одето вечными льдами. Громады снега, обрушась, сыплются в виде потоков сверху висящих утесов, которыми темя его обложено. Ниже чернеется необозримый лес древних кедров, земле современных и возносящих под облака могучие ветви. От леса по скату горы тучные пажити. Там блуждают стада волов и овец с резвыми агнцами, там струятся бесчисленными ручьями прозрачные воды. За лугами ближе к морю самая подошва горы – очаровательная равнина, совокупное царство весны и осени, плод со цветом соединяющих. Ни убийственный ветер полуденный, все пополяющий, ни грозный Аквилон никогда не дерзали помрачать блестящих красот того прелестного сада.

Против этого волшебного берега выходит из моря остров, на котором Тир процветает. Великий город, кажется, плавает в водах, как повелитель морей. Купцы стекаются на стогны<sup>4</sup> его из всех частей света, жители его сами купцы, по всей земле знаменитейшие. С первого взгляда можно подумать, что он принадлежит не одному народу, а всем совокупно, как всемирное торжище. Два вала, как две руки, идут от берега в море и образуют обширную пристань, где ветер безвластен. Лес стоит мачт корабельных. Море заслонено кораблями.

Все граждане заняты торговлей, и труд, верный источник

---

<sup>4</sup> Площади, широкие улицы (*церк.* – *слав., поэт. устар.*). – *Прим. изд.*

вщего богатства, не ослабевает в них от избытка. Везде у них видны во множестве тонкий лен египетский и тирская двойная червленень, дивная цветом, столь прочная и блистательная, что противостоит едкости времени: она идет на драгоценные ткани, вышиваемые серебром и золотом.

Финикияне простерли торг со всеми в мире народами до Гадесского пролива, проникли даже в бездны неизмеримого Океана, обтекающего весь шар земной, предпринимали также долговременные странствования по Чермному морю и оттуда на острова, никому не известные, за золотом, благовониями и редкими животными.

Никогда не мог я расстаться с величественным зрелищем, которое этот город представлял моим взорам. Все там трудятся. Я нигде не встречал праздных любителей новостей, которыми города наполнены в Греции, где толпы стекаются на стогны слушать вести или глядеть на приходящие к пристани иностранные лица. В Тире мужчины всегда за делом, выгружают из кораблей, переносят, продают, разбирают товары, ведут счета с иноземцами. Женщины заняты пряжей, составляют узоры для шитья, укладывают драгоценные ткани.

– Каким образом финикияне, – спрашивал я Нарбала, – сделались повелителями всемирной торговли и от всех прочих народов собирают столь богатые дани?

– Изъяснить это весьма нетрудно, – отвечал он. – Самое положение Тира благоприятствует торговле. Слава изобре-

тения мореплавания принадлежит нашему отечеству. Если верить преданиям отдаленнейшей древности, то тиряне первые смирили морские волны до времен еще Тифиса и аргонавтов, превознесенных Грецией, первые дерзнули бороться на ломкой доске с водами и вихрями, испытали пучины, познали по руководству египтян и вавилонян звезды на тверди небесной и наконец открыли путь сообщения между народами, пространством морей разлученными. Они ревностны в промышленности, терпеливы в исполнении предприятий, трудолюбивы, гостеприимны, трезвы, умеренны, порядок у них во всем совершенный, они живут во взаимном согласии, и никакой народ не может сравниться с ними в твердости, в верности, в чистосердечии, в благонадежности в снисхождении ко всем чужеземцам.

Вот отчего тиряне повелители моря! Вот отчего на берегах их цветет торговля, сопровождаемая столь великими выгодами. Не нужно искать иных причин. Поселись у них раздор и зависть, начни они покоиться в прохладах неги и праздности, презирать в первых знатнейших домах труд и расчетливость, перестань они уважать у себя полезные художества, отступи они от правил доброй веры и честности, измени хотя в малом уставы свободной торговли, пренебреги рукодельями, останови они ссуды, пожертвования для усовершенствования различных отраслей промышленности, недолго продлится их могущество, ныне предмет твоего удивления.



– Изъясни мне, Нарбал, – продолжал я, – какими средствами некогда можно бы было в Итаке основать такую же торговлю?

– Последуй здешнему примеру, – продолжал он. – Принимай благосклонно и снисходительно всех иностранцев, пусть они находят в вашей пристани покой, совершенную свободу и безопасность, не ослепляйся ни любостыжанием, ни гордостью. Лучший способ обогатиться – не искать чрезмерного обогащения и уметь вовремя жертвовать приобретением. Снискивай любовь чуждых народов, сноси от них даже и неудобства, опасайся возбудить зависть высокомерием, будь тверд в исполнении правил торговли, они должны быть просты, изъяты от всех затруднений, приучай и народ свой исполнять их ненарушимо, наказывай строго обманы, небрежность и роскошь, которая, разоряя купцов, подрывает тем самым торговлю.

Особенно никогда не стесняй торговли по корыстным собственным видам. Чтобы она свободно текла, государь, не приемля в ней никакого участия, должен предоставлять весь прибыльток в пользу труждающихся: иначе он убьет дух общего рвения. Получит он и без того знатные выгоды от великих богатств, когда они будут беспрепятственно приходить в его область. Торговля как ручьи: отведешь их – иссякнут. Польза и спокойствие одни могут привлечь к вам иноземцев. Не найдут они в торговле с вами удобства и выгод – незаметно уйдут и никогда уже не возвратятся к вашему

берегу. Другие народы воспользуются вашей неосмотрительностью, призовут их к себе и покажут им, как они могут без вас обходиться. Надобно признаться, что с некоторого времени слава Тира померкла. Ах! Если бы ты, любезный Телемак, увидел нашу славу до царствования Пигмалионова! Удивление твое возросло бы тогда до высочайшей степени. Ты теперь видишь только печальный остаток величия, близкого к падению. Несчастный город! В какие руки ты предан? Некогда народы приносили тебе дани от всех концов известного мира.

Пигмалион боится и иностранцев, и подданных. Вместо того, чтобы, по древнему нашему обычаю, открыть все пристани и дать полную свободу всем, самым отдаленным народам, он хочет знать и число приходящих кораблей, и страну, откуда они, и каждого имя, торг, время пребывания в Тире, цены товаров. Мало того, он старается торгующих ловить в тайные сети: искусство, с которым он под видом наказания за преступления переводит чужое достояние в свои сокровищницы, гнетет богатых, налагает под разными предложениями новые подати, хочет сам иметь долю в торговле, а его каждый боится и бежит. Торговля наша от того упадет. Иноземцы начинают забывать путь к берегу тирскому, прежде столь им знакомый, столь им приятный, и если Пигмалион не переменит своих правил, то скоро вся наша слава и сила перейдут к другому народу, лучше нас управляемому.

Потом я любопытствовал знать, какими средствами ти-

ряне приобрели на водах столь великое могущество, желал вникнуть во все подробности правления.

– Ливан доставляет нам лес на корабли, – отвечал мне Нарбал, – мы бережем леса, как драгоценность, единственно на общественные нужды. Для строения кораблей есть у нас искусные художники.

– Откуда вы взяли художников? – спросил я Нарбала.

– Они дома у нас постепенно образовались, – отвечал он. – Когда отличные способности к искусствам не остаются без воздаяния, то несомненно и скоро явятся люди, которые доведут их до совершенства. Люди с превосходным умом и дарованиями охотно посвящают себя художествам, сопровождаемым великими наградами. У нас в почтении каждый, отличный успехами в науках или в искусствах, нужных для мореплавания. И знающий геометр уважаем, и способному астроному отдается вся справедливость, и кормчий, превосходящий других в своем деле, щедро вознаграждается, и прилежный плотник не только не презрен, но получает за труд свой достаточное возмездие. Даже гребцам, каждому по мере заслуги, назначены верные награды, они содержатся нескучно, в болезнях есть о них попечение, в отсутствие их жёны и дети их призрены, в случае гибели на море жребий семейств их обеспечен, выслужив срок, они возвращаются на родину. От того всегда их у нас множество. Отец с радостью готовит сына к ремеслу, где ждут его верные выгоды, и начинает учить его еще с младенчества владеть веслом, ста-

вить снасти, презирать грозные бури. Так можно управлять людьми без насильственного принуждения добрым устройством и воздаяниями. Одна власть сама по себе не зиждет общего блага, не довольно для того и одного беспрекословного повиновения: надобно сердца пленить и дать людям во-счувствовать собственную пользу в том, в чем нужны их труд и искусство.

Потом я осматривал с Нарбалом огромные запасы леса, снастей, оружия, все производство кораблестроения: входил во все мелочи и все записывал, чтобы не забыть чего-либо полезного.

Между тем Нарбал, зная Пигмалиона и по любви ко мне, считал дни и часы, опасаясь, чтобы я не был открыт соглядатаями, обходившими город днем и ночью. Противный ветер не позволял мне отправиться.

Однажды обозревали мы гавань в обществе с купцами. Вдруг видим царедворца Пигмалионова: приходит к Нарбалу и говорит:

– Царь узнал от одного из корабельных начальников, возвратившихся вместе с тобой из Египта, что ты привез иностранца, слывущего кипрянином. Царь велит взять его под стражу и исследовать, кто он? Ты отвечаешь за него головой.

Устранясь, я тогда осматривал дивную правильность построенного вновь корабля: легкостью на ходу, говорили, по точной во всех частях соразмерности никогда еще не было в Тире подобного. Я расспрашивал художника, управлявшего

столь отличной работой.

Нарбал в изумлении, в страхе отвечал царедворцу:

– Я немедленно узнаю, что это за иностранец, который выдает себя за кипрянина.

Но лишь только посланный скрылся от глаз его, он не пришел, прилетел известить меня о предстоявшей опасности.

– Погибли мы, любезный Телемак! – говорил он. – Сердце мое давно слышало несчастье. Царь, непрестанно терзаемый сомнениями, подозревает, что ты не кипрянин, велит взять тебя под стражу, я буду жертвой, если не предам тебя в его руки. Что нам делать? О! Боги! Просветите нас мудростью. Телемак! Я должен отвести тебя в царский дворец. Скажи, что ты кипрянин из города Амавонта, сын художника-ваятеля. Я засвидетельствую, что отец твой давно мне известен. Может быть, царь отпустит тебя без дальнего исследования. Не вижу другого средства к спасению.

Я отвечал Нарбалу:

– Не препятствуй погибнуть несчастному, которого сама судьба обрекла на гибель. Любезный Нарбал! Я умею умереть, и мне ли после всех твоих благодеяний вовлекать тебя в свое бедствие? Не могу я решиться солгать. Я не кипрянин и не назову себя кипрянином. Боги видят мое чистосердечие, спасут меня по своему всемогуществу, если то им благоугодно, а я не хочу спасать себя ложью.

– Такая ложь, – говорил мне Нарбал, – не преступление, и боги оправдают ее, она не вредит никому, спасает две невин-

ные жертвы и мнимым обманом удержит Пигмалиона от величайшего злодейства. Телемак! Ты слишком далеко простираешь любовь к добродетели и страх нарушить святость закона.

– Ложь есть ложь, – отвечал я, – и потому уже не достойна человека, говорящего перед лицом вездесущих богов и обязанного всем жертвовать истине. Преступающий истину гневит богов, язвит и сам себя, говоря против совести. Если боги умилятся: воззрят – и мы избавлены. Если же они соизволяют на нашу гибель, то мы умрем жертвами правды и оставим другим пример по себе, как бескорыстную, чистую добродетель предпочитать долгой жизни. Моя жизнь, доселе всегда злополучная, слишком уже долговременна. О тебе только, любезный Нарбал, сердце мое сокрушается. Кто мог бы подумать, что дружба к несчастному страннику обратится тебе в пагубу!

Взаимный спор любви между нами долго продолжался. Наконец мы увидели другого, быстро шедшего к нам царедворца. Он был послан от Астарбеи.

Эта женщина была богиня красотой, соединяла волшебство ума с наружными прелестями, была забавна, любезна, обворожительна. При всех коварных приятностях сердце ее, как у сирен, было злобно, жестоко, но она умела прикрывать эту черную тайну непроницаемой завесой. Красотой и разумом, искусством играть на лире и нежностью голоса она поработила сердце Пигмалионово. Ослепленный безумной

страстью, он бросил свою жену, царицу Тофу. Первая и последняя мысль его была – исполнять волю надменной Астарбеи. Любовь к ней была ему столько же губельна, как и бесчестное сребролюбие. За всю его страсть к ней она платила ему презрением, хитро лицедействовала, и в то самое время, когда ее уста повторяли ему клятвы любви бесконечной, она в сердце снедалась ненавистью.

В Тире жил тогда лидянин именем Малахон, цветущий летами и красотой, но сластолюбивый, расслабленный удовольствиями, женщина душой. Сохранить нежный цвет в лице, рассыпать искусно по плечам светло-русые кудри, окропиться благовонными водами, одеться с новой приятностью и потом петь свою страсть со звуками лиры – было его единственное занятие. Астарбея увидела прекрасного юношу и воспылала к нему любовью, любовь скоро перешла в неистовство. Он презрел ее и по страсти к другой, и особенно от страха лютой ревности всесильного соперника. Презренная Астарбея, закипев мезтью, в отчаянии умыслила выдать Малахона за чужеземца, искомого царем и, по слухам, прибывшего с Нарбалом.

И подлинно она уверила в том Пигмалиона, склонив на свою сторону всех, кто мог вывести его из заблуждения. Не любив и не умев отличать добродетельных, он окружался людьми корыстными, хитрыми, готовыми по одному его мановению на все неправды и злодеяния. Они все трепетали Астарбеи, послушные клеветы ее во всех обманах страши-

лись гнева надменной женщины, всесильной царской доверенностью. Малахон, известный всему городу лидянин, признан за иностранца, привезенного Нарбалом в Тир из Египта, и заключен в темницу.

Астарбея, боясь, чтобы Нарбал не открыл ее умысла, спешила послать к нему царедворца.

– Астарбея, – говорил он Нарбалу, – запрещает тебе доносить царю, кто твой иностранец, требует от тебя только молчания и устроит все таким образом, что царь сохранит к тебе благоволение. Ты между тем отправь немедленно с кипрянами юного своего странника, чтобы его не было в городе.

Восхищенный неожиданным путем к спасению, Нарбал согласился на требование. Посланный, получив желаемое, возвратился с ответом к Астарбее.

Нарбал и я – мы благословляли промысл богов, призревших на нашу искренность и столь благосердо хранящих под своим кровом дерзновение, бестрепетно готовое на всякую жертву за добродетель.

С ужасом мы размышляли о государе, терзаемом любострастием и златолюбием. Тот, говорили, кто столь малодушно боится обмана, достоин быть в оболыщении и всегда почти нагло обманут. Не веря добрым и предавшись злодеям, он один только не знает того, что совершается у него под глазами. Посмотрим на Пигмалиона – он игралнице бесстыдной женщины! Но боги обращают ложь злых в спасение благолюбивых, желающих лучше погибнуть, нежели лгать.



В тот самый час мы заметили, что ветер переменялся, подул благоприятный кипрскому войску.

– Боги поборствуют, – воскликнул Нарбал, – боги соизволяют возвратить тебе, любезный Телемак, мир и свободу! Беги, оставь землю, упившуюся кровью и обремененную проклятиями. Счастлив тот, кто может сопутствовать тебе до отдаленнейшего края вселенной! Счастлив, кому предоставлено жить и умереть вместе с тобой! Меня грозный рок пригвозждает к злополучному отечеству. Я должен страдать с ним, а может статься, и прах мой смешается с прахом его развалин. Но что до того? Лишь бы я всегда говорил правду и сердце мое любило бы истину. Боги, ведущие тебя мышцей высокой, да благословят тебя, любезный Телемак, драгоценнейшим своим даром – чистой и бескорыстной добродетелью даже до смерти. Будь счастлив, возвратись в Итаку, утешь и избавь Пенелопу от дерзких злоумышленников. Да увидят некогда глаза твои и руки да обнимут Улисса! Да узрит и он в тебе другого Улисса! Но в счастья вспомни несчастного Нарбала и не переставай любить страждущего друга.

Я отвечал ему слезами и глубокими вздоханиями. Мы пали молча друг к другу в объятия. Он провожал меня до корабля, остался на берегу, и, когда корабль вышел в море, мы долго еще не отводили друг от друга взоров.

## Книга четвертая

*Буря на море.*

*Прибытие на Кипр. Новые там опасности.*

*Неожиданное свидание с Ментором.*

*Знакомство с Газилом.*

*Отъезд из Кипра.*

Калипсо, очарованная, слушая Телемака в восторге удовольствия, тут остановила его.

– Время тебе, – она сказала ему, – вкусить сладкий сон после столь многих страданий. Здесь нечего бояться, все тебе благоприятствует, забудь все печали, предайся веселью, насладись миром и всеми дарами, которые боги изливают на тебя щедрой рукой. Завтра, как только Аврора отворит алым перстом золотую дверь востока, и Фебовы кони, прыгнув из вод морских, прогонят звезды с тверди небесной и землю озарят дневным светом, ты кончишь, любезный Телемак, свою повесть. Никогда отец твой не мог сравниться с тобой в мудрости и мужестве. Ни Ахилл, победитель Гектора, ни Тезей, возвратившийся из ада, ни сам великий Алкид, очистивший землю от множества чудовищ, не показали такой силы духа и доблести. Глубокий сон пусть сократит для тебя часы ночи, а для меня предстоит ночь нескончаемая. О! Как медленно будут проходить для меня минуты одна за другой, пока я не увижу тебя, не услышу твоего голоса, не

умолю тебя повторить мне сначала свою повесть и досказать все то, что мне еще неизвестно! Прощай, любезный мой Телемак! Там, в отдаленной пещере, все готово для успокоения тебя и мудрого Ментора, возвращенного тебе божественным промыслом. Молю Морфея, чтобы он рассыпал сладостнейшие цветы на твои вежды, укрепил утомленные твои члены небесным дуновением и велел легким мечтам носиться около тебя, пленять твои чувства прелестными видами и отгонять от тебя все то, что могло бы смутить сон твой безвременно.

И сама повела Телемака в особую пещеру, устроенную в таком же приятном сельском вкусе, как и собственное ее жилище. Светлый в углу источник наводил сон тихим и томным журчанием. Нимфы, сделав из травы две постели, покрыли их длинными кожами: для Телемака положили львиную, а для Ментора медвежью.

Прежде, чем сон сомкнул их глаза, Ментор говорил Телемаку:

– Удовольствие рассказывать свои странствования ослепило тебя. Ты обворожил богиню описанием бедствий, от которых спасся умом и силой духа: тем только более ты воспламенил ее сердце, а сам себе приготовил плен, еще опаснейший. Отпустит ли она тебя из своей области, очарованная твоей повестью? Блеск мнимой славы заставил тебя преступить пределы благоразумия. Калипсо обещала тебе рассказать многие происшествия; участь, Улисса постигшую, –

и искусством говорить много, не сказав ничего, принудила тебя открыть ей все, что хотела. Таково коварство хитрых женщин, уязвленных любовью. О Телемак! Когда ты достигнешь мудрости, которая, не внемля тщеславию, переходит в молчании все то бесполезное, что льстит самолюбию? Другие дивятся твоему разуму в таком возрасте, когда преткновенения еще простительны. Я не могу ни в чем извинить тебя, один знаю и один столько люблю тебя, что открываю тебе все твои погрешности. Как ты далек еще от мудрости отца своего!

– Но мог ли я, – возразил Телемак, – отвергнуть просьбу Калипсо рассказать ей о несчастных моих похождениях?

– Нет! – отвечал Ментор. – Эта повесть была необходима, но надобно было говорить только то, что могло внушить сострадание. Ты мог ей сказать, что долго скитался, был в плену в Сицилии, после в Египте – и тем ограничиться: все прочее только умножило яд, которым и без того уже сгорает ее сердце. Боги да предохранят твое сердце от той же заразы!

– Что же мне делать? – спросил Телемак смиренно и кротко.

– Скрывать дальнейшие свои странствования уже не время, – отвечал ему Ментор. – По всему, что богине доселе известно, она легко предугадает последствие, раздражишь ее только молчанием. Завтра окончи свою повесть, изъясни все то, чем боги далее ознаменовали благой о тебе промысл, но учись говорить с большей скромностью о том, что может пи-

тать самолюбие.

Телемак с покорностью принял добрый совет, и они предались сладкому сну.

Лишь только Феб озарил лицо земли утренним светом, Ментор, услышав голос богини – она созывала нимф к себе в рощу, – разбудил Телемака.

– Пора, – сказал он ему, – преодолеть сон. Возвратимся к Калипсо. Но не верь сладкоречивым ее устам, не открывай ей сердца, страшись усыпляющего яда похвал ее. Вчера она превозносила тебя выше мудрого твоего родителя, выше непобедимого Ахилла, славного Тезея и, наконец, выше Алкида, сопричисленного лику бессмертных. Почувствовал ли ты несообразность такой лести? Поверил ли хитрым словам? Знай, что Калипсо сама считает их пустым звуком и превозносит тебя в твердой надежде на твою слабость, на жажду похвал, делам твоим не соответствующих.

Потом они пошли в то место, где богиня их ожидала. Она встретила их радостной улыбкой, но удовольствием на лице прикрыла только страх и тревогу в душе, предчувствуя, что сын Улиссов, так же как и отец его, с ней ненадолго.

– Удовлетвори, любезный Телемак, моему любопытству, – говорила она. – Мне всю ночь представлялось, как ты отплыл из Финикии, как прибыл к берегу Кипра и как твоя участь там переменялась. Расскажи нам это путешествие, не станем терять времени.

И сели они под тенистым кровом дерев на траве, изукра-

шенной цветами.

Калипсо не сводила глаз с Телемака. Нежный и страстный взор ее непрестанно невольно к нему обращался. Но в то же время она с негодованием видела, что Ментор преследовал каждый ее взгляд, каждое движение. Между тем нимфы, чтобы лучше видеть и слышать, сели в полкруга, лишённые, казалось, всех чувств, кроме слуха. Глаза всех устремились на Телемака. Он, потупив взор, с прелестной в лице краской стыдливости, продолжал свою повесть:

– Лишь только благоприятный ветер заиграл парусами, немедленно мы потеряли из виду берег финикийский.

В обществе с кипрянами, не зная их нравов, я решился молчать, смотреть на все с примечанием и вести себя с осторожной скромностью, чтобы тем снискать к себе уважение. Но скоро непреодолимый сон сомкнул мои вежды, чувства мои онемели, в тишине сладостной, в упоении радости сердце истаивало.

Вдруг я увидел во сне Венеру. Мечталось мне, что она неслась по облакам в летучей своей колеснице, везомой двумя голубями: блистала той бессмертной красотой, тем цветом юности неувядаемой, теми нежными прелестями, которыми некогда, выходя из пены океана, ослепила даже Юпитера. С быстротой молнии она спустилась на землю, положила на плечо мне руку с небесной улыбкой, назвала меня по имени и говорила:

– Юный грек, ты идешь в мою область. Скоро ступишь на

берег того благословенного острова, где от прикосновения ног моих рождаются на каждом шагу смех, забавы, веселые игры. Там ты воскуришь фимиам на моих жертвенниках, и я рекой пролью для тебя удовольствия. Открой сердце животворной надежде и страшись воспротивиться всесильной богине, которой воля – твое счастье.

В тот же час я увидел Купидона: он летал на резвых крыльях около матери. Приятство, нега, незлобивая игра младенчества на лице его были написаны, но быстрые очи его приводили меня в ужас. Он обращал ко мне взор и смеялся: смех его был язвительная злость и лукавство. Потом он вынул из золотого колчана стрелу самую острую, и лук натянул, и приложил стрелу к тетиве – пустил в меня роковое оружие. Является Минерва и ограждает меня эгидом. В лице Минервы не было той томной красоты, ни того страстного изнеможения, какие были видны в лице и во всей осанке Венеры. Она была прекрасна забвением своей красоты, простотой и кротостью. В ней все было скромно, благородно и мужественно, во всем величие, доблесть. Стрела, отраженная эгидом, пала наземь.

Посрамленный Купидон застонал в горестном негодовании.

– Прочь отсюда, дерзкий младенец, – сказала ему Минерва, – тебе предоставлено побеждать только слабые души, предпочитающие постыдные твои утехи мудрости, добродетели, славе.

Оскорбленная любовь улетела. Венера вознеслась на Олимп, и я долго смотрел на ее колесницу, как она, везома голубьями, восходила по воздуху в золото-лазоревом облаке. Наконец она скрылась от взоров. Обратясь, я не видел и Минервы.

Мечталось мне тогда, что я перенесен был в прелестнейший сад, каким изображаются Поля Елисейские: там встретил Ментора.

– Беги, – говорил он мне, указывая на Кипр, – беги от этой отверженной земли, тлетворного острова, где все дышит сладострастием. Самая бодрственная добродетель там должна трепетать, быть непрестанно на страже: одно ей спасение – бегство.

Увидев Ментора, я хотел броситься к нему в объятия, но чувствовал, что ноги мои не двигались, колена подсекались и руки, простираясь к верному другу, ловили тень, как мгла, рассыпавшуюся. Воспрянув, утомленный напряжением сил, я предугадывал, что это таинственное сновидение было для меня божественным мановением свыше – и исполнился новой силы против суетных удовольствий, нового мужества к брани с собой, новой ненависти к растлению кипрян. Но мысль, что Ментор, совершив течение жизни, перешел через Стикс и переселился в блаженные обители праведных, сокрушала мое сердце.

Ручьем полились из глаз моих слезы. Любопытствовали знать причину моей горести.



– Слезы, – отвечал я, – свойственны несчастному страннику, скитающемуся без всякой надежды возвратиться в отечество.

Между тем кипряне на корабле все предавались буйным потехам. Гребцы, враги труда, дремали на веслах, кормчий, в венке из цветов на голове, вместо руля держал в руках огромную чашу с малым уже в ней остатком вина. Он и все до единого, вне себя от вина, пели в честь Венеры и Купидона такие песни, что содрогнулось бы от них всякое сердце, любящее добродетель.

Так они забывали опасности неверной стихии, когда внезапная буря возмутила небо и море. Заревели в парусах яростные вихри, черные воды били валами в корабль, становший от их ударов. То волны, вздувшись, вертели нас по хребтам своим, то море под нами вдруг расступалось, бездны зияли. На шаг от себя мы видели груды утесов, где волны кипевшие разбивались с ужасным гулом и громом. Тогда узнал я на опыте истину слов, которые часто слышал от Ментора, что сладострастные люди, упоенные удовольствиями, робки и малодушны в опасности. Унылые кипряне рыдали, как боязливые женщины, оглушали меня плачевными воплями и горестными вздыханиями о наслаждениях жизни, поздними обетами принести богам жертвы за избавление от предстоявшего бедствия. Никто не сохранил присутствия духа, чтобы управлять кораблем или, по крайней мере, исполнить необходимые распоряжения. Я вмнил себе в

обязанность, спасая себя, спасти и других; взял в руки руль; кормчий, омраченный парами вина, как вакханка, не мог даже видеть столь близкой опасности; велел я убрать паруса, ободрил уstraшенных гребцов, они ожили, и мы благополучно прошли между камнями.

Это происшествие показалось сновидением всем моим спутникам, обязанным мне спасением жизни. Я был предметом общего их удивления. Наконец мы достигли кипрского берега. Весна тогда воскрешала природу – время, посвящаемое на Кипре Венере. Весна, говорят они, прилична богине любви. Любовь животворит всю природу и, как весна цветы по земле, рассыпает везде удовольствия.

Ступив на остров, я почувствовал приятнейший воздух, но вместе какую-то лень и негу в теле, какую-то ветреность в мыслях, влечение к увеселениям. Труд на Кипре считался казнью: поля, от природы прекрасные и плодоносные, лежали впусе. Везде встречались мне девицы и женщины в богатом убранстве. Прославляя Венеру громкими песнями, они спешили в храм посвятить себя ей на служение. На лицах их спорили прелести, красота, удовольствие, радость, но все это было поддельно. Не было в них той благородной простоты, ни той милой стыдливости, без которых красота лишается сильнейшего очарования. Вид изнеможения, искусство притворствовать, пышные наряды, томная поступь, глаза, ловившие взгляды мужчин, завистное рвение воспламенять сердца словом – все свойства этих женщин были низ-

ки, презрительны. Стараясь нравиться, они были от того еще отвратительнее.

Я хотел видеть храм Венеры. Храмы воздвигнуты ей в разных местах острова. Особенно она чтима в Цитере, в Пафосе, в Идалии.

Я был в Цитере. Тамошний храм, окруженный длинными рядами столбов, весь из мрамора. Огромность и высота столбов придают величественный вид всему зданию. Над воротами с каждой стороны сверху столбов изображены ваянием самые приятные черты жизни Богини любви. Преддверие всегда наполнено множеством народа, стекающегося для жертвоприношений.

Жертвы никогда не закладываются в священной окружности, ни тук<sup>5</sup> волов и юниц, по обычаю многих иных стран, не предается огню, ни кровь там не проливается. Животные подводятся только к жертвеннику, и то молодые, белые, без недостатков и пятен, они покрываются багряными тканями, шитыми золотом; рога их, также все в золоте, украшаются венками из душистых цветов. От жертвенника их отводят в отдаленное место и там уже закалывают на пиршества жрецам, служащим богине.

Приносятся равным образом в жертву воды благовонные и вино, приятнейшее нектара. Жрецы облачаются в длинные белые ризы с золотой кругом внизу бахромой и с золотыми поясами. На алтарях днем и ночью курятся драгоцен-

---

<sup>5</sup> Жир с жертвенных животных. — *Прим. изд.*

ные восточные благоухания: дым от них облаком восходит к небу. Столбы в храме увиты цветами. Сосуды, употребляемые при жертвоприношении, все из чистого золота. Храм окружен священной миртовой рощей. Одни только отроки и отроковицы, цветущие молодостью и красотой, могут зажигать огонь на алтарях и представлять жрецам приносимые жертвы. Но великолепие храма помрачается бесстыдством и растлением нравов.

С первого шага я смотрел на все с омерзением, но незаметно глаза мои начали привыкать к пагубному зрелищу. Порок не приводил уже меня в ужас, общества, беседы возбуждали во мне склонность к разврату, невинность моя стала в притчу, стыдливость и скромность в потеху необузданным кипрянам. Ничто не забыто, чем только можно было воспламенить во мне страсти, вовлечь меня в сети, возбудить во мне вкус к удовольствиям. С наступлением каждого дня я чувствовал в сердце новую слабость. Правила, в которых я воспитан, почти уже не поддерживали меня в преткновениях, исчезали все мои намерения, я не имел уже силы противоборствовать пороку, он манил меня к себе со всех сторон, я даже стыдился добродетели, был подобен человеку, плывущему по глубокой и быстрой реке. Сперва он рассекает шумные воды и борется с волнами, но если утесы препятствуют ему выйти на берег для отдохновения, то он мало-помалу изнемогает, истощается вся его крепость, утомленные члены немеют, и он далеко несется по стремлению бурного

потока.

Так глаза мои омрачались, сердце мое тлело. Замолк во мне голос здравого разума, доблести отца моего изглаживались из моей памяти. Сновидение, в котором мудрый Ментор представился мне на Елисейских Полях, довершало во мне уныние. Я предавался приятнейшему, тайному томлению, пил уже в сладость яд смертоносный, переливавшийся во все мои жилы, проникавший во все мои кости; по временам вздыхал еще из глубины души, лились из глаз моих горькие слезы, как лев, я рычал в исступлении.

– Несчастливая юность! – вопиял я. – О Боги, столь жестоко играющие судьбой смертных! Зачем вы определили им проходить этот возраст, время безумия и болезненных терзаний? О! Зачем я уже не покрыт сединами, не согбен под бременем лет, не близок ко гробу, как Лаэрт, дед мой?

Смерть была бы для меня не столь мучительна, как позорная моя слабость.

Так я тогда изливал свои чувства – и страдание души моей стихло, и сердце в чаду упоения готово было разорвать последние нити стыда. Вслед за тем тайный упрек вновь раздирает мое сердце. Шатаюсь мыслями, я скитался по священной дубраве, переходя из места в место, как серна, ловцом уязвленная, бегаем по обширному лесу, чтобы утолить свою боль и страдание. Но стрела, прободившая ребро ее, с ней несется, пьет кровь ее трость роковая. Так я тщетно бегал сам от себя: ничто не облегчало раны моего сердца.

В тот самый час я увидел на некотором от себя расстоянии, в мрачной тени дубравы образ мудрого Ментора, но не на радость: так его лицо было бледно, печально, сурово!

– Тебя ли я вижу, о друг мой! Единственная моя надежда! Тебя ли я вижу? Не призрак ли прельщает мои взоры? Тебя ли я вижу, Ментор! Или только тень твоя состраждет моим бедствиям? Не сопричислен ли ты уже лику блаженных духов, пожинаящих плоды добродетели, вознагражденных от богов чистым весельем в вечном мире на Полях Елисейских? Жив ли ты, Ментор! Скажи мне. Неужели я и подлинно столь счастлив, что ты еще со мной? Или я вижу только тень верного друга? – так говоря, я не шел, а летел к нему в восхищении сердца, почти бездыханный. Он ожидал меня спокойно, не трогаясь с места. О! Боги! Вы видели мою радость, когда я почувствовал, что руки мои осязали его.

– Нет! Не тень мне является: я обнимаю, к сердцу прижимаю любезного Ментора! – так я воскликнул, пал к нему на выю<sup>6</sup>, облил его горячими слезами... далее не мог говорить.

Он смотрел на меня глазами, полными скорби и нежного соболезнования.

Наконец я сказал ему:

– Какими судьбами ты в здешнем месте? Каким опасностям без тебя подвергался я, одинокий! Что было бы со мной и теперь без тебя?

Вместо ответа на мои вопросы, он говорил мне страшным

---

<sup>6</sup> На шею. – Прим. изд.

ГОЛОСОМ:

– Беги! Не теряй ни мгновения, беги! Земля здесь производит не плод, а яд смертоносный, воздух здесь убийствен, жители, в язве, беседами передают друг другу тлетворную заразу. Позорное, скотское любострастие, ужаснейшее всех зол, вышедших из рокового сосуда Пандоры, растлевает сердца и гонит отсюда все, что есть добродетель. Беги! Что ты медлишь? И не озирайся. Истреби в себе даже воспоминание об этом пагубном острове.

Сказал он – и с глаз моих спала завеса, облако рассыпалось, открылось мне сияние чистого света. Радость мирная с духом непоколебимого мужества возвратилась в мое сердце, и как она отлична была от той бурной и сладострастной радости, которая прежде овладела всеми моими чувствами! Та радость есть чад упоения и прерывается необузданными страстями, терзательными угрызениями, а эта – есть радость разума, предвкушение блаженства, преддверие неба, она всегда ровна, всегда чиста, неистощима; чем более в ней утопаешь, тем она сластнее восхищает сердце, не возмущая ясности душевной. Тогда я пролил радостные слезы и чувствовал, что такие слезы всего утешительнее.

– Счастлив тот, – говорил я, – кому добродетель является в полном блеске красот своих! Можно ли видеть ее и не любить? Можно ли любить ее и не блаженствовать?

Ментор сказал мне:

– Надобно нам разлучиться, я оставляю этот остров,

невозможно мне долее медлить.

– Куда же ты уходишь, – отвечал я, – где такая необитаемая страна, куда бы я не пошел вслед за тобой?

Мы ли расстанемся? Скорее погибну, – так говоря, я прижимал его всеми силами к сердцу.

– Напрасно ты удерживаешь меня, – продолжал он. – Жестокий Метофис продал меня аравитянам. Они, находясь по торговле в Дамаске, что в Сирии, встретили случай сбыть меня с рук с большой корыстью. Некто Газаил, желая знать наши нравы и науки, искал себе раба из греков и купил меня у них высокой ценой. Описание наших врагов возбудило в нем любопытство видеть Крит, испытать мудрость законов Миносовых. Буря принудила нас пристать к здешнему берегу. В ожидании благоприятной погоды Газаил пошел в храм принести жертву, – и вот возвращается. Веет попутный нам ветер, корабль ждет нас под парусами. Прощай, любезный мой Телемак! Раб, боящийся богов, должен быть верен господину. Боги не предоставили мне располагать жизнью по своей воле. Если бы я был независим, они свидетели – я жил бы тогда для одного тебя. Прощай! Помни подвиги Улиссова, не забывай слез своей матери, помни богов правосудных. О! Боги, защитники невинности! В какой стране я должен оставить Телемака!

– Нет! Любезный Ментор! – отвечал я. – Покинуть меня здесь не в твоей власти. Умру – а без меня не пойдешь ты отсюда. Неужели сириец, господин твой, без всякой жалости?



Неужели он в младенчестве вскормлен сосцами лютого зверя? Захочет ли он исторгнуть тебя из рук моих? Он должен лишиться меня жизни или взять вместе с тобой. Сам убеждаешь меня искать спасения в бегстве и не хочешь быть моим спутником. Прибегну к Газаилу, может статься, он сжалится над юностью, над слезами моими. Когда он любит мудрость и идет за ней в страну дальнюю, чуждую, то сердце его не может быть бесчувственно и злобно. Паду к его ногам, облобызаю колена, не отступлю от него, доколе он не приклонится на мои слезы. Любезный Ментор! Я буду рабом его вместе с тобой, пойду к нему в слуги. Отказ его решит мою участь: избавлю тогда себя от горестной жизни.

В тот самый час Газаил позвал к себе Ментора. Я пал к его ногам. Неожиданное для него было явление: человек неизвестный – в таком положении.

– Чего ты от меня хочешь? – спросил он.

– Жизни! – сказал я. – Не могу я остаться в живых, если ты не дозволишь мне быть неразлучно с рабом твоим Ментором. Я сын великого Улисса, мудростью первого между всеми царями, обратившими в пепел великолепную Троию, венец и красу Азии. Не тщеславлюсь я своим родом, хочу только возбудить в тебе хоть слабое сострадание к несчастной своей доле. Я измерил моря вслед за отцом своим. Ментор был мне вторым отцом в моих странствованиях. Судьба, чтобы исполнить меру моих бедствий, отняла у меня и его, единственного друга, отдала тебе его в рабство. Пусть и я буду ра-

бом у тебя. Если ты нелестно любишь истину и предпринял путешествие в Крит с тем намерением, чтобы узнать законы добродетельного Миноса, то не ожесточи своего сердца, сжался над воздыханиями, над слезами моими. Сын царский у ног твоих и принужден молить о последней для себя милости – о рабстве. В Сицилии некогда я требовал смерти вместо неволи, но прежние мои горести были еще легкие удары враждебного рока. Теперь и в число рабов, может статься, не буду я принят. О! Боги! Воззрите на все мои страдания. О! Газаил! Вспомни Миноса, великого мудростью: он будет общим нашим судьей в царстве Плутоновом.

Газаил, взирая на меня с кротким видом соболезнования, подал мне руку и поднял меня.

– Мне известны, – говорил он, – доблесть и мудрость Улиссовы. Ментор часто описывал мне снисканную им между греками славу. Но и без того быстрая молва возвестила его имя всем народам на Востоке. Живи со мной, сын Улиссов! Я буду тебе отцом, пока боги не возвратят тебе родителя. Если бы даже ни слава отца твоего, ни бедствия его и твои не внушали мне сострадания, то одна дружба моя к Ментору заставила бы меня принять участие в твоём жребии. Подлинно, я купил его в виде раба, но берегу, как верного друга, друга любезнейшего и драгоценного я приобрел в нём ценой золота, в нём нашел мудрость, ему обязан всей любовью к добродетели. Он свободен, свободен и ты, Телемак! Сердца ваши только пусть останутся моими.

В мгновение ока я перешел от самой мучительной горести к восхитительнейшей радости, какая только свойственна смертному: был вне опасных сетей, приближался к отечеству, встретил неожиданное к тому пособие, имел отраду быть с человеком, полюбившим меня по бескорыстной любви к добродетели – все наконец возвращалось мне с возвращением навсегда уже Ментора.

Газаил идет к берегу, мы за ним следуем, взошли на корабль... Закипели под веслами тихие воды, легкий ветер заиграл парусами; корабль, оживленный, быстро двинулся в море: скоро Кипр скрылся от взоров. Газаил, желая испытать мои чувства, любопытствовал знать образ моих мыслей о нравах острова. Я изъяснил ему искренно все опасности, которыми там был окружен по своей молодости, и всю борьбу от того в сердце. Отвращению моему к пороку отдав справедливость, он сказал:

– О! Венера! Я чту твою власть и власть твоего сына, воскурил фимиам на твоём жертвеннике; но прости мне: гнушаюсь я позорным сладострастием обитателей твоего острова и скотским бесстыдством, сопровождающим твои празднества.

Потом Газаил беседовал с Ментором о первоначальном Могуществе, сотворившем небо и землю, о беспредельном, вовеки немерцающем Свете, который наполняет все собой, сам нераздельный, о вседержавшей и всеобъемлющей Истине, которая просвещает все умы, как солнце озаряет всякое

тело.

– Кто никогда не видел, – говорил он, – чистого света Истины, тот подобен слепорожденному: он влачит жизнь в глубокой ночи, подобно народам, для которых солнце не восходит несколько месяцев сряду; мечтает быть мудрым – и никогда не может прийти в разум истины, мнит быть всевидящим – и ничего во мраке не видит, сходит и в гроб, не прозревши, или усматривает, но только в сумраке, ложные мерцания, тщетные тени, как дым, мимо текущие призраки. Таков жребий всех, увлекаемых льстивыми чувствами и мечтой воображения! Истинный на земле человек только тот, что испытует, кто любит вечный Разум и избирает его себе наставником в жизни. Он внушает нам благие желания. Он осуждает нас за злые помыслы. Все мы приемлем от исполнения его ум с самой жизнью. Он есть бесконечное море света, умы наши – малые струи, исходящие из бездны этого моря и текущие с ним же сливаться.

Я не постигал еще в полной мере столь глубокой мудрости, но предвкушал в ней что-то выпреннее, чистое, сердце мое согрелось теплотой незримого света, в каждом слове, казалось мне, блистал ясный луч истины.

Они продолжали рассуждать о начале богов, о героях, о песнопевцах, о золотом веке, о потопах, о первых преданиях рода человеческого, о реке забвения, в которую погружаются души умерших, о вечных страданиях, уготованных злостивым в мрачных пропастях Тартара, и о том неизглаголан-

ном мире, которым праведные наслаждаются на Полях Елисейских, не боясь уже в нем изменения.

Посреди беседы вдруг мы увидели дельфинов, сверкавших злато-лазуревой чешуей. Выпрядая один за другим изпод черных зыбей, они взрывали воду пенистыми буграми. За ними тритоны трубили в извитые раковины, окружая колесницу Амфитритину, везомую белыми, как снег, морскими конями.

Рассекая влажную пучину, они оставляли далеко за собой след широкими бороздами, их челюсти дымились, из очей сыпались искры. Огромная раковина чудесного вида, белизной блистательнее слоновой кости, служила богине вместо колесницы, колеса были золотые, она скользила по ясному зеркалу вод. Нимфы, в венках из цветов, плыли во множестве за колесницей. Длинные волосы, распущенные, сходили по плечам их волной. С золотым в руке жезлом, которому волны послушны, другой рукой богиня держала на коленях сына, бога-младенца Палемона: с лицом светлым и радостным она являла величие, слиянное с кроткой благостью. Свирепые бури и наглые вихри молчали. Тритоны правили коней золотыми вожжами. Великолепная ткань багряного цвета веяла в виде паруса над колесницей. Резвые зефиры-младенцы старались двигать ее дуновением. Вдали виден был в воздухе Эол, исполненный внимания, страха и пламенного рвения. Лицо его, покрытое морщинами, пасмурно, грозный голос, густые брови, опавшие, глаза, как молнии,

смиряли гордых аквилонов<sup>7</sup> и гнали с неба черные тучи. Заиграли великие киты и все страшилища бездны, пускали из ноздрей воду волнами, опять поглощали целые волны, и из пучин выходили увидеть светлые очи богини.

---

<sup>7</sup> Аквилон (*лат.* *aquilo – aquilonis* – «северный ветер») – древнеримское название северо-восточного, иногда северного ветра. Как и другие ветры, Аквилон представляли божеством, олицетворявшим эту силу природы; соответствовал древнегреческому Борею. – *Прим. изд.*

## Книга пятая

*Прибытие в Крит.*

*Избрание царя по случаю бегства Идоменея.*

*Игры народные. Телемак приобретает право на царство.*

Долго мы любовались этим величественным явлением.

Между тем зачернелись Критские горы. Сначала мы с трудом отличали их от синих волн и от облаков. Скоро показалось чело Иды, господствующей над всеми около нее другими горами, так в лесу старый олень возносит ветвистые рога над всем вокруг него стадом. Самый берег мы видели час от часу явственнее, наконец, открылось вверх по скату живописное зрелище. Земля здесь не походила на землю на Кипре: там невозделанная, брошенная пустыня, здесь земля красовалась богатством своим и всеми плодами труда рук человеческих.

Издали еще мы усматривали веси благоустроенные, села, с городами равнявшиеся, города великолепнейшие, не встречали поля, по которому не прошел бы плуг трудолюбивого земледельца, всюду он оставил след по себе глубокими полосами. Дикие терны, тунеядные травы на Крите совсем неизвестны. С каким удовольствием мы смотрели на тенистые доли, где рев тучных волов откликался на пажитях<sup>8</sup> по берегам светлых потоков, на овец, рассеянных стадами по

---

<sup>8</sup> Пастбища с густой, сочной травой. – Прим. изд.

скатам холмов, на пространные поля, покрытые богатой жатвой, даром неистощимой Цереры, на горы, осененные виноградными лозами, на которых зрелые уже гроздья предвещали делателю животворный Вакхов плод, веселящий смутное сердце!

Ментор был тогда на Крите не в первый раз и сообщал нам все свои о нем сведения.

– Этот остров, – говорил он, – предмет удивления для всех путешественников, числом ста городов знаменитый, свободно довольствует всех обитателей, как они ни многочисленны. Земля никогда не перестает расточать своих сокровищ в награду за труд. Обильные недра ее неисчерпаемы. Чем более в стране жителей, тем больший у них избыток во всем при неослабном трудолюбии. Не для чего им друг другу завидовать. Земля, как добрая мать, умножает богатство по числу детей своих, когда они трудом заслуживают плоды, ею даруемые. Властолюбие и любостыжание – единственные источники бедствий человеческих. Люди алчны, и жадностью к излишнему делают сами себя несчастными. Если бы они умели ограничиваться в простоте нравов удовлетворением истинных надобностей, то везде царствовали бы изобилие, радость, мир и согласие.

Минос, пример царям в мудрости и добродетели, знал эту истину. Все здесь подлинно дивные установления – плоды его законов. Учрежденное им воспитание юношества дает телу силу и крепость. Дети прежде всего приучаются к обра-



зу жизни простой, воздержной и деятельной. Всякая нега, по мнению критян, расслабляет тело и душу. Вместо забав юношам предлагаются подвиги, где они могут отличиться доблестью, снискивать славу. Мужеством они считают не только презрение к смерти на поле боевом, но и в отвержении богатства излишнего, удовольствий позорных. Три порока, в иных местах безнаказанно терпимые, на Крите наказываются: неблагодарность, притворство и сребролюбие.

Нет нужды здесь обуздывать пышности и роскоши: на Крите они совсем неизвестны. Здесь каждый трудится, но никто не алчет обогащения, а всякий считает довольным за труд возмездием тихую и благоустроенную жизнь, когда имеет все подлинно нужное в изобилии под мирным своим кровом. Воспрещены здесь драгоценные утвари, великолепное одеяние, позлащенные дома, роскошные пиршества. Обыкновенное у всех одеяние из тонких рун прекрасного цвета, но без шитья и узоров. В употреблении вина и в пище большая умеренность, хороший хлеб, молоко и плоды – главная пища, мяса вообще мало едят, и то без сладостных приправ, а лучший рогатый скот в многочисленных стадах бережется для земледелия. Дома чисты, покойны, веселы, но без украшений. Великолепное зодчество не изгнано, но оставлено для храмов, богам посвящаемых: люди не смеют сооружать себе домов, подобных жилищам бессмертных. Здоровье, сила, мужество, семейное согласие, мир, свобода, избыток во всем нужном, презрение всего излишнего, труд, отвращение

от праздности, любовь к добродетели, покорность законам, страх к богам – вот что составляет у критян величайшее благо!

– В чем состоит власть царя критского? – спросил я Мендора.

– Царь имеет здесь полную власть над подданными, – отвечал он, – но сам под законом. Власть его неограниченна во всем, что зиждет благо народа, но руки его связаны, когда на зло обращаются. Законы вверяют царю народ как залог, всего драгоценнейший, с тем, чтобы он был отцом своих подданных, требуют, чтобы один мудростью и кротостью способствовал благоденствию многих, а не того, чтобы тысячи питали гордость и роскошь одного, сами пресмыкаясь в бедности и рабстве. Царю не предоставлено здесь никакого иного отличия перед другими, кроме того, что нужно для облегчения возложенного на него бремени, или может поддержать в народе почтение к тому, кто подпора законов. Впрочем, он первый обязан предшествовать собственным примером в строгой умеренности, в презрении к роскоши, пышности, тщеславию. Отличаться он должен не блеском богатства и не прохладами неги, а мудростью, доблестью, славой. Извне он обязан быть защитником царства, предводителем рати, внутри – судьей народа, и утверждать его счастье, просвещать умы, исправлять нравы. Боги вручают ему жезл правления не для него, а для народа: народу принадлежит все его время, все труды, вся любовь его сердца, и он достоин дер-

жавы только по мере забвения самого себя, по мере жертвы собой общему благу.

Минос не хотел передать царство в наследие детям без непреложного от них обета царствовать по его правилам. Любовь к отечеству восторжествовала в нем даже над любовью к детям. И такую-то мудростью он возвел Крит на высочайшую степень могущества и благоденствия, такой победой над самим собой затмил славу завоевателей, осуждающих народы в жертву алчному властолюбию, называемому величием, такой, наконец, справедливостью заслужил звание верховного судии земнородных по смерти.

В продолжение беседы пристали мы к берегу, и тотчас пошли посмотреть на славный критский лабиринт, творение рук остроумного Дедала, подражание великому лабиринту египетскому. Обозревая это здание, достойное любопытства, мы увидели толпы народа, стекавшегося на равнину почти у самого берега, и спросили о причине волнения. Критянин по имени Наузикрат рассказывал нам следующее:

– Идоменей, сын Девкалионов и внук Миносов, был под Троей с прочими греческими царями. По разрушении Трои, когда он возвращался уже в свою область, поднялась на пути сильная буря. Кормчий и все искуснейшие мореходцы обрели корабль на неизбежную гибель, смерть была у всех перед глазами, каждый видел разверстую бездну, каждый оплакивал бедственную свою долю, теряя даже надежду иметь печальное успокоение теней, переходящих, по погребении тел,

через воды Стикса. Идоменей, возведя на небо очи и руки, воззвал к Нептуну:

– Бог всемогущий! – воскликнул он. – Ты, которому предана власть над морями! Услышь несчастного. Если под кровом твоим достигну я Крита сквозь ужасы вихрей, то первый, кто предстанет моим взорам, будет принесен тебе в жертву.

Сын, пылая нетерпением обнять отца, спешил между тем встретить его у пристани. Несчастный! Не знал он, что стремился к своей гибели. Идоменей, спасенный от бури, приближался к родному берегу, воссылая благодарение Нептуну, внявшему его молению, но скоро увидел пагубные следствия дерзкого обета. Предчувствие убийственного удара до того еще терзало его сердце раскаянием. Он боялся встретить ближних, встретить то, что было ему всего в мире дороже. Жестокая Немезида, богиня неумолимая, недремлющая и правосудно карающая смертных, а более всего – надменных царей, вела его роковой незримой дланью. Он сходит на берег, возводит со страхом робкие взоры и видит сына – отпрянул и в ужасе ищет глазами, но тщетно, жертвы не столь драгоценной.

Сын падает к нему на выю и, изумленный столь неожиданным воздаянием от отца за сыновнюю нежность, видит его в горьких слезах.

– Любезный отец! – говорил он ему. – Отчего твои слезы? Неужели прискорбно тебе, после столь долгого отсутствия,

возвратиться в отечество, утешить верного сына? В чем я виновен? Ты отвращаешь от меня взоры, боишься взглянуть на меня.

Отец молчал в глубокой горести сердца. Наконец после многих вздохов он воскликнул:

– О! Нептун! Что я обрек тебе в жертву! Какого возмездия ты требуешь от меня за спасение жизни? Повергни меня обратно на камни и в волны: пусть они, растерзав мое тело, пресекут несчастные дни мои: сохрани жизнь моего сына. Жестокий бог! Вот кровь моя: пощади кровь моего сына! – сказал и, выхватив меч, хотел вонзить его в грудь себе. Предстоявшие удержали его за руку.

Старец Софроним, истолкователь воли богов, уверял его, что он мог иной кровью заменить кровь сына, Нептуну обещанную. Обет на себя ты положил неосмотрительно, говорил он: богам неуютны жестокие жертвы. Страшись приложить погрешность к погрешности и совершением дерзкого обета нарушить законы природы. Принеси сто волов, белых, как снег, во всеожжение Нептуну, пролей кровь их окрест его жертвенника, цветами обвитого, воскури драгоценный фимиам в честь богу.

Идомей слушал советы с поникнувшей головой, не отвечая ни слова. Глаза его пылали, бледное, истерзанное лицо ежеминутно изменялось в цвете, все члены его содрогались. Между тем сын говорил ему:

– Любезный отец, сын твой готов быть жертвой умило-

ствления. Не навлекай на себя гнева страшного бога морей. Я умру с удовольствием, когда твоя жизнь будет искуплена ценой моей крови. Вот мое сердце! Любезный отец! Ты не найдешь во мне недостойного сына, робкого пред лицом смерти.

Тогда Идоменей в исступлении, вне себя, будто раздираемый адскими фуриями, в одно мгновение ока, невзирая на все наблюдение предстоящих, вонзает меч в сердце невинного юноши, вдруг исторгает из него роковое оружие, обогрившее кровью, дымящееся, и возносит на самого себя, но вторично удержан.

Несчастный сын обливается кровью, глаза его меркнут, отягощенные тенями смерти, он возводит еще к свету потухшие взоры, но свет уже стал для него убийственной язвой. Как прекрасный крин, подсеченный в корне острием плуга, колеблется и падает, прелестный блеск его не помрачился, и нежная белизна еще не завяла, но земля уже не вскормит его, и жизнь погасшая не возвратится. Подобно юному крину, сын Идоменеев погиб в расцвете возраста.

Отец, от горести бесчувственный, оцепеневший, не видит, где он, не помнит содеянного, не знает, на что решиться; на дрожащих ногах, наконец, идет в город и зовет к себе сына.

Но народ, подвигнутый состраданием к несчастному сыну и омерзением к зверообразной жестокости отца, вопиет, что правосудные боги предали фуриям Идоменея. Толпы рассвирепевшие ринулись, хватают дреколье, камни – ору-

жие ярости, раздор зажигает в сердцах смертоносное пламя. Критяне, просвещенные критяне, забыв столь ими чтимую мудрость, отложились от внука Миносова. Друзья его, не видя иного средства к спасению, спешат возвратиться с ним на корабли и бегут из отечества. Идоменей, пришедши в чувство, благодарит их, что исторгли его из земли, которую он обагрил сыновней кровью и где жизнь была бы для него мучительной казнью. Юпитер обратил их к Гесперии, где они основали новое царство в стране Салентинской.

Лишась царя, критяне положили избрать на его место другого, который соблюдал бы свято законы. Вот порядок избрания: созваны из всех ста городов знатнейшие граждане, всему предшествуют жертвы; приглашены из окрестных стран знаменитые мудростью мужи для испытания разума достойных верховной власти, назначены игры, где все соревнователи обязаны показать свои подвиги пред собранием народа. Мы желаем отдать жезл правления в награду тому, кто победит всех прочих умом и крепостью, желаем иметь царя, с отличной телесной силой соединяющего отличные свойства души, добродетель и мудрость. Приглашаются сюда и иноземцы.

Окончив удивительную повесть, Наузикрат говорил нам: идите и вы, странники, в наше собрание! Станьте вместе с другими на поприще соревнования, и тот из вас, кому боги даруют победу, будет царствовать на нашем острове. Мы приняли совет его не по тщеславному желанию быть побе-

дителями, но чтобы увидеть столь чрезвычайное зрелище.

Пришли на просторное ристалище, затененное мрачной дубравой. Посредине была усыпанная песком равнина для ратоборцев. Кругом устроены были места из зеленого дерна обширными уступами. Снизу доверху рядами тьма была зрителей. Мы приняты с уважением: критяне считают гостеприимство священной обязанностью. Предоставлено нам почетное место, предложено участие в играх. Ментор отказался по старости, а Газаил по слабости здоровья.

Мне лета и крепость не позволяли последовать их примеру. Взглянул я, однако, на Ментора, чтобы отгадать его мысли, и, заметив его согласие, принял предложение, снял с себя одеяние и, весь облитый светлым, приятнейшим маслом, стал наряду с прочими соревнователями. Заговорили, что сын Улиссов пришел искать славы победы, многие критяне, бывшие в Итаке во время моего малолетства, узнали меня.

Испытание началось единоборством. Некто, родянин, в летах зрелого мужества, преодолел всех, ему противостоявших. Он был еще во всем цвете силы, руки его были крепкие, полные, при малейшем движении все его жилы играли, сила и гибкость в нем были равные. Считая за бесчестье победить слабого нежного юношу, он взглянул на меня с сожалением и хотел удалиться. Я вышел к нему навстречу. Вмиг мы схватились, друг друга сжали, стояли почти бездыханные, плечом против плеча, ногой против ноги, все жилы у нас вытя-



нулись, переплелись, как змеи, руки, оба мы истощали усилия: кто поколеблет соперника. Он рвался сдвинуть меня с места направо и вдруг неожиданно сбить с ног в противную сторону. Между тем, как он так измерял мою крепость, я повернул его столь быстро, внезапно, что он зашатался, грянулся наземь, повлек и меня за собой. Труд его свергнуть меня был бесполезен: он лежал подо мной недвижимый. Народ воскликнул: слава сыну Улиссову! Я помог встать посрамленному родя ни ну.

Кулачный бой был труднее единоборства. Сын богатого гражданина самосского славился в этом роде сражения. Все уступили ему, я один спорил с ним о победе. С первого шагу он ударил меня в голову, потом в бок с таким остервенением, что кровь из меня ручьем полилась, в глазах потемнело, ноги подо мной подломились, оглушенный, я получал удар за ударом, дыхание во мне прерывалось. Ободрил меня громким голосом Ментор.

– Тебе ли пасть побежденным, сын Улиссов! – сказал он.

Гнев оживил меня новыми силами, я ускользнул от многих ударов и столько же раз от явной смерти. Каждый раз, как соперник мой, вытянув руку, хотел сокрушить меня, но делал промах, я поражал его в этом телодвижении. Он отступал уже с места сражения; вдруг я, как молния, на него грянул, он хотел уклониться и потерял равновесие, я повалил его наземь. Едва он обрушился, я тотчас подал ему руку, но он сам встал, покрытый пылью, и кровью, и стыдом неопи-

санным: не смел, однако же, возобновить битвы.

Немедленно за тем началось ристание на колесницах. Колесницы розданы по жребию, мне досталась худшая всех по огромности колес и по слабости коней. Двинулись с места: пыль полетела перед нами тучей, небо сокрылось. Я пустил всех вперед с первого шагу. Крантор, молодой лакедемонянин, тотчас обогнал прочих сподвижников. Поликлет, критянин, по следам его мчался. Гиппомах, родственник и мнимый преемник Идоменеев, ослабив вожжи, свис на волнистые гривы коней, от пота дымившихся. Колеса под ним от быстроты невероятной, казалось, вовсе не двигались, подобно крыльям орла, когда он парит под небесами. Мои кони между тем воспламеняются, бегут, несутся как стрелы – далеко отстали от меня все соискатели, начав ристание с таким жаром и рвением. Гиппомах, родственник Идоменеев, гнал нещадно коней своих, лучший из них преткнулся, упал и лишил его надежды достигнуть цели желанной.

Поликлет, весь почти свесившись, не мог устоять в колеснице от сильного вдруг потрясения, пал, выронив вожжи из рук, и счастье его, что еще спасся от смерти. Крантор, видя очами, исполненными негодования, что я следовал уже по пятам его, пришел в исступление: то взывал к богам, обещая им богатые жертвы, то ободрял коней словами и криком, – боялся, чтобы я не промчался мимо него вдоль ограды: и подлинно, могли проскакать мимо него мои кони, не столько еще утомленные. Оставалось ему одно средство – заградить

мне дорогу. В этом намерении он колесницей быстро ударил в ограду. И колесо его тут же рассыпалось. Мгновенным поворотом я успел ускользнуть от беды. Я скоро был на краю поприща. Народ вновь воскликнул:

– Слава сыну Улиссову! Боги судили ему царствовать над критянами.

Потом граждане, знаменитые мудростью и заслугами, повели нас в древнюю священную дубраву, удаленную от взора непросвещенных. Там мы предстали старцам, которых Минос поставил судиями народу и блюстителями законов. Одни соребнователи здесь находились, никто другой не был впу-щен.

Старцы открыли книгу законов Миносовых. Я подошел к ним со страхом и благоговением. Старость, внушая почтение к ним, сама чтит их душевные силы. Они по порядку сидели, каждый неподвижно на своем месте, все были покрыты сединами, у некоторых и седин уже не было. Лицо каждого было зеркалом мудрости мирной и кроткой, они не спешили в совещаниях, и все их речи были зрелыми плодами размышления. При различных мнениях каждый излагал свои мысли с таким непоколебимым спокойствием, что казалось, будто они совсем не рознились в образе мыслей. Многолетний опыт и непрерывный труд даровали им быструю прозорливость. Но высочайшее совершенство их разума проис-текало от мира душевного, не возмущаемого уже ни волне-нием страстей, ни превратными желаниями, сродными юно-

сти. Сама мудрость в них воплотилась, и плод постоянной их добродетели состоял в столь глубоком преломлении и укрощении всех страстей, что они безмятежно вкушали чистейшее, достойнейшее человека удовольствие – внимать голосу здравого разума. Я смотрел на них с удивлением, желал, чтобы жизнь моя сократилась, желал вдруг перейти к старости, столь достопочтенной, юность считая несчастьем, вспоминая, в каком вихре страстей она протекает и как далека от просвещенной и мирной добродетели.

Первый из старцев раскрыл законы Миносовы, великий свиток, обыкновенно хранимый в золотом ковчеге с благоуханиями. Все старцы приложились к нему с благоговением.

– После богов, – говорили они, – от которых все благотворные установления, для человека нет ничего священнее законов, руководящих к добродетели, мудрости и счастью. Тот, кому вверены законы для управления, должен первый всегда и во всем покоряться законам. Закон, а не человек должен властвовать.

Так рассуждали старцы. Потом старейший из них предложил три вопроса, которые надлежало решить по образу мыслей Миносовых.

Первый вопрос был следующий:

– Кто свободнее всех?

Одни почитали свободнейшим из смертных государя, царствующего с неограниченной властью и победившего всех неприятелей, другие – богатого, обладающего всегда го-

товыми способами на удовлетворение всякого желания, те – холостого, провождающего жизнь в путешествии без всякой обязанности повиноваться законам той или другой страны, иные – дикого, живущего в лесах звериной ловлей и не знающего ни нужды, ни подчиненности, многие – отпущенного недавно на волю и после уз горестного рабства чувствующего более всех других сладость свободы. Наконец, некоторые утверждали, что свободнее всех умирающий, потому что смерть избавляет его от трудов и болезней и престаёт над ним власть человеческая.

Дошла до меня чреда. Нетрудно мне было отвечать, все, что о свободе я слышал от Ментора, сохранялось в моей памяти. Свободнейший из смертных тот, – говорил я, – кто может быть свободен даже и в рабстве. Человек, в какой бы он ни был стране и доле, совершенно свободен, когда боится богов и ничего не боится, как только богов. Словом, истинно свободен тот, в ком умерли всякое чувство страха и всякое желание и кто покорен только богам и здравому разуму. Старцы посмотрели друг на друга с улыбкой и удивлялись. Я только повторил слова Минособы.

Второй вопрос был:

– Кто несчастнее всех?

Каждый в ответах следовал первой своей мысли. Одни называли несчастнейшим из смертных того, кто лишен богатства, чести, здоровья, другие – того, у кого нет друга, иные – отца, имеющего детей, недостойных его и неблагодарных.

Один мудрец с Лесбоса сказал, что несчастнее всех тот, кто почитает себя несчастным: несчастье не столько от самой беды, сколько от нетерпения, беду увеличивающего.

Сказал он, – и все воскликнули, громкими рукоплесканиями провозгласили его победителем. Старцы обратились ко мне, я отвечал по правилам Менторовым:

– Несчастнее всех государь, усыпленный в мнимом благополучии, между тем как народ стонет под его игом. В ослеплении он сугубо несчастлив: не зная болезни, не может и излечиться, боится даже узнать ее. Истина не доходит до него сквозь толпу ласкателей. Терзаемый страстями, он не знает своих обязанностей, не чувствует утешения быть благодетелем рода человеческого, не знает радости, даруемой чистой добродетелью: он несчастлив и достоин такого жребия. С наступлением каждого дня возрастает его злополучие. Он сам стремится к своей гибели, а небесное правосудие готовит ему вечные казни.

Все единогласно признали, что я победил мудрого лесбосца. Старцы также возвестили, что мнение мое было сходно с Миновым.

Предложен, наконец, третий вопрос:

– Кто предпочтительнее, царь ли воинственный, непобедимый или неопытный в ратном деле, но способный в мире управлять мудро народом?

Многие предпочитали царя непобедимого в брани, говоря: что в таком государе, который может благоразумно цар-

ствовать в мирное время, но не умеет защитить отечества, когда война возгорится? Враги восторжествуют и поработят его подданных.

Другие, напротив того, превозносили царя миролюбиво-го, предваряющего войну прозорливыми попечениями.

Иные рассуждали, что государь-завоеватель вместе с собственной славой возвышает славу народа и дает в руки ему средства быть повелителем прочих народов, между тем, как миролюбивый царь оставляет своих подданных в позорной безвестности. Желали знать мое мнение, я отвечал:

— Царь, способный только войну вести или только управлять в мирную пору, не соединяя в лице своем вождя на случай войны и судии в мирное время, не есть царь совершенный. Но если вы сравниваете царя, искусного только в войне, с мудрым царем, который, сам не зная ратного дела, может в необходимости вести войну посредством военачальников, то я предпочитаю последнего первому. Царь, воспитанный в духе военном, всегда будет искать войны для расширения своих пределов, для славы личной; тем он разорит, наконец, свою область. Какая же польза народу, когда царь его покоряет чуждые царства, а он, между тем, бедствует под его властью? Война продолжительная влечет за собой бесчисленные неурядицы. Сам победитель изнемогает в бурную годину. Вспомните, какими жертвами Греция купила торжество над Троей? Более десяти лет без царей и правления она истощалась. Когда война объемлет все убий-

ственным пламенем, тогда законы молчат, земледелие, художества страждут. Царь, отличный добрыми намерениями, во дни бранной грозы часто против воли смотрит сквозь пальцы на величайшее зло, щадит своеволие и под знаменами своими терпит злодеев. Сколько преступников восприяли бы в мирное время достойные казни, тогда как нужда велит награждать их дерзость в бурю военную? Не было еще примера, чтобы народ не страдал под державой царя-завоевателя от его властолюбия. Ослепленный ложной славой, он почти столько же разоряет свой победоносный народ, сколько и побежденных. Без дарований, нужных в мирное время, он утратит плоды самой счастливой войны: их не пожнут и не вкусят его подданные. Он подобен человеку, который не только в распре с соседом за свое поле, но отнимает насильственно и чужую, смежную землю, сам не умея ни пахать, ни сеять, ни собрать жатвы. Он послан в мир, чтобы расхитить, разрушить, смешать все железным жезлом, а не для того, чтобы мудрым правлением устроить благо народа.

Обратимся к царю миролюбивому. Он не рожден к великим завоеваниям или, лучше сказать, не на то рожден, чтобы потрясать счастье своих подданных, покоряя себе мечом и огнем чужие народы, не вверенные ему справедливостью. Но если он истинно способен к мудрому правлению в мирное время, то имеет и все нужные свойства к ограждению своей страны от неприятелей, и вот как: он справедлив, умерен в требованиях, добрый сосед, ничего не предпринимает, что



могло бы нарушить спокойствие, верен в союзах, любим союзниками, силен общим к нему доверием. Будет у него предприимчивый, строптивый, надменный сосед – все другие цари, страшась властолюбивого нрава и не завидуя мирному соседу, соединятся с добрым царем, чтобы совокупными силами отразить нападение. Правда его, умеренность, твердость в слове делают его судьей всех стран, окружающих его область, и между тем как надменный, ненавидимый всеми сосед не сегодня завтра увидит вокруг себя зарево общего вооружения, он, блюститель, отец царств и царей, наслаждается в тишине вожделеннейшей славой. Такими преимуществами он пользуется во внешних сношениях!

Внутренние выгоды его несравненно существеннее. Я предполагаю, что он, с дарованиями к управлению в мирное время, управляет по самым мудрым законам: изгнаны из страны его роскошь, суетное великолепие, все искусства, которые пища пороку; процветают в ней, напротив того, искусства, полезные к облегчению истинных нужд человеческих, и особенно земледелие. Народ его в изобилии, и при невинной простоте нравов, довольствуясь малым, приобретая удобно трудом скромный избыток, возрастает в числе и в крепости. Обитает, таким образом, в царстве его народ многочисленный, и притом сильный, неутомимый, не расслабленный роскошью, воспитанный в трудах, не привязанный к праздным и сладострастным удовольствиям, умеющий презирать ужасы смерти, готовый скорее лишиться жизни, чем

мирной свободы под державой мудрого царя, которого рукой истинный раз пишет законы. Пусть ополчится алчный завоеватель: может быть, он не найдет его народа отлично искусным в расположении ратного стана, в боевом строе, в действии осадными орудиями, но найдет его непобедимым по многочислию, по мужеству несокрушимому, по терпению в перенесении трудов и скорбей, по твердости в нуждах убожества, по неустрашимости перед врагами, по добродетели, непоколебимой среди самых несчастных превратностей. Наконец, если он не может сам предводительствовать войском, то вверит его искусным полководцам и, мечом их поражая врагов, не ослабит своей власти. Союзники притекут к нему в помощь, подданные его согласятся скорее погибнуть, нежели перейти под иго чужого царя, необузданного и несправедливого. Наконец, боги его поборники. Такие способы он будет иметь даже в величайших опасностях!

Заключаю, что миролюбивый царь, не знающий ратного искусства, есть царь весьма несовершенный: он не может сам исполнить важнейшей обязанности своего звания – отражать и побеждать врагов своей области. Невзирая на это, он несравненно предпочтительнее завоевателя, не имеющего нужных способностей к правлению в мирное время и сродного только к оружию.

Видел я многих, несогласных с моим мнением: большая часть людей, ослепляясь внешним блеском подвигов звучных – побед, завоеваний – предпочитает блеск тому, что про-

сто, тихо и прочно – миру и благоустройству народов. Но все старцы объявили, что я отвечал сходно с образом мыслей Миносowych.

Первый из них сказал:

– Я вижу теперь исполнение прорицалища Аполлонова, известного на всем нашем острове. Минос вопрошал бога: долго ли род его будет царствовать по законам, им установленным? Род твой, – отвечал ему бог, – перестанет царствовать, когда чужеземец придет в Крит утвердить царство законов. Мы боялись, чтобы какой-нибудь иноплеменник с мечом в руке не покорил нашего острова. Но несчастье Идомеево и мудрость сына Улиссова, проникающего истинный смысл законов Миносowych, открывают нам волю прорицалища. Что мы медлим возложить царский венец на того, кого сама судьба нам указывает?

## Книга шестая

*Телемак и Ментор отказываются от престола.*

*Аристомед провозглашается царем Критским.*

*Отъезд из Крита.*

*Буря на море.*

Немедленно старцы выходят из священной дубравы, и главный из них, взяв меня за руку, объявляет народу, волнуемому нетерпеливым желанием знать конец совещания, что я приобрел первое право на царство. Сказал он – и шумный говор поднялся в собрании, загремели радостные клики, берег и горы окрестные огласились восклицанием: да царствует над критянами сын Улиссов, подобный Миносу!

Я пробыл несколько времени зрителем общего порыва, потом поднял руку, испрашивая внимания. Между тем Ментор сказал мне на ухо: неужели ты презришь отечество, забудешь для блеска царского сана и Пенелопу, ожидающую тебя, последнюю надежду, и великого Улисса, который под кровом богов возвратится на родину? Слова его, как стрела, прошли в мое сердце, и смолкло в нем властолюбие.

Глубокая тишина последовала за шумным волнением. Я говорил:

– Знаменитые критяне! Я не достоин принять жезл правления. Преданное вам предсказание подлинно знаменует, что род Минов перестанет царствовать, когда странник

придет на ваш остров и восставит у вас законы древнего вашего мудрого венценосца, но оно не предвозвестило, что тот же странник будет и царствовать. Лестно мне думать, что я тот, кого прорицалище предзнаменовало: я исполнил предсказание, пришел на ваш остров, изъяснил истинный смысл ваших законов, и пусть изъяснение мое послужит к утверждению власти их в лице того, кого вы выберете на царство. А для меня отечество мое, бедная, малая Итака, драгоценнее и ста городов, и всей славы, и всех сокровищ благословенной вашей области.

Не препятствуйте мне идти путем, которым промысл ведет меня. Я принял участие в ваших играх не в той надежде, чтобы царствовать, но чтобы снискать от вас уважение и заслужить сострадание, помощь мне возвратиться в отечество. Мне приятнее повиноваться родителю, утешить мать в ее горести, чем властвовать над всеми в мире народами. Вы видите, критяне, тайну моего сердца: я должен оставить вас, но признательность моя к вам будет вечна. До последнего дыхания Телемак не перестанет любить критян, и слава их всегда будет для него столь же драгоценна, как его собственная.

Сказал я – и вдруг поднялся смутный шум, подобный гулу на море в бурное время, когда волны с ревом крушатся об волны. Одни говорили, не божество ли перед нами в лице человека? Другие, что в иных странах видели и знали меня многие, что надлежало заставить меня принять царство. Я вновь обратился к собранию. Все умолкли, полагая, не со-

глашусь ли я на предложение, сначала отвергнутое. Я продолжал:

– Позвольте мне, критяне, изъяснить вам свои мысли. Вы превосходите мудростью все в мире народы, но мудрость, кажется мне, требует предусмотрительности, вами забытой. Надлежит вам избрать в цари не того, кто судит лучше других о законах, но того, кто исполняет их с постоянной доблестью. Что принадлежит до меня, то я молод, неопытен, могу сделаться игралищем страстей, мне еще свойственнее под руководством учиться начальствовать, а не теперь уже возлагать на себя бремя начальства. Не ищите вы такого, кто победил других в игре ума и в силе телесной, а такого, кто одержал победу над самим собой. Изберите себе мужа, у которого законы были бы начертаны в сердце, которого вся жизнь была бы исполнением закона. Пусть укажут его вам не слова, а деяния.

Старцы, плененные этим отзывом, внимая восторгу и новым рукоплесканиям всего собрания, говорили мне: когда боги отнимают у нас надежду быть под твоею державой, то, по крайней мере, прими ты с нами участие в избрании царя, способного восставить у нас царство законов. Не знаешь ли ты, кто бы мог управлять с мудрой кротостью?

– Я знаю такого великодушного мужа, отвечал я, – того самого, которому обязан всем, что вы признали во мне достойным уважения. Не я говорил вам, его мудрость говорила моими устами, он внушил мне все ответы, вами от меня

слышанные.

Все собрание обратило глаза на Ментора. Я держал его за руку, исчислил все его попечения обо мне с самого младенчества, все опасности, от которых он спасал меня столь многократно, и все несчастья, находившие, как гроза, на меня каждый раз, когда я не следовал его советам.

Простое, небрежное одеяние, смиренная осанка, непрерывное почти молчание, вид его холодный и скромный сначала не привлекали к нему взоров, но здесь, при внимательном наблюдении, все заговорили, что самое лицо его показывало возвышение и силу души, дивились быстрому огню в очах его, власти, величию даже в маловажнейших действиях. Каждое слово его на вопросы усугубляло изумление. Общее мнение уже провозглашало его царем. Но он спокойно отрекся от верховного сана, предпочитая тишину частной жизни грому царского достоинства, говорил, что и лучшие цари несчастны тем, что никогда почти не делают добра, ими желаемого, а часто, ослепленные лестью, делают зло ненавидимое. Если рабство бедственно, – продолжал он, – то и царское звание не менее достойно соболезнования: то же рабство, только под позолотой. Царь зависит от всех, кто ему нужен для исполнения его воли. Счастлив тот, кто не обязан начальствовать! Жертва свободой на пользу общественную принадлежит одному только отечеству, когда власть от него нам вверяется.

– Кого же нам избрать на царство? – спросили Ментора

удивленные критяне.

– Того, – отвечал он, – кто бы знал вас – ему предложите правление вами – и кто страшился бы власти. Желаящий царского сана не ведает всей его тягости: как же он исполнит неизвестную ему обязанность? Он желал бы державы для самого себя, а вам нужен такой царь, который по одной любви к вам решился бы носить это иго.

Изумлялись, не постигая, как бедные странники могли отвергать царский венец, предмет алчных исканий. Любопытствовали знать, с кем мы прибыли. Наузикрат, приведший нас на ристалище, где были игры, указал на Газаила. И общее удивление возросло до высочайшей степени, когда открылось, что Ментор был раб Газаилов, что Газаил, пленясь мудростью и добродетелью раба, сделал его своим наперсником и драгоценнейшим другом, что раб, отпущенный на волю, отринул державу, что, наконец, Газаил пришел из Дамаска в Крит для того только, чтобы узнать мудрые законы Миносовы, так его сердце горело любовью к просвещению!

Старцы говорили Газаилу:

– Мы не смеем предложить тебе царского венца, предугадывая твои мысли, без сомнения, согласные с мыслями Ментора. В глазах твоих, вероятно, так же до того презрителен род человеческий, что ты не захочешь возложить на себя бремени народоправления, и ты так беспристрастен к богатствам и славе царского сана, что не пожелаешь купить блеска ценой скорбей, неразлучных с верховной властью.



– Не думайте, знаменитые критяне, – отвечал Газаил, – что я презираю людей. Нет! Я знаю все величие подвига утверждения их в добродетели, устройства их благоденствия. Но такой подвиг исполнен трудов и опасностей. Блеск, его окружающий, – мерцание ложное, и может ослепить только слабую и тщеславную душу. Жизнь кратковременна; высокое звание не предел, а пища страстей. Я пришел сюда из дальней страны не для того, чтобы искать неверного блага, но чтобы научиться забыть превратное счастье. Будьте благополучны! Мое все желание – возвратиться в мирное и тихое уединение, где мудрость будет питать мое сердце, а надежда лучшей жизни по смерти утешит меня в труде и болезни преклонного века. Если бы еще я мог чего желать, то желал бы не царского венца, а неразлучного пребывания со своими спутниками.

Наконец, критяне, обратясь к Ментору, единогласно воскликнули:

– Скажи нам, о ты, превосходящий всех смертных величием духа и мудростью! Кому нам верить державу? Не отпустим тебя, пока не наставишь нас советом в избрании.

Ментор отвечал:

– Находясь в толпе народа, я заметил зрителя, стоявшего с непоколебимым спокойствием, старца, еще крепкого в силах. На вопрос о его имени он назван мне Аристодемом.

От многих он слышал приветствия, что сыновья его оба были в числе сподвижников. Приветствия не веселили его.

– Одному сыну, – говорил он, – я не желаю опасностей царского сана, другого, по любви к отечеству, не могу согласиться видеть на престоле.

Я заключил из того, что отец, любя одного доброго сына любовью благоразумной, не щадит пороков другого. Любопытство заставило меня узнать подробнее жизнь его. Один из ваших сограждан рассказывал мне, что Аристодем служил долго отечеству с мечом в руке и сошел с ратного поля, покрытый ранами, но наконец искренняя добродетель его, враг всякой лести, стала в тягость Идоменею, оттого он не был с ним и в Троянском походе. Человек, который мог давать ему добрые и мудрые советы, но которого советам он не имел твердости следовать, был ему страшен. Он даже завидовал славе, ждавшей его с новыми лаврами, забыл все заслуги его, покинул его здесь в нищете и презрении от малодушных невежд, измеряющих все по богатству. Но довольный и в скудости, он живет беззаботно в отдаленном месте здешнего острова, возделывая свое поле собственными руками. Сын – помощник его в домостроительстве: они нежно друг друга любят, оба счастливы и бережливостью вкуче с трудами приобрели избыток во всем необходимом для жизни в простоте нравов. Мудрый старец делит с больными и бедными соседями все, что остается у него после удовлетворения собственных потребностей, занимает юношей полезными упражнениями; он друг их, учитель, судья распрей в окрестности, отец всем, но в кругу собственного семейства

несчастлив другим своим сыном, презревшим его наставления. После долгого терпения и всех попечений об исправлении его пороков, он, наконец, принужден был изгнать его из-под крова родительского: сын в безрассудном искании почестей мыслит только об удовольствиях.

Критяне! Так рассказывал мне один из ваших сограждан. Вы сами должны знать, все ли то справедливо. Но если Аристоме подлинно таков, каким мне описан, то к чему все ваши игры? К чему это многочисленное собрание чужеземцев? Среди вас человек, знающий всех вас и всем вам известный, трудолюбивый, опытный в ратном деле, знакомый не только с мечом и стрелами, но и с врагом еще ужаснейшим – с бедностью, человек, который отряс руки от даров лести, ценит пользу земледелия, ненавидит роскошь, не ослепляется пристрастной любовью к детям, любит добродетель одного сына, другого разврат осуждает, – одним словом, муж, который и теперь уже отец народа. Вот вам царь, если вы искренно желаете утвердить у себя царство законов мудрого Миноса!

Народ воскликнул: Аристоме подлинно имеет все эти свойства и достоин царствовать в Крите. Старцы велели призвать его. Он найден в толпе между последней чернью, предстал со спокойным лицом. Объявлено ему избрание его на царство. Он отвечал:

– Я не могу согласиться на этот выбор без трех условий: чтобы я мог сложить с себя правление по истечении двух лет, если не успею исправить вас и вы будете сопротивляться за-

конам; чтобы жить мне по-прежнему с сельской простотой; чтобы дети мои не имели никакого достоинства и по смерти моей никакого отличия, а оставались в том звании, какое наравне с прочими гражданами будет следовать им по заслугам.

Сказал он – и тысячи радостных голосов загремели. Главный из старцев, блюстителей законов, возложил на Аристодема царский венец. Принесены жертвы Юпитеру и всем великим богам. Новый царь одарил нас вещами не великолепными, но по самой простоте драгоценными, вручил Газаилу законы Миносовы, писанные собственной рукой законодателя, и собрание преданий о Крите от Сатурна и золотого века, велел наполнить корабль его лучшими критскими произрастениями, неизвестными в Сирии, и оказал ему все другие пособия.

Мы спешили отправиться. Приготовив для нас особый корабль с искусными гребцами и воинами, Аристомед снабдил нас одеждой и всеми нужными припасами. Поднялся между тем ветер, попутный в Итаку, но противный Газаилу. Он принужден был ожидать благоприятной погоды. Мы расстались с ним. Он обнял нас, как друзей, которых уже не надеялся увидеть.

– Боги правосудны, – говорил он, – видят нашу дружбу, основанную на добродетели, и некогда вновь соединят нас. В тех счастливых обителях, где, по сказаниям, праведные вкушают по смерти сладость вечного мира, души наши сойдут-

ся и никогда уже не разлучатся. О! Если бы и прах мой почил с вашим прахом! – так говоря, он проливал слезы ручьями, воздыхания прерывали его голос. Мы так же плакали. Он провожал нас до корабля.

Аристомед говорил нам:

– Вы возложили на меня бремя царского звания, исчислите предстоящие мне ныне опасности. Молите богов, чтобы они ниспослали мне свыше истинную мудрость, и чтобы я был первым в своем царстве не столько властью, сколько победой над самим собой. Я же молю их, чтобы они устроили путь ваш в отечество, посрамили дерзкую гордость ваших врагов, даровали вам радость увидеть в мире Улисса на престоле с любезной его Пенелопой. Телемак, я даю тебе корабль с гребцами и воинами: употреби их против наглых преследователей своей матери. Твоя мудрость, Ментор, ничего в мире не требующая, предваряет всякое мое желание. Помните Аристодема, и если бы некогда жители Итаки возымели нужду в критянах: я друг их до последнего мгновения жизни.

Он обнял нас, мы проливали благодарные слезы.

Между тем ветер, заиграв парусами, обещал нам благополучное плаванье. Ида вдали оседала, представлялась нам уже малым холмом, берег Крита терялся, с другой стороны берег Пелопонесский выходил к нам навстречу. Внезапно черная туча разостлалась по всему небу, море закипело, день переменился в мрачную ночь; смерть нам предстала. О Неп-

тун! Ты грозным трезубцем возмутил воды в своей области. Венера, пылая мщением за презрение, оказанное нами ей в Цитере даже в храме ее, обратилась к богу морей. Сама печаль приносила ему устами ее горестные жалобы, прекрасные очи ее заливались слезами – так, по крайней мере, описывал мне это Ментор, проникающий божественные тайны.

– Потерпишь ли ты безнаказанно, о бог морей, поругание моей власти от этих преступников? – говорила она. – Боги чувствуют власть мою, а дерзкие смертные осмелились восхулить все, совершаемое на любимом моем острове. Надменные мнимо непобедимой мудростью, они считают любовь за безумие. Неужели ты забыл, что я родилась в твоём царстве? И ты медлишь низринуть в свои бездны двух ненавистных мне отступников?

Сказала – и тотчас Нептун поднял волны до облаков. Венера рассмеялась, обрекая нас на неизбежную гибель. Кормчий в смятении, в страхе не мог уже противоборствовать буре, мы мчались прямо на камни. От сильного порыва ветра вдруг у нас мачта переломилась. Вслед за тем слышим удары о камни, треск на дне корабля, вода со всех сторон хлынула, корабль тонет, свист ветра заглушается плачевными воплями. Я падаю в объятия к Ментору, говорю ему: предстоит нам смерть неминуемая, встретим ее мужественно. Боги для этого рокового часа избавляли нас от всех опасностей. Умрем, любезный Ментор! Погибнем! Смерть с тобой мне утешение. Бесполезно спорить с бурей о жизни.

– Истинное мужество, – отвечал мне Ментор, – всегда еще находит способ к спасению. Встретить смерть с непоколебимым спокойствием – мало, надобно стараться отразить ее с бодрым духом, со всеми усилиями. Возьмем бревно с корабля, и между тем, как толпа малодушных, сложа руки, в трепете думает сохранить жизнь одним воплем, испытаем все средства спастись.

И немедленно он берет в руки секиру, отсекает переломленную мачту, которая, свесясь, положила корабль уже набок, сдвигает совсем ее в воду, бросается на нее в разъяренные волны, зовет и меня за собой. Как великое дерево, обуреваемое со всех сторон вихрями, стоит неподвижно на корне, и вихри колышут одни только гибкие ветви, так Ментор не только бесстрашно и мужественно, но даже спокойно и кротко повелевал, казалось, морю и ветрам. Я бросился вслед за ним. И кто бы за ним не последовал по его животворному голосу?

Переносились мы на мачте с одной влажной горы на другую. Она служила нам большим пособием, можно было сидеть на ней: в борьбе с валами без отдыха скоро истощились бы все наши силы. Но бревно часто оборачивалось, мы сходили в кипящую бездну, глотали соленую пену, вода лилась у нас из носа, рта и ушей. Надлежало бороться с морем, чтобы сесть снова на мачту. Волны часто катились на нас, как бегущие горы: мы старались тогда всеми силами держаться на мачте, опасаясь, чтобы при сильном потрясении не лишиться-

ся и последней надежды.

Посреди всех ужасов Ментор, так же спокойный, как теперь здесь на мягкой траве, говорил мне:

– Думаешь ли ты, Телемак, что жизнь твоя предана в жертву волнам и вихрям? Думаешь ли ты, что они могут погубить тебя без мановения свыше? Нет! Боги всем управляют, и должно бояться богов, а не моря. Сойдешь ли ты в бездну недосыгаемую – рука Юпитера сильна исхитить тебя из бездны. Вознесешь ли ты выше Олимпа, будешь звезды считать под ногами – Юпитер может низринуть тебя в бездну или в огонь мрачного Тартара.

Я слушал его с удивлением и чувствовал в сердце отраду, но не имел еще столько присутствия духа, чтоб отвечать ему. Ни он не видел меня, ни я не мог его видеть. Так провели мы всю ночь, полумертвые от стужи, не зная, куда занесены стремлением вихрей. Наконец буря и воды улеглись, море еще стонало, но уже было подобно человеку, утомленному порывами гнева и являющему слабый только остаток внутренней смуты. С ропотом расстилались усталые волны, как на поле борозды, проведенные плугом.

Между тем Аврора, отворив солнцу врата неба, возвестила нам день ясный и тихий. Восток загорелся, звезды, закрытые до той поры тучей, показались, но тотчас и побежали от Феба. Вдали мы завидели землю и приближались к ней по направлению ветра. Луч надежды блеснул в моем сердце. Но мы не усматривали никого из своих спутников: все



они, вероятно, упав духом, пошли с кораблем на дно моря. Недалеко уже от берега волны бросали нас прямо на острые камни, где также неизбежная смерть ожидала нас: мы старались оградиться от них концом своей мачты, и Ментор действовал ею, как искусный кормчий действует лучшим рулем. Обогнули мы таким образом страшные груды, достигли безопасного, ровного места и плыли уже спокойно до самого берега. Там ты увидела нас, великая богиня! Там ты удостоила нас гостеприимства.

## Книга седьмая

*Калипсо влюблена в Телемака.*

*Телемах влюблен в нимфу ее, Эвхарису.*

*Ревность Калипсо. Борьба в сердце Телемака.*

*Страсть превозмогает в нем здравый рассудок.*

*Ментор избавляет его от рабства любви.*

Во все продолжение повести нимфы, неподвижные от изумления, не сводили глаз с Телемака: тут взоры их встретились. Одна другую они с удивлением спрашивали:

– Кто эти любимцы богов? Когда и с кем были столь чудные происшествия? Сын Улиссов превосходит уже и ныне отца своего умом, витийством и мужеством. Какой вид! Какая красота! Какая скромность, приятность, и какое при том благородство, величие духа! Если бы мы не знали, что он сын смертного, приняли бы его за Вакха, за Меркурия, за самого Аполлона. Но кто этот Ментор, старец, с первого взгляда обыкновенный, низкого, неизвестного рода? Посмотришь на него ближе – видно в нем сквозь покров простоты что-то выше природы человеческой.

Калипсо слушала их речи с непреодолимым смущением в сердце: глаза ее непрестанно блуждали, перебегая от Ментора к Телемаку. То убеждала она Телемака продолжить рассказ о его странствовании, то, сама прерывая свои вопросы, вдруг умолкала. Наконец встала, пошла с ним в дубраву и

там, под тенью миртов, истощала все средства узнать от него, не божество ли Ментор во образе человека? Он не мог рассеять ее сомнения. Минерва, спутница сына Улисса в лице Ментора, по юности его не вверяла ему своей тайны, не надеялась еще на скромность его до такой степени, чтобы открыть ему свои намерения, и желала притом испытать его в величайших опасностях. Если бы он был уверен в сопричастии Минервы, то, возлегши на столь крепкую руку, в ничто вменял бы ужаснейшие бедствия. Таким образом, он видел в Менторе друга, а не Минерву, и все коварство Калипсо осталось тщетным: не достигла она своей цели.

Между тем нимфы, окружив Ментора, задавали ему вопрос за вопросом. Одна любопытствовала знать все подробности его путешествия по Эфиопии, другая хотела слышать описание Дамаска, иные спрашивали, знал ли он Улисса до осады Трои. Он отвечал им с кротостью на все вопросы; ответы его при всей простоте были пленительны.

Ненадолго Калипсо оставила их в беседе, возвратилась, и между тем как нимфы, собирая цветы, старались песнями развеселить Телемака, она, устранившись с Ментором, хитрым разговором хотела вовлечь его в сети. Волшебные чары сна не смыкают утомленных очей, и изнуренных от труда членов не усыпляют с такой сладостью, с какой прелестные слова Калипсо лились в его сердце. Но она чувствовала силу, которая, играя коварством ее лести, отражала все ее стрелы. Подобно скале недоступной, одетой мрачной мглой и над

свирепством вихрей смеющейся, Ментор, непоколебимый в мудрых предначинаниях, со спокойной твердостью слушал ее убеждения. Иногда она, преследуя его вопросами, надеялась уже похитить истину из его сердца, но в то самое мгновение, как она думала быть уже у цели, надежда ее исчезала, все из рук ее вдруг вырывалось. Кратким ответом Ментор погружал ее в прежнее недоумение.

Так проходили печальные дни ее. То прельщала она Телемака, то изыскивала способы охладить в нем привязанность к непреклонному Ментору, то научала прелестнейших из своих нимф зажечь огонь любви к сердцу юного гостя – намерение, в котором божество могущественнейшее подало ей руку помощи.

Венера, сгорая мстью за презрение, которое Ментор и Телемак изъявили к служению ей на Кипре, не могла видеть без сокрушения, что дерзкие смертные восторжествовали над морем и вихрями в бурю, Нептуном воздвигнутую, и принесла Юпитеру горестную жалобу. Отец богов не хотел открыть ей, что Минерва в образе Ментора спасла сына Улисса, но, возрев на нее с улыбкой, предал мсть ей на волю.

Она сходит с Олимпа, забывает все фимиамы на своих жертвенниках в Пафосе, в Цитере, в Идалии, летит в колеснице, везомой верными ей голубями, зовет к себе сына и с новыми в лице прелестями от горести так говорит ему:

– Видишь ли ты, сын мой, этих смертных, твоей и моей

власти дерзких презрителей? Кто наконец будет нам поклоняться? Иди! Пронзи стрелами бесчувственные сердца отступников. Сойди со мной на остров к Калипсо: я скажу ей свою волю.

Рекла и, рассекая воздух в златозарном облаке, быстро, как молния, явилась Калипсо, которая тогда, одинокая, на берегу тихого источника вдали от пещеры оплакивала свою долю.

– Несчастливая богиня, – говорила она Калипсо, – неблагодарный Улисс презрел тебя. Сын, достойный отца по жестокости, готовит тебе такую же участь. Но любовь отмстит за тебя. Я оставлю ее под твоим кровом, она будет с твоими нимфами, как некогда Вакх был между нимфами в Наксосе. Телемак увидит в ней не бога, а неизвестного смертного младенца, и прежде, чем вздумает остерегаться, испытает уже всю силу стрел ее.

Сказала – и вознеслась от земли в златозарном облаке. Небесное благоухание разлилось по всем дубравам на острове.

Любовь осталась на руках у Калипсо – и тотчас она, хотя и бессмертная, почувствовала пламя, в груди ее уже переливавшееся. Истлевая в тайном томлении, она немедленно отдала ее бывшей тогда при ней нимфе Эвхарисе. О! Сколько раз она после о том сокрушалась! Ничто не могло быть с первого взгляда невиннее, скромнее, любезнее, незлобивее, прелестнее этого младенца.

По забавному, льстивому, всегда веселому виду его чего иного должно было ожидать от него, как не удовольствия? Но тот, кто предавался его ласкам, тогда же пил яд смертоносный. Младенец злой и коварный прикрывал цветами нежности змеиное жало, и смех его был изливанием радости о горестных страданиях, им причиненных или еще уготовляемых.

Несмелой приближаться к Ментору, суровый вид его вселил в него ужас, он предугадывал, что таинственный странник не подвержен уязвлению и отразит все его стрелы. Но нимфы скоро все запыхали огнем лукавого младенца и только искусно таили еще в глубине сердец тлетворные раны.

Телемак, видя игру его с нимфами, обвороченный, пленился его приятностью и красотой: обнимает, берет его на руки, лелеет на коленях, – и тут же мятется, не постигая нового в себе волнения. Чем более хочет играть с ним в простоте сердца, тем более томится и тает.

– Посмотри на этих нимф, – говорил он своему другу. – Как они отличны от кипрянок, затмевающих всю красоту свою наглым бесстыдством! Эти бессмертные девы прекрасны скромностью, простотой, очаровательной невинностью, – так изъясняя свои чувства, он рдел в лице, не зная причины. Сердце его хотело излиться, слова начатые в устах замирали. Речи его были сбивчивы, отрывисты, часто без смысла.

– О Телемак! – отвечал ему Ментор. – Все опасности, которые окружали тебя на Кипре, ничто в сравнении с те-

ми, о которых ты здесь и не мыслишь. Грубый порок все-  
ляет ужас, бесстыдный разврат порождает негодование, но  
скромная красота гораздо опаснее. Любя ее, по-видимому,  
любишь в ней добродетель, а между тем незаметно по вол-  
шебным розам идешь в плен к пагубной страсти, тогда толь-  
ко обыкновенно усматриваемой, когда уже поздно тушить  
огонь. Избегай, любезный Телемак, здешних нимф, лице-  
мерной скромностью желающих удобнее заманить тебя в се-  
ти, избегай опасностей своего возраста, беги от того хитрого  
младенца, которого ты еще не знаешь. То любовь, которую  
мать ее Венера привела сюда как орудие мести за презрение,  
оказанное тобой в Цитере ее служению. От стрел ее страж-  
дет сердце богини Калипсо, сторает страстной к тебе любо-  
вью. Она зажгла пламя во всех ее нимфах. Ты сам пылаешь,  
несчастный юноша, без всякого почти о том подозрения!

Телемак неоднократно прерывал Ментора.

– Зачем не остаться нам здесь, – говорил он ему. – Улис-  
са не стало: давно поглотила его пучина морская. Пенелопа,  
ожидая столь долго и тщетно его и меня, без сомнения, не  
могла сопротивляться дерзким преследователям. Икар, отец  
ее, принудил ее отдать руку другому. Для того ли мне возвра-  
титься в Итаку, чтобы увидеть ее в новых узах, против отца  
моего клятвопреступницей? Итака забыла Улисса. Мы воз-  
вратимся на верную гибель. Враги наши сторожат все входы  
в пристань. Смерть неизбежная там ожидает нас.

– Вот действие слепой страсти! – отвечал Ментор. – Че-

ловек с тонкой хитростью изыскивает все благоприятные ей обороты и избегает, боится того, что осуждает ее. Ничто не может сравниться с искусством в обмане самого себя и в подавлении всех угрызений. Забыл ли ты все то, что боги доселе сотворили, устраивая путь твой в отечество? Каким образом ты освобожден из Сицилии? Дни слез и бедствий в Египте не переменились ли для тебя неожиданно во дни веселые? Какая неведомая рука исхитила тебя в Тире от смерти? После столь многих чудес еще ли ты не видишь предела, судьбой тебе предназначенного? Но что я говорю? Ты недостойн этого жребия. Я иду, сыщу средство выйти из плена, а ты, малодушный сын великого и мудрого мужа, влачи здесь посреди женщин любострастную жизнь, которой награда срам и бесчестье. Иди против воли богов, исполни то, что отец твой отвергнул как неизгладимое пятно бесславия.

Слово презрения было стрелой для Телемака. Умиленный, он воссетовал о своем друге. Стыд умножал его горечь. Он равно боялся и разлуки с мудрым старцем, благотворным своим руководителем, и его гнева. Но новая, дотоле ему неизвестная страсть обратила его в иного человека. Со слезами он говорил Ментору:

– Неужели ты ни во что вменяешь бессмертие, богиней мне предлагаемое?

– Я ни во что вменяю все то, что противно добродетели и воле богов, – отвечал ему Ментор. – Добродетель зовет тебя в отечество к Улиссу и к Пенелопе. Добродетель возбраня-



ет тебе поработаться безрассудной страсти. Боги, избавившие тебя от столь многих бедствий, готовые увенчать тебя славой, как второго Улисса, велят тебе оставить этот остров. Удержать тебя может здесь одна любовь, позорная мучительница. К чему тебе бессмертие без свободы, без доблести, без славы? Такая жизнь, нескончаемая, будет тем еще горестнее.

Телемак отвечал воздыханиями. То желал он, чтобы Ментор насильственно исторгнул его из сети, то с нетерпением ожидал дня разлуки с строгим другом, чтобы не видеть в нем судьи своей слабости. Превратные мысли, преследуя одна другую, раздирали его сердце. Сердце его было как море, волнуемое со всех сторон бурными вихрями. Часто, лежа недвижимо на берегу моря или в глуши мрачной дубравы, он с воплями проливал горькие слезы, рыкал, как лев уязвленный, тлел телом и духом, впалые очи его горели, как пламенники, по бледному, обезображенному, истерзанному лицу нельзя уже было узнать в нем Телемака. Исчезала вся его веселость, вся красота и благородная гордость. Он таял, подобно нежному цветку, который в утренний час, развиваясь, возносит природе жертву благоухания, но к вечеру мало-помалу лишается блеска, меркнет, вянет, сохнет и клонит долу прелестную голову, бессильный держаться на стебле. Так сын Улиссов был перед дверью смерти.

Ментор, видя, что Телемак не мог противоборствовать пламенной страсти, к спасению его от гибели предпринял с мудрой хитростью иное намерение. Он знал, что Калипсо

сторала любовью к Телемаку, а Телемак не менее того любил юную нимфу Эвхарису. Жестокая любовь, исполняя меру страдания смертных, сеет злое семя раздора: тому ты не мил, кого любишь. Ментор положил возбудить ревность в Калипсо. Эвхариса собиралась на охоту с Телемаком.

– Я заметил в Телемаке, – сказал он Калипсо, – новое для меня пристрастие к ловле: удовольствие, которое отводит его от всех других увеселений. Любимые места его – дикие горы, мрачные дебри. Ты ли, богиня, внушаешь ему такую непобедимую склонность?

Досада закипела в сердце Калипсо. Она не могла уже скрыть негодования и говорила:

– Тот, кто на Кипре отвергнул все утехи, все наслаждения, здесь не может воспротивиться ничтожной красоте моей нимфы. Как он смеет превозноситься чудесными деяниями, малодушный, слабым сердцем истаявший от сладострастия, рожденный для неизвестной жизни между женщинами?

Ментор, видя с радостью, до какой степени ревность терзала Калипсо, молчал, опасаясь навлечь на себя подозрение, изъявлял только в лице печаль и уныние. Богиня вверяла ему все свои скорби, приносила жалобу за жалобой. Ловля, о которой предварил ее Ментор, довершила ее исступление. Она предугадала, что Телемак искал только случая удалиться от взора прочих нимф и быть с Эвхарисой в полной свободе. Назначалась вслед за тем другая ловля. Тут она ожидала от Телемака того же удара и, чтобы расстроить его виды, веле-

ла сказать, что сама пойдет с ними на ловлю. Потом вдруг в непреодолимом движении гнева говорила:

– С такой-то покорностью, дерзкий юноша, ты пришел на мой остров, под кров мой, от мести богов и от гибели, правосудно предопределенной тебе Нептуном! С тем ты пришел на мой остров, недоступный всем земнородным, чтобы презреть мою власть и любовь, и все мое к тебе благоволение? О боги Олимпа и Стикса! Услышьте несчастную богиню! Да снидет гром ваш на вероломного, нечестивого, неблагодарного! Какты превосходишь и отца своего в несправедливости и жестокосердии, то постигнут тебя казни, всех его страданий мучительнейшие, нескончаемые. Нет! Нет! Не видеть тебе родины, того бедного, ничтожного острова, который ты не постыдился предпочесть даже бессмертию, или лучше погибни в пучине, завидев издали родную землю, и труп твой, игралище волн, изверженный на песок моего острова, пусть истлеет, непогребенный! О! Если бы мои глаза увидели, как будут пожирать твой труп хищные птицы! Увидит его твоя любимая нимфа, увидит: сердце ее растерзается, а я блаженство найду себе в ее отчаянии.

Так вопияла Калипсо. Очи ее, налившись кровью, сверкали, бросая во все стороны дикие и свирепые взгляды, на щекахтрепетавших выходили то черные, то багровые пятна, в лице цвет цветом сменялся, часто все оно покрывалось смертною бледностью. Не лились уже, как прежде, ручьем ее слезы: ярость и отчаяние иссушили весь их источник; изред-

ка только вытекали из глаз ее вынужденные капли. Дрожащий голос ее был глухой стон, прерываемый и исчезающий.

Ментор наблюдал все ее движения, ни слова уже не говоря Телемаку, поступал с ним как с человеком, в безнадежной болезни оставляемым на волю судьбы, по временам только обращал на него взор с соболезнованием.

Сын Улиссов чувствовал всю меру своего преступления, видел, до какой степени был недостоин любви мудрого друга, не смел поднять глаз, осуждаемый самым его молчанием, трепетал его взгляда. Неоднократно хотел он пасть к нему на выю и излить перед ним все раскаяние в своем заблуждении, но, с одной стороны, ложный стыд, с другой – страх, не ступить бы лишнего шага, не быть бы вдруг вне опасности, каждый раз его удерживали. Он находил еще сладость в опасности и не мог твердо решиться одержать победу над безрассудной страстью.

Боги и богини Олимпа с высоты светлой обители в глубоком безмолвии приникали на остров Калипсо, желая видеть, кто восторжествует, Минерва или любовь. Любовь, играя с нимфами, обняла все на острове пламенем. Минерва во образе Ментора вооружила против любви ревность, неразлучную спутницу любви. Юпитер положил быть зрителем брани, не приемля в ней участия.

Между тем Эвхариса изыскивала хитрость за хитростью, чтобы удержать Телемака в своих узах. Мысль о разлуке с ним приводила ее в трепет. Она уже готова была опять идти с

ним на охоту, одетая подобно Диане. Венера и Купидон осыпали ее новыми прелестями, так, что она в тот день затмевала всю красоту богини Калипсо. Калипсо, завидев ее издали, посмотрела на себя в чистое зеркало прозрачайшего источника – и устыдилась сама пред лицом своим. Тогда она скрылась в пещеру и там, одинокая, сама себе говорила:

– Ник чему не служит мне намерение мое быть на охоте и присутствием своим расстроить замыслы любовников! Быть ли мне с ними на ловле? Идти ли мне на торжество моей нимфы, чтобы жертвой своей красоты возвеличить еще ее прелести? Неужели судьбе угодно, чтобы Телемак, взглянув на меня, запылал новым огнем к своей нимфе? Несчастливая! Что я сделала? Нет! Не пойду я, но и им не быть на охоте. Сыщу я средство разрушить их замысел, прибегну к Ментору, умолю его взять от меня неблагодарного: пусть возвращается в Итаку. Но что я говорю? Что тогда будет со мной, покинутой? Где я? На что мне решиться, безжалостная Венера! Венера! Ты обольстила меня, принесла мне коварный дар на мою гибель. Пагубный младенец! Убийственная любовь! Я открыла тебе сердце в надежде, что буду счастлива с Телемаком, а ты наполнила мое сердце лютыми скорбями, отчаянием. Нимфы мои против меня. Бессмертия моего все приобретение в том, что страдание мое должно быть вечно. О! Зачем не во власти моей прервать бытие, а с ним и все мои горести! Телемак! Ты должен умереть, когда я обречена на бессмертие. Воздам я тебе за твою неблагодарность. Нимфа

твоя будет свидетельницей, как ты падешь пред глазами ее, пораженный мстительной моей рукой. Но я в заблуждении! Несчастливая Калипсо! Чего ты хочешь? Погубишь невинного, которого ты же низринула в бездну мучения. Не сама ли я зажгла роковое пламя в сердце чистом и целомудренном? Какая невинность! Какая добродетель! Какое омерзение к пороку! Какая твердость против позорных удовольствий! Надлежало ли отравлять такое сердце? Он оставил бы меня? Так! Но неужели он никогда не уйдет от меня? Неужели мне суждено вечно быть зрительницей, как он будет жить для соперницы моей, меня презирая? Нет! Я страдаю достойно и по заслугам. Беги, Телемак! Беги от меня за моря неизмеримые, оставь Калипсо без всякой отрады, без силы жизнь сносить и без надежды найти спасение в смерти! Оставь ее с надменной своей Эвхарисой неутешную, посрамленную, отчаявшуюся.

Так она уединенно вверяла пещере свое горе. Вдруг, как вихрем несомая, вышла.

– Где ты, Ментор? – говорила. – Так ли ты учишь Телемака противоборствовать пороку, в сетях которого он изнемогает? Ты спишь, между тем как любовь, недремлющая, острит на вас стрелы. Мера терпения, с каким я смотрела на малодушную твою беспечность, исполнилась. Вечно ли ты будешь глядеть спокойно на сына уписсова, когда он, опозорив отца, забывает высокое свое предназначение? Тебе или мне он вверен родителями? Я ищу средств уврачевать его сердце,

а ты – неужели пребудешь праздным, бесчувственным зрителем? Там, вдали, на краю дебрей, есть древние тополя. Там Улисс построил себе корабль, на котором отплыл от здешнего берега. Там же в глубокой пещере хранятся все для строения нужные орудия.

Уста ее доканчивали еще угрозу, а в сердце закралось уже раскаяние. Ментор считал мгновения, спешил в указанное место, отыскал орудия, срубил тополя, и в тот же день корабль был уже готов выступить в море. Могущество и разум Минервы не требуют много времени на совершение величайших творений.

Калипсо терзалась: с одной стороны, хотела видеть успех труда Менторова, с другой – не могла, не смела отдалиться от ловли и предоставить любовникам полную свободу. Ревность ее не переставала преследовать их жадными взорами и вдохнула ей мысль обратить ловлю к тому месту, где Ментор строил корабль. Издалека еще достигли ее ушей звуки секиры и молота. Она вслушивалась, от каждого удара сердце ее содрогалось. Но в то же время она боялась, не ускользнули бы от ее глаз мановение или взгляд Телемака на юную нимфу.

Между тем Эвхариса язвительным голосом сказала Телемаку:

– Не опасаясь ли ты упрека от Ментора за то, что без него с нами на ловле? Как ты мне жалок со своим неумолимым наставником! Никогда и ничем его угрюмость не про-

ясняется. Лицемерный враг удовольствий, он не может терпеть, чтобы и ты принимал в них участие, самый невинный шаг твой считает за преступление. Ты мог быть под его властью, пока сам не имел еще силы твердо ходить. Но после столь многих опытов разума пора тебе выйти из детства.

Хитрые слова, уязвив его сердце, возбудили в нем всю досаду на Ментора. Он желал свергнуть с себя иго, страшился встретить грозного друга и ни слова не сказал в ответ Эвхарисе, столь сильно было его волнение!

Напоследок, по окончании ловли и непрерывного с той и другой стороны принуждения, под вечер они проходили по чаще мимо того места, где Ментор совершал дело рук своих. Калипсо завидела корабль, совсем уже сооруженный, и мгновенно глаза ее покрылись черной мглой, подобной смертному мраку, ноги подломились, холодный пот облил все ее тело. Она невольно склонилась к нимфам: Эвхариса подала ей руку, но та оттолкнула ее со страшным на нее взглядом.

Телемак, видя также корабль, но Ментора не усматривая, – окончив работу, он удалился, – спросил богиню, кому он принадлежит и для кого приготовлен. Тотчас она не могла отвечать, потом сказала: я велела построить его для Ментора. Ты избавишься от строгого друга, который полагает преграду твоему счастью, от зависти не желает тебе бессмертия.

Телемак вскрикнул:

– Ментор покинет меня! Погиб я! О! Эвхариса! Если Ментор меня оставит, ты одна тогда будешь все для меня!



Необдуманная речь вылетела из уст его в исступлении страсти, и он тогда же почувствовал несообразность, но не мог объять всего ее смысла. Все молчали, как будто сраженные неожиданным ударом. Эвхариса, сгорая от стыда, потушив глаза в землю, одна вдали остановилась, оцепенела, не смела ступить шагу и показаться. Но стыд на лице, а в сердце ее была радость. Телемак не понимал себя, сам не верил своей нескромности. Она представлялась ему сновидением, но сновидением, которое оставляло по себе в нем терзание и посрамление.

Не столько львица пылает яростью, лишенная скимнов<sup>9</sup>, сколько Калипсо пылала гневом и ревностью. Долго она скиталась по лесу, по непроходимым местам, наконец достигла пещеры, встретила Ментора и говорила:

– Идите прочь из моей области, пришельцы, разрушители мирной моей жизни! Прочь с глаз моих, несмышленный юноша! А ты, безрассудный старик! Ты испытываешь на себе весь гнев оскорбленной богини, если тотчас не уведешь его из моей области. Не хочу его видеть и не потерплю ни слова, ни взгляда на него ни от одной своей нимфы, клянусь водами Стикса, клятвой, которой и боги трепещут. Но знай, Телемак! Не здесь еще конец твоих горестей. Неблагодарный! Пойдешь от меня, как жертва, на новые бедствия. Есть тот, кто отмстит за меня. Пожалеешь о Калипсо, но уже поздно. Нептун, раздраженный против отца твоего за оскорбление

---

<sup>9</sup> Львят (*греч.*). – Прим. изд.

его в Сицилии, умоляемый Венерой, поруганной тобой на Кипре, готовит тебе новые бури. Увидишь отца, еще живого, но не узнаешь, и прежде чем наконец найдешь его в Итаке, будешь долго игратищем лютого рока. Иди! Заклинаю вас, – отместите за меня, силы небесные! Призовешь ты, выброшенный на голый утес посреди моря и пораженный Юпитером, призовешь ты с мольбой тщетной имя Калипсо! Утешенная твоим страданием, она тогда разыграет радостью.

Умолкла – и дух ее, обуреваемый, тогда же готов был оставить в забвении все заклинания. Тогда же любовь возвратила в ее сердце желание удержать Телемака. Пусть проходили бы дни его в мире, говорила она сама себе, пусть он остался бы на моем острове. Может быть, со временем он оценил бы все мои для него жертвы. Эвхариса не я, – не может даровать ему бессмертия. Слепленная Калипсо! Ты погубила сама себя роковой клятвой, должна исполнить зловещий обет, и воды Стикса, залог твоей клятвы, отнимают у тебя всю надежду. Никто не слышал ее раскаяния, но на лице ее фурии были написаны, и весь тлетворный яд мрачного Коцита выходил с дыханием из ее сердца.

Взволновалась от ужаса душа Телемака, и не скрылось то от взора Калипсо: ревнивая любовь чего не разгадает? Исступление Калипсо оттого еще увеличилось. Как вакханка, которой воплям состонет воздух, состонут высокие горы фракийские, она с копьем в руке побежала по дебри, звала к себе нимф, грозила смертью непокорным. Устрашенные

угрозами, они все к ней стекаются, идет вслед за другими и Эвхариса с заплаканными глазами, но не смеет уже ни слова сказать Телемаку, а только украдкой издали обращает к нему страстные взгляды. Богиня, увидев ее возле себя, заскрежетала: покорность соперницы не только не смягчала ее сердца, но она закипела еще новым гневом, видя в ней от печали новые прелести.

Телемак, оставшись один с Ментором, бросается к ногам его, не смея ни прижать его к сердцу, ни взглянуть на него: слезы из глаз его льются ручьями, он начинает говорить – голос в устах замирает, мысли слов не находят, не знает, на что решиться, не знает, что делает, ни чего хочет. Наконец говорит:

– О! Ментор! Истинный отец мой! Избавь меня от столь мучительных страданий. Не могу я ни жить без тебя, ни расстаться с здешним местом. Избавь меня от столь мучительных страданий – от самого меня. Смерть будет мне благодеянием.

Ментор, обняв его, утешает, ободряет, учит сносить самого себя, не раболепствуя страсти.

– Сын мудрого Улисса! – говорит ему. – Ты, которого боги всегда любили, любят и ныне! Страдания твои – действие той же их благости. Кто не испытал своих слабостей и бурной силы страстей, тот далек еще от истинной мудрости: не знает себя и не умеет быть на страже у сердца. Боги под кровом своим привели тебя к бездне, хотели показать тебе всю

глубину ее с самого края. Ты видишь то, чего бы никогда не постигнул, опытом не наученный. Прошли бы тщетно мимо ушей твоих все сказания о вероломной любви, льстящей на пагубу и под тенью незлобия скрывающей убийственное жало. Волшебный младенец явился, окруженный всеми своими спутниками, – играми, смехом, забавами. Ты увидел его, он восхитил твое сердце, и ты рад был отдать ему сердце, ты старался таить сам от себя свою рану, старался обманывать меня, обманул сам себя, сходил безбоязненно в пропасть. Вот плод твоей пылкости! Просишь смерти – и подлинно, смерть – единственная твоя надежда. Богиня в исступлении подобна фурии адской. Эвхариса сгорает огнем, мучительнейшим смертных болезней. Нимфы готовы растерзать одна другую от ревности: и все это есть дело любви, предательницы, с первого взгляда незлобной и кроткой. Собери все силы своего мужества. О! Как боги милосерды! Сами открывают тебе славный путь из позорного плена в отечество! Калипсо принуждена изгнать тебя из своей области: корабль готов, чего ожидать нам на острове, где добродетель никогда не находила убежища?

Так говоря, Ментор взял его за руку и повел к берегу. Телемак шел за ним принужденно и поминутно назад озирался, считал каждый шаг своей нимфы, как она от него удалялась, вслед за взорами летело сердце его; не видя уже ее лица, он с восторгом смотрел на прекрасные волосы, по плечам рассыпавшиеся, на величавую поступь и на одежду, легким

ветром развеваемую, готов был лететь лобызать следы ног ее, потеряв ее из виду, вслушивался, заочно, как в зеркале, видел ее в сердце, живой образ ее был у него пред глазами, он спрашивал ее, сам себе отвечал за нее, не помня, где он, глухой к словам Менторовым.

Наконец, как будто воспрянув от глубокого сна, он сказал Ментору:

– Я решил, иду с тобой, но не простился еще с Эвхарисой. Умру, а не покину ее с такой неблагодарностью. Позволь мне еще однажды, в последний раз, видеть ее и проститься с ней навеки. Позволь мне, по крайней мере, сказать ей: «Нимфа! Жестокие боги, завидующие моему счастью, насильственно нас разлучают, но они могут пресечь мою жизнь, а не похитить тебя из моей памяти». Отец мой! Не отнимай у меня последней, столь справедливой отрады, или тотчас лиши меня жизни. Нет! Не хочу я ни оставаться здесь, ни быть рабом страсти. Нет любви в моем сердце, в нем одна дружба и благодарность. Скажу только еще однажды: прости! – и иду, куда хочешь.

– Как ты мне жалок! – отвечал ему Ментор. – Страсть твоя дошла до того, что ты уже не чувствуешь ее. Спокоен – а просишь смерти! Смеешь говорить, что ты не раб любви – а не можешь оторваться от любимой нимфы! Видишь и слышишь одну Эвхарису, слеп и глух ко всему прочему, в горячке, в исступлении говоришь: я не болен. Ослепленный Телемак! Ты готов был пожертвовать Пенелопой, дыха-

ющей о своем сыне, Улиссом, который возвратится в отечество, достоянием своим, царством, славой, высоким жребием предвозвещенным тебе свыше столь дивной благостью, – жертвовал всем для позорной жизни в объятиях Эвхарисы. Говори после всего этого, что ты не влюблен и спокоен. Отчего же твое отчаянье? Отчего ты просишь смерти? Что побудило тебя описывать с таким жаром свое странствование? Не обвиняю тебя в злом намерении, – оплакиваю твое ослепление. Беги, Телемак! Беги! Любовь побеждается бегством. Истинное мужество против такого врага – быть непрестанно на страже и искать спасения в бегстве, но в бегстве с непоколебимой решительностью, так, чтобы не дать себе времени и оглянуться назад ни на одно мгновение ока. Ты не забыл попечений моих о тебе с самого младенчества и опасностей, в которых советы мои всегда показывали тебе дорогу к спасению. Верь мне, или расстанемся. О! Если бы ты измерил всю мою горесть о твоей гибели, к которой сам ты стремишься! Если бы ты исчислил терзания, с которыми я был принужденно безмолвным зрителем твоих действий! Мать твоя не столько страдала в болезнях рождения. Я молчал, пожирал горесть, подавлял воздыхания, ожидая, не обратишься ли ты к своему другу. О! Сын мой! Любезный сын! Утешь мое сокрушенное сердце, возврати мне то, что для меня драгоценнее жизни, возврати мне погибшего Телемака, возвратись к самому себе. Если мудрость превозможет в тебе любовь, я буду жив и буду счастлив. Но если ты, не внемля мудрости,

поработишься любви, Ментор не переживет такого удара.

Такон говорил, приближаясь между тем к берегу. Телемак, слабый духом, не мог еще сам за ним следовать, но, ведомый, имел уже силу не сопротивляться. Минерва во образе Ментора, приосенив его невидимо эгидом и облистав лучом божественного света, возбудила в нем мужество, уснувшее со времени пребывания его у Калипсо. Наконец они достигли утесистого мыса, наверху скалы, в которую вечно плещут понурые волны, и сверху стремнины глазами искали корабль, сооруженный Ментором, но увидели иное печальное зрелище.

Любовь, терзаясь мыслию, что старец безвестный не только сам бесчувственно отражал все ее стрелы, но и юную жертву исторгал из ее сети, зарыдала с досады и полетела к Калипсо, которая тогда уединенно скиталась по мрачным дубравам. Калипсо встретила ее горестным стоном, почувствовала, что любовь раскрывала все язвы ее сердца.

– Ты богиня, – сказала ей предательница, – и не можешь победить слабого смертного, своего пленника? Кто предписал тебе закон отпустить его от себя с острова?

– Несчастливая любовь! – отвечала Калипсо. – Давай другим, а не мне свои пагубные советы. Ты возмутила райскую тишину моей жизни, ввергнула меня в бездну страданий. Все совершилось! Я поклялась водами Стикса отпустить Телемака. Сам Юпитер, отец богов всемогущий, не дерзнул бы нарушить страшной клятвы. Телемак оставляет, оставь мой

остров и ты, убийственный младенец! Не он, ты погубила меня.

Любовь, отирая слезы, улыбнулась с лукавою злостью.

– Преграда подлинно важная! – сказала она Калипсо. – Но я все устрою. Не преступай ты своей клятвы, не удерживай Телемака. Мы, я и нимфы твои, не клялись водами Стикса дать свободу нашему пленнику. Нимфам я вдохну мысль обратить в пепел корабль, построенный Ментором с такой поспешностью. Он напрасно трудился, перехитрим его, и он, и Телемак поневоле останутся в твоей власти.

Со звуком лукавых слов надежда и радость снова вкрались в глубину сердца несчастной Калипсо. Как прохладный зефир тихим веянием на берегу светлого источника живит унылое стадо, от зноя истлевающее, так они усладили ее отчаяние. Лицо ее развеселилось, глаза прояснились, и налегшая на сердце черная грусть отступила на краткий час от своей жертвы. Она остановилась, рассмеялась, прилежалея резвую любовь и тем самым приготовила себе новые скорби.

Восплескав об успехе коварного замысла, любовь обращается к нимфам, которые тогда в рассеянии переходили с горы на гору, как стадо овец, разогнанное волками далеко от стража; она собирает их, говорит им:

– Телемак еще в ваших руках: корабль ждет его, бегущего. Спешите! Предайте огню работу дерзкого Ментора.

Вмиг они зажгли факелы, ринулись, мчатся, скрежещут, трясут, как вакханки, растрепанными волосами; дале-



ко несется вопль их по воздуху. И пламя вьется, объемлет корабль. Не стало его, он весь был покрыт смолой. Столбом крутится огонь в облаке дыма.

Телемак и Ментор с высоты скалы видят пламя, слышат вопли. Телемак поколебался, едва мог воздержатъ в себе тайную радость: рана сердца его не исцелилась, и страсть его была подобна огню, не вовсе потухшему и по временам сверкающему из-под пепла яркими искрами.

– Вновь я в оковах, – сказал он, – нет нам надежды оставить этот остров.

Ментор видел, что он рад был опять предаться всем своим слабостям и что нельзя было медлить ни на мгновение ока. Вдали среди волн он завидел корабль, не дерзавший приблизиться к берегу острова: все кормчие знали, что область Калипсо неприступна для смертных. Телемак сидел на краю скалы. Вдруг Ментор столкнул его в море и сам за ним бросился. Изумленный внезапным падением, Телемак глотал соленую пену и боролся с волнами, но ободрился, когда увидел, что Ментор подал ему руку, и старался уже только удалиться от пагубного берега.

Нимфы, считая их своими пленниками и вдруг лишась всей надежды поставить преграду их бегству, завывли от ярости. Калипсо, неутешная, уединилась в пещере и там с горестными воплями изливала в слезах изъязвленное сердце. Любовь, посрамленная посреди победы, поднялась на крыльях и улетела в сад идалийский, где жестокая мать ожидала

ее возвращения. Лютейший матери сын в унижении тешился смехом с ней вместе о причиненных им бедствиях.

По мере удаления от острова Телемак с радостью чувствовал в себе прежнюю силу души и любовь к добродетели.

– Теперь я вижу, – говорил он Ментору, – истину слов твоих, которым доселе не верил, опытом не наученный: порок побеждается бегством. Отец мой! Как боги ко мне милостивы, что даровали мне твой совет и твою помощь! Недостойный их промысла, я заслуживаю быть предан самому себе. Не боюсь теперь ни грома, ни моря, ни вихрей: боюсь страстей своих. Одна любовь опаснее всякого кораблекрушения.

## Книга восьмая

*Телемак принят на корабль финикийский.*

*Смерть Пигмалиона и наперсницы его Астарбеи.*

*Описание Бетики.*

Корабль, который стоял в виду острова и к которому они плыли, был корабль финикийский и шел в Эпир. Находившиеся на нем финикияне видели прежде Телемака в Египте, но не думали, чтобы могли когда-либо встретить его на море в таком положении. Ментор, приближаясь так, что можно уже было слышать его, поднял из воды голову и громким голосом говорил:

– Финикияне, готовые всегда и всем подавать руку помощи, не отвергните странников, которых жизнь зависит от вашего сострадания. Если вы чтите богов, то возьмите нас на корабль, мы пойдем с вами, куда бы вы ни обратились.

– С удовольствием примем вас, – отвечал начальник корабля. – Мы знаем долг человеколюбия к несчастным странникам.

И немедленно они приняты.

Взошли на корабль и почти бездыханные оцепенели: так долго и с таким напряжением боролись с волнами! Мало-помалу силы к ним возвратились, дана им другая одежда – вода ручьями лилась из их одеяния, и как только они успокоились, финикияне наперерыв любопытствовали знать все, что

с ними случилось.

– Как вы могли пристать к этому острову? – спросил их начальник корабля. – Там властвует богиня, по слухам, жестокосердая, не позволяющая никому приближаться к своему берегу. Берег и без того обложен скалами, с которыми вечную войну ведут яростные волны: нельзя подойти к нему без очевидной опасности.

– Мы занесены сюда бурей, – отвечал Ментор. – Мы греки. Отечество наше Итака, лежащая недалеко от Эпира, куда путь ваш. Если бы вы и не имели намерения на пути остановиться в Итаке, мы пойдем с вами до Эпира. Там сыщем друзей, которые отошлют нас в отечество, а вам навеки будем обязаны радостью, что увидим, наконец, то, что дороже нам всего на свете.

Так говорил Ментор, Телемак не прерывал его речи. Воспоминая все свои слабости на острове Калипсо, он уже не доверял себе, чувствовал нужду в советах, и когда не мог испросить наставления у Ментора, то смотрел ему в глаза и старался по взорам разгадать его мысли.

Начальник корабля не сводил глаз с Телемака: представлялось ему, но в темном и сбивчивом воспоминании, что он не в первый раз его видел.

– Позволь мне спросить, – говорил он ему, – не видел ли ты меня прежде? Кажется, мы где-то встречались. Лицо твое для меня не ново, поразило меня с первого взгляда, но не помню, где бы мы виделись. Твоя память может быть лучше

моей.

– Мы в равном недоумении, – отвечал ему Телемак, удивленный и обрадованный. – Я вижу тебя так же не в первый раз, узнаю черты знакомого лица, но не помню, где мы друг друга видели, в Египте или в Тире?

Тогда финикийянин, как человек, воспрянувший от сна и настигающий, наконец, мыслями в дальней стране мечтание беглое, улетевшее от него сновидение, вдруг воскликнул:

– Ты Телемак, друг Нарбалов! С ним ты прибыл в Тир из Египта. Я брат его, без сомнения, тебе известный. Я оставил тебя у него после похода египетского. Мне надлежало идти за моря в славную Бетику, что возле столбов Геркулесовых. Мы виделись мельком, и не дивлюсь, что я не узнал тебя тотчас.

– Конечно, ты Адоам, – отвечал Телемак, – подлинно, тогда мы только лишь встретились, но я знаю тебя из разговоров с Нарбалом. Какая для меня радость, что я могу услышать от тебя весть о человеке, столь любезном моему сердцу! В Тире ли он? Не сделался ли жертвой злобы жестокого и подозрительного Пигмалиона?

– Прежде всего будь уверен, Телемак, – сказал Адоам, – что судьба, хранящая тебя под своим кровом, вверяет тебя человеку, для которого ты будешь предметом всех попечений. Ты возвратишься со мной в Итаку, не доходя до Эпира. Брат Нарбалов не уступит ему в любви и дружбе к сыну Улиссову.

Между тем попутный ветер поднялся. Адоам велел снять-

ся с якоря, вступить под паруса, а между тем идти на веслах, потом обратился к новым своим спутникам.

– Я удовлетворю твоему любопытству, – говорил он Телемаку. – Не стало Пигмалиона: правосудные боги избавили от него землю. Он ни на кого, зато и на него никто не мог положиться. Добродетельные втайне стенали, бегали его жестокости, но предпочитали лучше страдать, чем быть совиновниками в злодеянии. Злые, напротив того, основывали все спокойствие жизни на его гибели. Не было в Тире гражданина, который не терзался бы страхом быть не сегодня завтра жертвой его недоверчивости. Телохранители его первые подвергались этому жребию. Стражей своей жизни, их первых он трепетал и при малейшей тени сомнения казнию их покупал себе минуты покоя. Таким образом он, гонясь за безопасностью, нигде не находил безопасности. При непрерывном с его стороны подозрении приближенные его сами не могли быть уверены в жизни, и, наконец, не осталось им в таком ужасном положении иного средства к спасению, как только смерть недоверчивого и кровожадного тирана.

Но Астарбея, известный тебе изверг, предупредила злобыным умыслом все заговоры: она страстно любила молодого богатогириянина, именем Иоазар, и надеялась возвести его на престол. В этом намерении она уверила Пигмалиона, что старший его сын Фадаил строил во мраке преступные козни: в доказательство мнимого заговора представила лжесвидетелей. Несчастный царь велел умертвить невинного сына.

Младший сын, Валеазар, послан в Самос: образование его в науках и нравах в Греции было только личиной, которой прикрывалось внушение злостной Астарбеи, что надлежало предварить удалением его из Тира всякую связь с недоброжелательными. Лишь только он вышел из гавани, кормчий и все на его корабле мореходцы, подкупленные, в темноте ночи умышленно нашли на камни, разбили корабль, сами спаслись вплавь на иные суда, которые ожидали их близ того места, а юного князя бросили в волны.

Страсть Астарбеи к Иоазару была тайной только для Пигмалиона: он, напротив того, воображал, что будет вечно кумиром ее сердца. Неистощимый в подозрениях, он, с другой стороны, слепо верил женщине хитрой и злобной, до такой степени любовь затмевала его рассудок. В то же время алчность к богатству заставляла его изыскивать повод лишить жизни Иоазара, Астарбеею страстно любимого: мысль овладеть его сокровищами терзала его денно и ночью.

Между тем, как он страдал, мучимый страхом, любовью и златолюбием, Астарбея спешила исполнить предположенное смертоубийство. С одной стороны, она опасалась, не сведали уже царь позорной связи ее с Иоазаром, с другой стороны, знала, что и без того одна алчность могла подвигнуть его на всякую жестокость, уверилась, что нельзя было терять ни дня, ни часа для предупреждения рокового удара, видела в главных царедворцах готовность омыть руки в крови Пигмалионовой, получала каждый день новые вести о новом за-

говоре, при всем том боялась вверить свою тайну предателю: избрала благонадежнейший способ – из рук своих опотить царя ядом.

Общество его за столом составляла всегда почти одна Астарбея. Он сам варил себе пищу, не веря никому, кроме собственных рук своих, затворялся на то время в уединеннейшем месте дворца, хотел закрыть от всех щитом тайны и час низкого занятия, и нрав, снисшедший до такой степени недоверчивости. Не смел он и думать о яствах роскошных, не прикасался ни к чему, чего сам не умел приготовить, не употреблял потому не только мяса с приправами, но ни вина, ни хлеба, ни соли, ни молока, ни других обыкновенных у всякого снедей, питался одними плодами, сорванными в саду собственной рукой, или растениями, самим же им сеянными и изготовленными, никогда не пил иной воды, кроме той, которую черпал также собственными руками из ключа внутри дома за непроницаемой оградой с затворами, ему только известными; при всем, как казалось, беспредельном доверии к Астарбее, он был и против нее непрестанно на страже: она должна была прежде его пить и отведывать все то, что подавалось на стол. Он боялся один быть отравлен, хотел отнять у нее всю надежду пережить его. Но Астарбея приняла снадобье против яда, получив его от верной наперсницы, старой летами и злостью, и смело решилась отравить Пигмалиона.

Умысел свой она совершила таким образом: однажды, как



только они сели за стол, злая советница вдруг ударила в двери. Царь, всегда терзаемый страхом насильственной смерти, обеспамятел от ужаса, бросился к двери, смотрит, испытывает. Старая предательница между тем скрылась. Он цепенеет, не знает, что подумать о слышанном стуке, боится, отворив дверь, за порогом встретить убийцу. Астарбея не щадит ни лести, ни убеждений, успокаивает, молит его возвратиться к столу – она влила уже яд в золотой его кубок в то самое время, как он бросился к двери. Царь, по всегдашнему обыкновению, прежде ей подал кубок. Она смело пила, положась на снадобье против яда. Пигмалион выпил остаток и вслед за тем впал в изнеможение.

Астарбея, зная, что он готов был умертвить ее по малейшему знаку сомнения, разодрала на себе одеяние, рвала волосы, вопила отчаянным голосом, обняла, прижала к груди, ручьями слез обливала издыхавшего – слезы не много стоили хитрой предательнице. Когда же увидела, что силы его истощились и он уже был в последней борьбе со смертью, то, боясь, чтобы дух отходивший не возвратился и Пигмалион не посягнул на жизнь ее, от нежности и пламенных изъявлений любви вдруг перешла к ужаснейшей лютости – бросилась и удушила его. Потом сняла с руки его перстень, сорвала с головы царский венец, призвала Иоазара и вручила ему знаки верховного сана: надеялась, что все ей приверженные, служа страсти ее, не поколеблются провозгласить царем ее любовника. Но клеветы, в раболепстве до той поры неутоми-

мые, были души наемные, подлые, чуждые искренней привязанности, к тому же они, малодушные, трепетали врагов, нажитых Астарбеей, а еще более страшились собственной ее надменности, притворства и жестокости. Каждый из них для своей безопасности желал ее гибели.

Страшное волнение разливается по царским чертогам! Тысячи голосов повторяют: царь умер! Одни стоят, обеспамятев от ужаса, другие бросаются к оружию. Все видят восходящую тучу, но все ликуют, восхищенные радостной вестью. Она переходила из уст в уста по стогнам обширного Тира, и не нашлось ни одного гражданина, который пожалел бы о Пигмалионе, смерть его была избавлением, отрадой народу.

Нарбал, пораженный столь злодейским преступлением, как человек добродетельный, оплакал Пигмалиона, погубившего себя преданностью богопротивной женщине и променявшего имя отца народа на ненавистное имя тирана, но среди смуты он не терял из виду блага отечества и спешил со всеми верными противостать Астарбее, власть которой была бы еще тягостнее минувшего царствования.

Он знал, что Валеазар не погиб, когда был брошен в море. Сообщники, удостоверяя Астарбею в его смерти, действительно считали его невозвратно погибшим. Но он в темноте ночи спасся вплавь по волнам и из сострадания взят на корабль критскими купцами. Не смел он возвратиться на родину, с одной стороны предугадывая злой заговор в кораб-

лекрушении, с другой опасаясь кровожадной зависти Пигмалионовой и козней всемогущей его наперсницы. Оставленный критянами на сирийском берегу, он долго скитался там в рубище в виде бездомного странника и даже принужден был для пропитания пасти стадо наемником; наконец, нашел случай известить Нарбала о своей участи, полагая, что мог верить и тайну, и жизнь человеку, испытанному в добродетели. Нарбал, гонимый отцом, не переставал любить сына и располагал все в его пользу, но прежде всего старался удержать его от всякого покушения нарушить долг сыновней покорности, молил его переносить великодушно несчастье.

Валеазар писал к нему: «Если усмотришь возможность мне возвратиться на родину, то пришли мне золотой перстень, он будет указанием благоприятного времени». При жизни отца Нарбал считал возвращение сына опасным: мог подвергнуть и его и себя неизбежному бедствию, так трудно было оградиться от согляданий, все проникавших! Но по кончине несчастного Пигмалиона, столь достойной его злодеяний, Нарбал тотчас послал ему перстень. Валеазар возвратился и прибыл к стенам Тира в то самое время, когда весь город находился в смутном волнении от неизвестности, кто будет преемником царства. Немедленно он принят значительными гражданами и всем народом, любимый не по любви к отцу, всеми вообще ненавидимому, но за кротость и великодушие. Долговременные страдания придавали еще новый блеск его достоинствам, привлекали к нему сердца.

Нарбал собрал старейшин народа, членов верховного совета и жрецов великой богини финикийской. Все единодушно признали и чрез провозвестников велели провозгласить Валеазара царем финикийским. Народ отвечал радостными благословениями. Астарбея услышала их за неприступными стенами царских чертогов, где, как затворница, скрывалась с подлым своим Иоазарам. Злодеи, верные слуги ее при жизни Пигмалиона, покинули ее без совета и помощи. Злодей злодея боится, один другому не верит, страшится власти в руках совиновника. Злодей по себе предугадывает все злоупотребление могущества в руках ему равного, знает, до чего дошло бы его зверство. Злодею с добрыми лучше: он надеется найти в них, по крайней мере, снисхождение, благодать. Никто не остался с Астарбеей, кроме малого числа сообщников, разделявших с ней ужаснейшие преступления и отчаявшихся избежать казни.

Толпа вломилась в царские чертоги. Злодеи не смели долго сопротивляться, рассыпались. Астарбея, переодетая, хотела в виде рабыни ускользнуть посреди общего волнения, но одним из воинов узнана, схвачена, и тут же на месте была бы растерзана, если бы Нарбал не исторгнул ее, уже влачимуую, из рук черни расшвырявшей. Тогда она молила допустить ее к Валеазару, думала еще обворожить его своими прелестями и надеждой, что откроет ему важные тайны. Валеазар против воли внял ее просьбе. Она явилась к нему во всем цвете красоты, с таким видом незлобия, скромности,

который мог смягчить ожесточеннейшее сердце, осыпала его самыми лестными, приятнейшими похвалами, описала всю любовь к ней Пигмалионову, его прахом заклинала сжалиться над ее участию, взывала к богам с восторгом как будто давно знакомого ей благоговения, проливала слезы ручьями, обнимала колена Валеазаровы. Потом старалась всеми средствами посеять в нем подозрение и ненависть против усерднейших его подданных, обвиняла Нарбала в заговоре против Пигмалиона и в обольщении народа на тот конец, чтобы похитить царство у сына, и заключила открытием тайны, что Нарбал хотел опоить ядом самого Валеазара, чернила и многих добродетельных граждан, надеялась встретить в сердце нового царя те же сомнения и недоверчивость, какие находила в Пигмалионе. Но утомленный столь наглою злобой, он остановил клевету и велел позвать стражей. Астарбея заключена в темницу. Мудрым старцам вверено исследование ее преступлений.

Открылись ужасы: она отравила и удушила Пигмалиона. Вся жизнь ее была сцеплением невероятных злодеяний. Назначалась ей казнь, положенная в Финикии за величайшие преступления: сожжение. Но она, предугадав, что вся надежда ее рушилась, заскрежетала, как фурия, вышедшая из ада, и приняла яд, который хранила при себе втайне с намерением предварить самоубийством продолжительные муки. Стражи, приметив ее страдание, предлагали ей помощь — она ни слова не отвечала и отвергла пособие. Напомнили ей

о гневе богов правосудных – вместо раскаяния и сетования о своих злодействах, она, как бы в хулу богам, взглянула на небо с презрением и наглостью.

На умиравшем лице ее написаны были злость и несчастье. Не осталось и тени той красоты, которая была столь многим в пагубу. Все ее приятности исчезли, потухшие очи кружились и во все стороны бросали свирепые взгляды, губы дрожали в ужасных терзаниях, страшно было смотреть на рот, раскрытый, как пасть; на опавшем, измученном лице видны были болезненные содрогания, по бледному и оледеневшему телу показывались синие пятна. По временам она приходила в чувство, но только для того, чтобы умножить ужас воем отчаянной ярости. Наконец она испустила дух, оставив зрителей в трепете и омерзении. Богопротивная тень ее, без сомнения, сошла в те печальные места, где жестокие данаиды вечно черпают воду в бездонные сосуды, где Иксион непрерывно вертит колесо, где Тантал, сгорая от жажды, не может прохладиться водой, текущей мимо уст его, где Сизиф бесполезно трудится вскатить на гору камень, непрерывно низвергающийся, и где Тиций вечно будет чувствовать терзание коршуна в утробе, всегда раздираемой и всегда исцеляющейся.

Валеазар, избавленный от изверга, воздал богам благодарение многими жертвами. Начало своего царствования он ознаменовал поведением, совсем противным правилам Пигмалионовым, обратил все силы на восстановление стеснен-

ной торговли, внял советам Нарбаловым в образовании главных частей управления; но не слепо во всем ему верит, хочет видеть все собственными глазами, слушает с кротостью всякое мнение, избирает по внутреннему убеждению полезнейшее. Любимый народом, обладая сердцами, он обладает сокровищами, превосходящими все несметное стяжание лютой алчности отца своего. Нет семейства, которое не пожертвовало бы ему в нужде всем достоянием. Богатство народное принадлежит ему тем еще вернее, что, не переходя в его сокровищницы, остается в руках его подданных. Нет нужды ему заботиться об охранении жизни: он ограждается надежнейшей стражей – любовью народа. Все боятся утратить в лице его отца и друга, никто не пощадит своей крови для его безопасности. И он, и народ его счастливы. Он боится отяготить народ свой налогами, народ взаимно боится, не малую ли долю дает ему от своей собственности. Он оставляет подданных в изобилии, но изобилие не рождает в них ни противоборства власти, ни дерзости: они трудолюбивы, неустанны в торговле, непоколебимы в исполнении древних законов. Финикия возвратилась на высочайшую степень могущества и славы, обязанная юному царю всем своим благоденствием.

Нарбал разделяет с ним труды правления. Телемак! С какой радостью он осыпал бы тебя дарами! Какое было бы торжество для него возвратить тебя в отечество с блеском и честью! Как я счастлив, что могу заступить его место и сына

Улиссова возвести на престол в Итаке, чтобы он царствовал там с такою же мудростью, с какой Валеазар царствует в Тире!

Телемак, столько же восхищенный слышанными известиями, сколько растроганный дружеским участием в его злополучии, обнял Адоама с живейшей нежностью. Адоам любопытствовал знать, по какому случаю он был на острове Калипсо. Он рассказал ему про Крит, народные там игры перед избранием царя после бегства Идоменея, мщение Венеры, претерпленное им кораблекрушение, радость, с которой Калипсо приняла его, ревность богини к своей нимфе и, наконец, решимость Ментора низринуть его в море в виду корабля финикийского.

Потом Адоам велел приготовить великолепное пиршество, и в изъявление особенного удовольствия соединил всевозможные забавы. За столом курились приятнейшие благоухания, драгоценные дары востока. Молодые финикияне служили в венках из цветов и в белой одежде. Раздавались веселые звуки свирелей. Ахитоас по временам прерывал их звуками лиры и голоса, достойными греметь за трапезой богов, пленять слух самого Аполлона. Тритоны, nereиды, все божества, Нептуну подвластные, даже страшилища морские выходили из хлябей на волшебное пение. Другие финикияне, цветущие молодостью и красотой, в белом, как снег, одеянии, долго показывали искусство пляски, вначале отечественной, после египетской и греческой. Изредка громы



труб разливались по волнам до берегов отдаленнейших. Безмолвие ночи, тишина моря, трепетание лунного света поверх необозримых зыбей, темно-голубое небо в ярких звездах умножали величественную красоту этого зрелища.

Телемак, от при роды чувствительный и пылкий, тешился увеселениями, но не смел дать воли сердцу в наслаждении. Испытав, к стыду своему, на пагубном острове, сколь удобно и быстро юность воспламеняется, он боялся уже и невинных удовольствий, везде видел опасность, смотрел в глаза Ментору и старался по лицу и по взорам разгадать его мысли о всех тех забавах.

Ментор, с лицом хладным, втайне радовался его робости. Наконец, побежденный столь редкой в юных годах умеренностью, он сказал ему с улыбкой:

– Я понимаю, чего ты боишься. Опасение похвально, когда оно не без меры. Я первый и более всех желаю тебе удовольствий, но таких, которые не возбуждали бы страстной любви к наслаждениям, не вселяли бы слабой неги в твое сердце. Удовольствия нужны как отдохновение, и, пользуясь ими, надобно владеть собой, а не слепо бросаться в их шумный поток. Я желаю тебе удовольствий кротких, умеренных, посреди которых ты сохранял бы присутствие разума, никогда не уподобляясь бессловесным животным, необузданным в пылу ярости. Есть теперь тебе случай свободно вздохнуть после скорбей, отвечай Адоаму удовольствием за удовольствие, и в час потехи будь весел. В неложной мудрости нет

ничего ни сурового, ни принужденного. Она дарует нам истинные удовольствия, растворяет их чистой сладостью, умеет соединять смех и игру с глубокомысленными упражнениями, приготовляет трудом удовольствия, услаждает труд удовольствием. Мудрость не вменяет себе в стыд благовременного веселья.

Так говоря, Ментор взял лиру и стал играть на ней, а вместе и петь с таким искусством, что Ахитоас от зависти выронил из рук свою лиру в порыве досады. Очи его засверкали, лицо пасмурное изменилось в цвете, каждый увидел бы стыд его и огорчение, если бы Ментор не восхитил каждого сердца: боялись переводить дыхание, проронить малейший звук божественного пения, никогда не перестали бы его слушать. В голосе его не было томной и слабой нежности, свободный и сильный, он давал всему чувство.

Прежде всего он пел хвалу Юпитеру, отцу и царю богов и людей, потрясавшему одним мановением бровей концы вселенной, изобразил потом Минерву, как она возникает из главы великого бога, – премудрость, которую он рождает в своих недрах, и которая исходит из него просвещать кротких духом: пел высокие истины голосом столь вдохновенным, с таким благоговением, что все в восторге переселялись на превознесенные холмы Олимпа, пред лицо бога, проникающего сквозь все творение взором быстрейшим все сильного грома его. Затем он пел несчастную долю юного Нарцисса, как он, безрассудно пленясь красотой своей и в про-

зрачных струях непрестанно ею любуюсь, истаял от грусти и превратился в цветок, носящий его имя, пел, наконец, плачевную смерть растерзанного вопреки прекрасного Адониса, которого Венера не могла воскресить ни всей пламенной к нему любовью, ни всеми горестными к небу мольбами.

Невольно у всех слезы ронялись, и все находили в слезах неизъяснимую сладость. Когда он перестал петь, то финикияне долго переглядывались, изумленные. Тот говорил: не Орфей ли воскрес? Так он смирял лирой свирепых зверей, отторгал от земли деревья и камни, укротил Цербера, прервал страдания Иксиона, данаид и, смягчив неумолимого царя теней, заставил возвратить ему из ада прекрасную Эвридику! Нет, – отвечали другие, – это Лин, сын Аполлонов! Не Орфей и не Лин, – говорили иные, – а сам Аполлон.

Телемак не менее прочих дивился столь совершенному, для него также совсем еще новому искусству его друга петь и играть на лире.

Ахитоас, под видом светлым скрывая досаду, хотел соединить хвалу Ментору с общим удивлением, но на лицо его с краской вылилось из сердца прискорбие и речь в устах остановилась. Ментор, заметив его замешательство, прервал его как будто без всякого намерения и старался утешить справедливой похвалой. Но, неутешный, он чувствовал, что Ментор смирением превосходил его еще более, чем сладостью голоса.

Между тем Телемак сказал Адоаму:

– Ты упоминал о путешествии в Бетику по возвращении из Египта. Об этой стране столько чудесных рассказов, что они почти невероятны. Справедливо ли все то, что говорится о ней?

– Молва всего еще не сказала, – отвечал Адоам, – я с удовольствием опишу тебе эту знаменитую землю, достойную твоего любопытства.

Река Бетис, – говорил он, – течет в плодоносной стране под небом благотворным, всегда чистым и ясным. От реки вся страна получила название. Она впадает в великий океан недалеко от столбов Геркулесовых и того места, где море некогда, в ярости разорвав твердыни природы, отделило от обширной Африки землю фарсийскую. Подумаешь, что там остались еще все приятности золотого века. Зима там теплая, никогда не свирепствуют бурные северные вихри, летний зной растворяется прохладой тихого ветра, постоянно в полдень освежающего воздух. Весь год там весна и осень, согласясь, только сменяются. Жатва на ровных местах и в долинах собирается дважды в году. Дороги идут между рядами лавровых, гранатовых, жасминных и других деревьев, всегда зеленых, всегда цветущих. Горы покрыты стадами овец, которых тонкие руна драгоценны у всех известных народов. Рудников золотых и серебряных в той прекрасной стране множество, но жители, счастливые в простоте нравов, не ставят серебра и золота в число богатства, ценно у них только то, что служит прямо к удовлетворению нужд человеческих.

Начав с ними торг, мы нашли у них золото и серебро в употреблении вместо железа на плуги и другие орудия. Без внешней торговли не было нужды им в деньгах. Они все почти пастухи или земледельцы. Художников у них мало. Художества и ремесла у них те только терпимы, которые служат человеку пособием в истинных нуждах, и по большей части пастух, земледелец, при жизни простой и трезвой, сам для себя и ремесленник.

Женщины заняты пряжей шерсти, делают из нее тонкие и как снег белые ткани, пекут хлеб, готовят пищу – труд, им не тягостный, у них все довольствуются молоком и плодами, редко едят мясо. Они также шьют обувь для себя, для мужей и детей, делают шатры из кож, наводимых смолою, или из древесной коры, моют, шьют для семьи одеяние, содержат все хозяйство в порядке и в чистоте удивительной. Одеяние их не требует много заботы, под небом столь благотворным обыкновенно носят там цельные, легкие ткани и одеваются ими, как кто захочет, но всегда с благопристойностью.

Промышленность мужчин, сверх землепашества и скотоводства, состоит в делании разных вещей из железа и дерева, но и железо у них употребляется только на земледельческие орудия. Искусства, до зодчества относящиеся, им совсем бесполезны: они не строят домов. «Тот слишком привязан к земле, – говорят они, – кто строит себе такое жилище, которое может пережить человека; довольно кров иметь от непогоды». Художества, чтимые у греков, египтян, у всех

образованных народов, они презирают как изобретения суетности и роскоши.

Станет кто говорить им о народах, знаменитых искусством возводить великолепные здания, убирать дома серебряными и золотыми вещами, украшать богатые ткани шитьем и драгоценными камнями, составлять изящные благовония, снеди роскошные, пленять слух волшебным согласием звуков, они отвечают:

– Эти народы должны быть весьма несчастны, употребляя столько трудов и дарований на свою пагубу. Такая роскошь расслабляет, упоет, мучит богатых, а недостаточных заставляет искать того же излишества неправдами и хищениями. Можно ли назвать добром ненужные вещи, от которых растление сердца? Здоровее ли, крепче ли нас жители тех стран со всем своим избытком? Живут ли они долее нас? Согласнее ли между собой? Счастливее ли нас свободой, спокойствием, весельем жизни? Они, напротив того, должны друг другу завидовать, снедаться низкой, черной ненавистью, терзаться властолюбием, страхом, любостяжанием. Рабы ложных нужд, в которых полагают свое счастье, они и не предугадывают, что есть иные, простые и непорочные удовольствия.

Так рассуждают, – продолжал Адоам, – Эти мудрые люди, участь мудрости в храме природы. Они гнушаются нашей образованностью, и надобно признаться, что их образованность отлична любезной простотой. Не доля между собой

земли, они живут совокупно. Семейства управляются старейшинами: старейший – царь в своем доме. Глава семейства, имея право наказывать детей или внуков за злое, бесчестное дело, прежде от всей семьи требует мнения! Но у них наказания редки по невинности нравов, по правоте, покорности и общему омерзению к пороку. Астрея, по сказаниям, на небо переселившаяся, кажется, живет еще там втайне между мирными обитателями. Им судьи не нужны: совесть их судия. Все имущество у них общее: растения, плоды, молоко в таком у них изобилии, что народу умеренному, трезвому не для чего ими делиться. Каждая семья, кочуя свободно по прекрасным лугам, переходит и переносит шатры свои из места в место, когда там, где расположится, оскудеют плоды и пастбища. Не имея, таким образом, собственности, которую надлежало бы ограждать от алчного корыстолюбия, они друг друга любят братской любовью, ничем и никогда не возмущаемой. Отвержение суетного богатства и ложных наслаждений у них первое основание свободы, единодушия, мира: все они свободны и все равны.

Нет между ними иного отличия, как только то, которое приобретают старцы опытностью, а юноши возвышенным умом и подражанием в добродетели совершеннейшим старцам. Коварство, насилие, клятвопреступление, тяжбы, война никогда не возмущали грозным, убийственным своим голосом глубокой тишины в этой земле, любимой богами. Никогда не обагралась она кровью человеческой, редко увидишь

там кровь и животного. Изумляются они, когда услышат о кровопролитных битвах, о быстрых завоеваниях, о ниспровержении царств между другими народами. «За что предавать друг друга насильственной смерти, – говорят они, – когда и без того люди смертны? Жизнь наша кратковременна. Но там, вероятно, она кажется слишком продолжительной. Для того ли мы на земле, чтобы взаимно терзаться и бедствовать?»

Они совсем не понимают, как можно удивляться завоевателям, покоряющим царства, говорят: «Какое безумие искать счастья во власти, неразлучной с бесчисленными скорбями, когда кто хочет властвовать по правде и разуму! И что за удовольствие управлять людьми насильственно? Пусть мудрый может поработиться, принять на себя правление покорным народом, когда он вверен ему богами, или сам его молит быть ему отцом, защитником, пастырем. Но управлять народом против его воли – значит то же, что покупать ценой бедствий ложную славу – держать людей в рабстве. Завоеватель есть бич, посылаемый богами на землю в гневе их к роду человеческому, чтобы превратить царства в пустыни, поразить их ужасом, голодом, отчаянием, наложить на свободных людей чуждое иго. Кто ищет славы, не найдет ли ее в мудром устроении доли, свыше даруемой? Неужели нельзя заслужить хвалы ничем иным, как только насилием, неправдами, надменностью, хищениями, жестокостью? Меч можно обнажать только для защиты своей независимости. Счастливы



тот, кто не раб, но не хочет по безрассудному властолюбию иметь раба и в своем ближнем! Великие завоеватели, представляемые нам в таком блеске, подобны рекам, выступившим из берегов: для глаз они величественны, но превращают плодоносные поля в пустыни вместо того, чтобы только удобрять их туком благотворной влаги».

Телемак, восхищенный, спрашивал Адоама из любопытства еще о разных предметах.

– Пьют ли вино, – говорил он, – жители Бетики?

– Не только они не пьют вина, – отвечал Адоам, – но и не делают, не потому, что у них нет винограда: напротив того, нигде нет лучшего, но виноград идет у них в пищу наравне со всеми другими плодами; вина они боятся, как чародея, вредного людям. «Вино, – говорят они, – есть яд, приводящий в иступление, человек от него не умирает, но становится бессмысленным животным, без вина можно сохранить здоровье и силы, вино расслабляет тело и портит добрые нравы».

– Какие законы у них о супружестве? – продолжал Телемак.

– Многоженство у них не дозволено, – отвечал Адоам, – муж обязан жить с женой до смерти. Честь мужа там столько же зависит от верности к жене, сколько в других странах честь жены зависит от верности к мужу. Нет в мире народа, который мог бы сравниться с ними в добродетели и непорочности. Женщины у них приятны, прекрасны, но в образе жизни просты, скромны, трудолюбивы. Супружества

их мирны, чисты, благословенны потомством. Муж и жена – один дух, одно тело в двух лицах, делят между собой труды домоводства, муж исправляет все дела вне домашнего круга, жена занята внутренним хозяйством, она во всем помощница мужу, дышит для его счастья, снискивает его доверие, пленяет его не столько еще красотой, сколько добродетелью, райское удовольствие жизни их продолжается даже до гроба. Трезвость, умеренность, чистота нравов даруют им жизнь долговременную и безболезненную. Нередко встречаются между ними столетние старцы, довольно еще здоровые весельем духа и крепостью тела.

– Каким образом, – спросил наконец Телемак, – они избегают войны с сопредельными племенами?

– Природа, – отвечал Адоам, – отделила их от прочих племен с одной стороны морем, с другой от севера высокими горами. Но и без того они чтимы за добродетель. Другие племена в несогласии часто избирали их посредниками, судиями своих распрей, вверяя им земли и города, предметы раздора. Этот мудрый народ всегда гнушался насилием и за то пользуется общим доверием. Они смеются, когда услышат о спорах между царями о границах владений, говорят: «Как можно опасаться недостатка в земле? Люди никогда не возделают всего пространства полей. Пока будут свободные и праздные земли, мы и не подумаем защищаться от нападения». Не видно у них ни гордости, ни высокомерия, ни лукавства, ни жадности к преобладанию. Нет причины соседям

бояться такого народа, но и соседи никогда не могут устрашить его силой. Оттого он в покое, скорее он бросит родную землю или погибнет в ее развалинах, чем поработится. Сколько сам он далек от властолюбивого желания посягать на чужое, столько же трудно и его покорить. Оттого он в мире со всеми соседями.

Адоам заключил беседу описанием, как финикияне начали торговые сношения с Бетикой.

– Жители этой страны, – говорил он, – изумились, увидев иноземцев, пришедших к ним по водам из дальнего края, беспрекословно дозволили нам основать город на острове Гадесе, приняли нас благосклонно к себе на берег, разделили с нами все, что имели, без всякого возмездия, наконец, сами предложили нам весь остаток рун со своих овец за удовлетворением собственных надобностей и вслед за тем прислали в дар большое количество. Удовольствие для них делиться излишним. Рудники свои также они отдали нам беспрепятственно. Им они были совсем бесполезны. Они считали неразумием искать в поте лица в мрачных недрах земли того, что не может ни составить счастья, ни удовлетворить никакой истинной нужды, говорили нам: «Не ройте глубоких пропастей, а старайтесь лучше возделывать землю: она принесет вам неложное богатство, верную пищу, соберет плоды, полезнейшие серебра и золота; люди ищут серебра и золота для того только, чтобы иметь пищу к сохранению жизни». Неоднократно мы хотели научить их мореплаванию и

взять от них молодых людей в Финикию. Никогда и никак они не соглашались дать волю своим детям привыкать к нашему образу жизни. «Дети наши, – говорили они, – научатся иметь нужду в вещах, для вас необходимых, захотят так же иметь их, и от добродетели пойдут по кривым путям обогащения, будут как человек, у которого крепкие ноги, но который, отвыкнув от ходьбы, мирится, наконец, с купленным доброй волей рабством, – жить на носилках, подобно больному». Дерзким изобретениям мореплавания они дивятся, но считают его пагубным искусством. Говорят: «Когда дома есть в изобилии все потребное к жизни, то чего еще искать в чуждых странах? Неужели для человека не довольно того, чем природа удовлетворяет все его нужды? Такие люди достойны быть жертвой моря, когда сами ходят сквозь ужасы вихрей за смертью, чтобы только насытить алчность купцов или доставить страстям человеческим новую пищу».

Телемак, плененный столь приятным рассказом, радовался, что был еще в мире народ, следующий закону природы, мудрый и счастливый. «О! Какое расстояние, – говорил он, – между этими нравами и нравами наших просвещенных народов, исполненными суеты, гордости и властолюбия! Мы испорчены до такой степени, что едва можем постигнуть возможность незлобивой простоты сердца, считаем такие нравы прелестным, баснословным преданием, а тот народ должен смотреть на наши нравы как на ужасный призрак».

## Книга девятая

*Начальник корабля финикийского обещает высадить Телемака в Итаке.*

*Кормчий сбивается с пути и заходит в Салент.*

*Идоменей в Саленте.*

*Жертвоприношение. Предсказание жреца Юпитерова по случаю предстоящей Идоменею войны.*

Адоам и Телемак забыли сон в приятной беседе и не примечали, что ночь проходила, а между тем враждебный и чародейственный бог отводил их от Итаки: Атамас, кормчий, напрасно глазами искал ее берега.

Нептун, при всем своем благоволении к финикийцам, не мог видеть без негодования, что Телемак спасся от бури между камней у острова Калипсо. Венера еще с большим огорчением смотрела на торжество юноши, победителя любви и всех ее прелестей. В непреодолимом порыве скорби она покинула Цитеру, Пафос, Идалию, все ее храмы на Кипре: не могла оставаться в местах, которые были свидетелями презрения сына Улисса к ее могуществу; пошла на светлый Олимп, где боги тогда были в сонме перед престолом Юпитеровым.

Оттоле они смотрят на звезды, совершающие под ногами их течение по тверди небесной. Шар земной представляется им горстью ила, моря – едва заметными на том иле кап-

лями, царства – песком, по поверхности его рассыпанным, бесчисленные народы, непобедимые воинства – муравьями в распре о стебле травы на ничтожном шарике ила. Бессмертные тешатся величайшими деяниями, обуревающими слабый род человеческий: они кажутся им играми младенцев. Все, что у людей называется величием, славой, властью, глубокими совещаниями, в глазах всемогущих богов – бедность и немощь.

В этой превознесенной от земли обители Юпитер утвердил непоколебимый престол своего всемогущества. Очи его проникают во мрак бездны и в сокровеннейшие тайны сердец. Взор его, кроткий и светлый, разливают по вселенной мир и веселье. Но когда он тряхнет волосами, то вся земля дрожит и все небо мятется. Боги, ослепляемые лучами его славы, приступают к нему с трепетом.

Все небесные божества предстояли тогда Юпитеру. Является Венера со всеми прелестями, рождающимися на ее персях. Одежда ее, легким ветром развеваемая, затмевала блеском все цветы, которыми Ириса красуется, когда выходит на черные тучи благовестить уstraшенному племени смертных возвращение красного дня и скорое окончание бури. Она опоясана была тем волшебным своим поясом, на котором приятности видны, будто живые. Волосы ее небрежно были завязаны сзади сетью из золота. Все боги поражены были ее красотой, как будто новым, никогда не виданным явлением. Очи их омрачались ее сиянием, как глаза смертных ослепля-

ются, когда Феб после долгой ночи озарит их лучом утреннего света. Друг другу беглыми взорами они изъясляли изумление и не могли отвести глаз от Венеры. Но издалека еще они завидели в ее глазах слезы, а на лице глубокую горечь.

Тихими стопами, легко, как птица, парящая по беспредельному воздуху, она приблизилась к престолу Юпитерову. Отец богов воззрел на нее с лицом светлым, улыбнулся ей с благоволением, встал и облобызал ее.

– О чем сокрушаешься, любезная дочь! – говорит он ей. – Не могу я видеть слез твоих без умиления. Открой мне сердце, ты знаешь мою любовь к себе и мою благодать.

– Отец богов и людей! – отвечала Венера приятнейшим, но глубокими стонами перерываемым голосом. – О! Ты всевидящий! Тебе ли не знать вины моей скорби? Минерва, недовольная ни разрушением до основания великолепной Трои, любимого моего города, ни казнь Париса, принесенного в жертву ее мести за предпочтение моей красоты, по всем морям, по всем странам земли водит сына безжалостного врага Трои, Улисса. Минерва спутница Телемака! – труд, который возбраняет ей и ныне предстать по долгу ее в собрании богов. На поругание мне она привела в Кипр дерзкого юношу. Он презрел мое могущество, не удостоил даже воскурить фимиама на моих жертвенниках, возгнушался всеми в честь мою празднествами, бесчувственный, затворил сердце от всех удовольствий. Нептун, внемля мольбе моей и карая неблагодарного, воздвигнул воды и бури – напрасно! Те-

лемак, после ужасного кораблекрушения выброшенный на остров Калипсо, восторжествовал, наконец, и над любовью, снисшедшей по воле моей пленить его сердце. Ни молодость, ни прелести Калипсо и нимф ее, ни огненные стрелы любви не могли преодолеть коварства Минервина: похитила жертву из сети. Я в посрамлении, побежденная отроком.

– Так! Любезная дочь! – отвечал Юпитер в утешение Венере. – Минерва отражает все стрелы твоего сына от сердца юного грека и готовит ему славу, какой ни один земнородный не заслужил еще в его лета. Прискорбно мне, что он презрел твои жертвенники, но я не могу предать его твоей власти. Из любви к тебе я согласен, пусть он скитается по водам и по суше и пусть, разлученный с отечеством, испытает все беды и все опасности. Судьба не хочет его смерти и не допустит, чтобы дух его доблести изнемог в наслаждениях. Утешься, любезная дочь! Довольствуйся властью над другими героями, и даже бессмертными.

Сказал – и улыбнулся Венере с величественным благоволением, блеснул из очей молниеносным сиянием света, и облобызал ее с нежностью – небесный дух амброзии разлился по всему Олимпу. Растроганная благостью великого бога, она показала радость сквозь слезы, и, опустив с чела покрывало, приосенила им алое пламя в лице, волнение в сердце. Собрание богов всплескало на глаголы Юпитеровы, Венера спешила к Нептуну устроить с ним новые меры мщения.

Она повторила ему слова Громодержца. Нептун отвечал:



– Я уже знаю непреложный закон судьбы. Но если мы не можем погresti Телемака в пучине морской, то, по крайней мере, продлим его страдания, усеём преградами путь его в отечество. Я не могу согласиться на гибель вместе с ним корабля финикийского. Финикияне любимый народ мой. Никто столько не чтит моей области. Трудами их море стало путем сообщения между всеми земными племенами. Они приносят мне на алтарях моих непрерывные жертвы, они справедливы, мудры, неустанны в торговле, распространяют по всей земле изобилие и приятности жизни. Нет! Богиня! Я не могу допустить, чтобы корабль финикийский претерпел крушение, но пусть кормчий собьется с пути и отойдет от Итаки.

Довольная обещанием, Венера злостно рассмеялась и в летучей своей колеснице возвратилась на прелестные луга идалийские, где забавы, игры и смех, окружив ее, порхали от радости по цветам, которых благовонием дышит то волшебное место.

Нептун возложил исполнение своего слова на коварного бога, подобного сновидениям, с тем только различием, что сновидения прельщают спящих, а он обавает<sup>10</sup> чувства недремлющие. Злотворный бог, окруженный множеством вьющихся около него крылатых детей лжи, пролил тонкую чародейственную влагу на глаза кормчего Атамаса в тот са-

---

<sup>10</sup> Обавать (*церк.*) – очаровать, околдовать, обворожить; более употребляют «обаять». – *Прим. изд.*

мый час, когда он наблюдал сияние луны, течение звезд и берег Итаки, усматривая довольно уже явственно вдали его крутые утесы.

И с той поры глаза кормчего ничего уже не видели в истинном образе. Представились ему иная земля и небо иное. Казалось ему, что и звезды, переменяв течение, вспять обратились, и весь Олимп двигался по новым законам, и все лицо земли преложилося. Непрестанно являлась ему тень мнимой Итаки, между тем, как он час от часу более удалялся от того острова. Чем ближе он подходил к обманчивому призраку берега, тем далее берег отстранялся, мелькнет и исчезнет: кормчий не знал, что подумать о таком превращении. То казалось ему, что он уже слышал в гавани шум мореплавателей, и тогда он располагал пристать тайно к малому острову возле самой Итаки: Телемак надеялся таким образом скрыть возвращение свое в отечество от злоумышленников, искавших руки его матери и его жизни, то старался он осторожно обогнуть гряды камней, которыми тот берег моря обложен, то вслушивался, как волны с грозным гулом плескали в утесы. Вдруг берег снова мелькал перед ним еще в дальнем расстоянии и горы вдали представлялись ему мелкими облаками, когда они стелятся по воздуху при захождении солнца. Атамас был в изумлении: чародейственная сила коварного бога, прельщая взоры, поражала и дух его незнакомым еще ему ужасом. Он, наконец, сомневался, подлинно ли бодрствовал и не во сне ли видел обманчивые тени.

Между тем Нептун велел ветру восточному дунуть и перенести корабль к берегу Гесперии. Послушный ветер исполнил его волю с таким бурным стремлением, что корабль в короткое время прибыл в страну, Нептуном указанную.

Занималась заря, предвестница дневного света. Звезды, завидуя солнцу, бежали от лучезарного лица его скрыть бледный свой блеск в глубинах океана. Кормчий вскрикнул:

– Наконец исчезло сомнение: вот берег Итаки! Возрадуясь, Телемак! Еще один час – и ты увидишь Пенелопу, а может быть, и Улисса на престоле.

Усыпленный глубоким сном, Телемак воспрянул на его голос, встает, спешит, обнимает его и глазами, еще полу-сомкнутыми, обозревает уже близкую землю. Восстенал он, увидев не свой родной берег.

– Где мы? – говорил он. – Это не Итака, не мое любезное отечество! Атамас! Ты в заблуждении! Этот берег, отдаленный от твоей родины, конечно, тебе мало известен.

– Могу ли я обманываться, – отвечал кормчий, – когда ваш остров весь у меня перед глазами? Сколько раз я был в вашей пристани? Знаю в ней все до последнего камня. Тирский берег не лучше мне памятен. Вот гора, выдававшаяся в море! Вот скала в виде огромной твердыни! Не слышишь ли ты, с каким громом волны плещут в утесы, столько веков грозящие морю? Неужели ты не видишь возносящегося за тучи храма Минервы? Вот крепость, вот дом Улисса, отца твоего!

– Ты в заблуждении, Атамас! – говорил Телемак. – Я вижу берег довольно возвышенный, но ровный, вижу и город, но не Итаку. О боги! Так ли вы играете жребием смертных?

Тогда завеса спала с глаз кормчего, мгла волшебная рассеялась, представился ему берег в истинном виде, он узнал свое заблуждение.

– Подлинно так! – сказал он наконец Телемаку. – Враждебный бог очаровал мое зрение. Я видел Итаку, она лежала вся у меня перед глазами, вдруг исчезла, как призрак: вижу совсем иной город, вероятно, Салент, основанный в Гесперии Идоменеем, переселившимся из Крита. Вот стены, возводимые, но не оконченные! Вот пристань, также несовершенна еще устроенная!

Между тем, как Атамас рассматривал новые здания в юном городе, а Телемак оплакивал свое злополучие, ветер, послушный исполнитель воли Нептуна, ввел корабль под парусами в безопасный залив, тихое преддверие пристани.

Ментор, проникая тайну мести Нептуна и коварного замысла Венеры, спокойно смотрел на все смятение кормчего. По входе в залив он говорил Телемаку:

– Юпитер искушает твое мужество, но не хочет твоей смерти, открывает тебе, напротив того, путь к славе сквозь искушения. Вспомни труды Алкидовы, не теряй из вида подвигов Улиссовых. Кто не умеет страдать, тот мал душой и сердцем. Пусть жестокое счастье, неумолимый твой враг, изнуренное твоим терпением и доблестью, положит, наконец,

утомленную руку. Гнев Нептуна, самый ужасный, не столько для тебя страшен, сколько страшно было льстивое благоволение богини, когда она удерживала тебя на своем острове. Что медлим? Войдем в гавань, здесь народ дружественный, приходим к грекам. Идоменей, сам игралище превратного рока, примет под кров свой несчастных.

И вошли они в Салентскую пристань, куда свободно впущен корабль финикийский: финикияне в мире и в торговых сношениях со всеми народами.

Телемак с удивлением обзирал юный город Идоменеев, подобный молодой летней поросли, напаяваемой в ночи благотворной росой и приемлющей красу и жизнь от лучей солнечных. Она растет, развивается, облиственев, гордая цветом, прелестным разнообразностью теней, благоухает, является каждый час в новом блеске. Так город Идоменеев расцветал на берегу моря, каждый день, каждый час возрастая в великолепии. Издалека представлялись мореплавателям новые украшения зодчества, до небес возносившиеся. Клики художников, удары молота раздавались по всему берегу. Громады, воздвигаемые рукой искусства, висели в воздухе на вервях. Начальники с появлением утренней зари пробуждали в народе дух трудолюбия. Идоменей везде и все оживлял своим присутствием: работы производились с невероятным успехом.

Когда корабль подошел к пристани, критяне изъявили Телемаку и Ментору все знаки искренней дружбы и немедлен-

но известили Идоменея о прибытии сына Улисса.

– Сын Улисса! – воскликнул он. – Улисса, любезного моего друга, героя, которого мудростью мы наконец разрушили Троию. Пусть он придет в мои объятия и увидит всю любовь мою к его отцу.

Телемак вошел и, сказав свое имя, испрашивал гостеприимства.

– Если бы я и не был предварен о твоём имени, – говорил ему Идоменей с лицом светлым и радостным, – то, без сомнения, узнал бы тебя. Вижу в тебе второго Улисса: его глаза огненные и взор непоколебимый, его вид, с первого взгляда холодный, суровый, но полный чувства и приятности, его даже улыбка, умная и красноречивая, его небрежная осанка, его речь, простая и кроткая, но пленительная, сильная убеждением, так что сомнению некогда было возникнуть. Так! Ты сын Улиссов, но ты и у меня будешь сыном. Любезный сын! Какая превратность приводит тебя на наш берег? Не отца ли ты ищешь? Его участь мне неизвестна. Судьба положила на нем и на мне роковую свою руку. Он несчастлив – не мог возвратиться в отечество, я возвратился, но на жертву небесному гневу.

Так говоря, Идоменей обращал взор на Ментора. Лицо его было ему не чуждо, но он не мог вспомнить его имени.

– Великий царь! – отвечал между тем Телемак со слезами. – Прости мою скорбь, которую скрыть я не могу и тогда, когда мне надлежало бы только радоваться сердцем, благо-

дарным за твое благоволение. Соболезнованием о бедственном жребии отца моего ты сам учишь меня чувствовать всю горечь несчастной с ним разлуки. Давно я ищущего его по всем морям. Боги в гневе отнимают у меня всю надежду увидеть его, или, по крайней мере, узнать, не претерпел ли он кораблекрушения, и возвратиться в Итаку, где Пенелопа иссыхает, томимая тщетным желанием избавиться от дерзких злоумышленников. Я надеялся найти тебя в Крите, но молва там возвестила мне твое злополучие, и я полагал, что Гесперия, где ты основал новое царство, будет для меня навсегда недоступна. Судьба, играя людьми и преследуя меня из страны в страну чуждую, далеко от родины, наконец, бросила меня на твой берег. Последний удар ее для меня легче всех прежних: удаляя от отечества, она, по крайней мере, приводит меня к великодушнейшему из венценосцев.

Идомей, умиленный, обнял Телемака, повел к себе в дом и спросил его:

– Кто мудрый старец, твой спутник? Кажется мне, что я прежде его видывал.

– Это Ментор, – отвечал Телемак, – тот самый друг Улисс, которому отец мой вверил меня с самого младенчества: ему всем я обязан.

Обратясь к Ментору, царь подал ему руку.

– Мы видимся не в первый раз, – говорил он ему. – Помнишь ли ты свое путешествие по Криту, когда я слышал от тебя столько добрых советов? В пылу юности и в суете я то-

гда гонялся за удовольствиями. Надобно было мне пожить в училище беды, чтобы узнать все то, чему я не верил. О! Если бы я ранее послушал тебя, мудрый старец! Но, к удивлению моему, я не вижу в тебе через столько лет никакой почти перемены: та же свежесть в лице, та же осанка, та же крепость, седина только на голове показалась.

– Великий царь! – отвечал ему Ментор. – Будь я льстец, я сказал бы тебе, что ты так же не утратил цвета мужественной юности, блиставшего в лице твоём до похода Троянского. Но я скорее навлеку на себя твое неблаговоление, а не нарушу истины. Мудрые слова твои, впрочем, доказывают, что ты враг лести и что искренность бесстрашно может говорить тебе правду. Ты весьма изменился: трудно было бы мне узнать тебя. Предугадываю причину такой перемены: ты много страдал в превратностях счастья. Но страдания твои вознаграждены драгоценнейшим приобретением – мудростью. Можно спокойно смотреть на морщины, когда сердце, искушаемое, зреет в добродетели. Цари и всегда ранее других изнемогают. В несчастии старость постигает их преждевременно от трудов и от скорбей, в благополучии нега жизни сладострастной ослабляет силы их более, чем все ратные подвиги. Ничто так скоро не подрывает здоровья, как наслаждения без трезвой умеренности. Цари в войне и в мире непрестанно окружены или печалью, или увеселениями, с которыми старость приходит к ним прежде поры, установленной природой. Жизнь трезвая, простая, воздержная, не



порываемая страстями, тихая, деятельная, благоустроенная долго блюдет в теле мудрого бодрую юность, всегда готовую без такой стражи улететь на быстрых крылах времени.

Идоменей долго слушал бы Ментора в сладость, если бы не наступил час жертвы Юпитеру.

Телемак и Ментор пошли за ним в храм посреди многочисленного народа. Салентинцы бежали за ними, смотрели на них с любопытством.

– Эти два странника, – говорили они, – отличны один от другого: в одном есть что-то пылкое, милое, на лице написана вся приятность красоты и юного возраста, но в красоте его нет ни неги, ни слабости, на заре еще жизни он, кажется, возрос уже в труде и крепости. Другой – летами старец, но во всей еще силе мужества. Осанка его с первого взгляда не величава, в лице мало приятности, посмотришь на него ближе – видны в нем сквозь простоту резкие черты ума и доблести с удивительным благородством. Когда боги сходили к смертным на землю, то, без сомнения, принимали на себя такой вид путеходцев и странников.

Достигли храма Юпитерова, который Идоменей, сам от крови бога, украсил великолепно. Храм был окружен огромными в два ряда столбами из струистого мрамора, верхи их были серебряные, стены были также обложены мрамором с различными изваяниями. Здесь были: Юпитер в виде быка, похищение Европы, прехождение бога в Крит по бурному морю: волны благоговели перед Громодержцем и в чуждом

ему виде. Изображены были также рождение и юность Миноса, мудрый царь в летах зрелого мужества, дающий законы отечеству, основание его благоденствия. Телемак там же нашел знаменитейшие подвиги во время Троянской войны, где Идоменей приобрел славу великого военачальника. Между изображениями битв он искал и встретил отца своего, как он уводил коней у Реза, сраженного рукой Диомедовой, как перед всеми союзными царями состязался с Аяксом за доспехи Ахилловы, как выходил из рокового коня и плавал в крови рати Троянской.

Телемак тотчас узнал Улисса по славным деяниям, о которых слышал не только от других, но и от мудрого Ментора. Потекли из глаз его слезы, лицо, зеркало растроганного сердца, менялось в цвете. Идоменей приметил, сколько Телемак ни старался скрыть от него, это волнение и говорил ему:

– Не стыдись показать нам, сколь горестно для тебя воспоминание о славе и бедствиях родителя.

Народ между тем стекался в обширные преддверия между столбами около храма. Отроки и отроковицы избраннейшие, цветущие красотой, в белом как снег одеянии, пели особую хвалу Громодержцу. Длинные кудри вились по плечам их, распущенные. Головы были убраны розами. Идоменей приносил сто волов в жертву Юпитеру, моля его о заступничестве в войне с соседним народом. Дымилась кровь закланных животных, переливаясь в огромные чаши, серебряные

и золотые.

Старец Феофан, жрец храма и друг богов, покрыл во время жертвоприношения голову полой багряной своей ризы, потом приникнул во внутренности жертв, еще трепетавшие, и вслед за тем, сев на священный треножник, воскликнул:

– О! Боги! Кого небо послало нам в лице двух чужеземцев! Без них предприемлемая война была бы нам гибельна, и основания Салента, еще недовершенные, обратились бы в развалины, в пепел. Вижу юного героя, руководимого мудростью!.. Но язык смертного должен умолкнуть.

Что-то дикое было во взоре его, глаза сверкали – видели, казалось, не то, что предстояло, лицо горело, исступленный, он ужасался, волосы на голове стали горой, пена клубилась из уст, руки воздетые оцепенели, сильнейший голос человеческий не мог сравниться с громом его голоса, дыхание в нем останавливалось, он не мог противоборствовать движению божественного духа.

– О счастливый Идомений! – продолжал он. – Что я вижу? Идут прочь от пределов твоих страшные бедствия! В какой мирной тишине цветет твоя область! Но извне – какие брани и какие победы! О! Телемак! Дела твои затмевают подвиги Улиссовы. Под мечом твоим гордый враг стонет в прахе, к ногам твоим падают медные врата и нерушимые твердыни. О великая богиня! Ты, которой отец его... О юноша! Наконец ты увидишь...

И голос его замер, он стоял безмолвный и изумленный.

Народ слушал, замерев от ужаса. Идоменей, в страхе и трепете, не смел требовать от жреца, чтобы окончил речь недосказанную. Сам Телемак, удивленный, едва подразумевал высокое предвозвещение, едва верил собственным ушам. Один Ментор спокойно внимал прореченью божественного духа.

– Воля богов открыта тебе, – сказал он Идоменею. – С каким бы народом война ни предстояла тебе, победа пойдет вслед за тобой, и ты будешь обязан успехами оружия юному сыну своего друга. Не завидуй его славе, воспользуйся даром, в лице его богами тебе посылаемым.

Царь, все еще в изумлении, напрасно искал слова, язык его прильнул к гортани. Телемак, всегда пылкий, говорил Ментору:

– Не льстит меня вся мне обещанная слава. Какой смысл заключают в себе последние слова жреца: «Наконец ты увидишь»? Отца ли я увижу или только Итаку? О боги! Зачем он оставил меня в неизвестности? Умножил еще только мое сомнение. Неужели я некогда увижу Улисса, тебя, любезный отец мой! Неужели и подлинно увижу? Но я в сомнении! Жестокое прорицалище! Потеха твоя играть несчастным страдальцем. Одно слово – и я был бы благополучнейшим из смертных.

– Чти всякое откровение свыше и не дерзай проникать в глубину божественных тайн, – отвечал ему Ментор, – Дерзкое любопытство достойно посрамления. По премудрости,

исполненной милосердия, боги скрывают от слабых смертных судьбу их в непроницаемом мраке. Полезно предусматривать с добрым намерением то, что в наших силах, но столь же полезно не знать того, что не зависит от наших трудов и что боги нам уготовляют.

Телемак, убежденный мудрым наставлением, старался воздержать проявление свой горести.

Идомей, успокоясь, благословлял великого Юпитера, пославшего ему Телемака и Ментора в залог победы над врагами. По совершении жертвы и затем великолепного пиршества он говорил им:

– По возвращении моем в Критот развалин Трои наука правления не была еще мне довольно известна. Вы знаете, любезные друзья, какой несчастный случай лишил меня державы на отечественном моем острове: вы были там уже после моего удаления. Счастье мое, если жестокие удары судьбы послужили мне, по крайней мере, в наставление, научили меня кроткой умеренности! Я прошел моря, как изгнанник, гонимый из страны в страну местью божьей и человеческой. Вся моя прежняя слава умножала только стыд и тягость падения. С богами отцов я наконец переселился на здешний необитаемый берег, где нашел невозделанные, заросшие тернами степи, леса, земле современные, и обиталище свирепых зверей – непроходимые горы. Я должен был принять и это за отличный дар неба, что нашел себе место в дикой стране, и с малым числом друзей и воинов, разделивших со мной бед-

ственный жребий, мог назвать пустыню отечеством, лишенный навеки надежды возвратиться на тот благословенный остров, где увидел свет и где боги даровали мне царство. Какая превратность, – повторял я сам себе! – Какой я ужасный пример венценосцам! Надлежит показать меня всем на земле обладателям, чтобы участь моя была им в поучение. Они думают, что на степени, столь возвышенной, нечего им опасаться, а там-то и все опасности. Я был страшен врагам, любим подданными, владел сильным воинственным народом. Молва передавала мое имя из страны в страну до отдаленнейших пределов. Я властвовал на плодоносном, приятнейшем острове, сто городов ежегодно присылали богатые дани в мои сокровищницы. Критяне чтили во мне кровь бога, родившегося в их отечестве, любили меня как внука мудрого Миноса, положившего законами основание их могуществу и благоденствию. Чего не доставало к моему счастью? Искусства пользоваться счастьем с умеренностью. Гордость и лесть, коварная наперсница, ниспровергли престол мой. Падут таким образом все цари, ослепляемые страстями и советами пагубных ласкателей.

Днем для успокоения спутников я старался являть лицо бодрое надеждой, светлое. Построим себе здесь, – говорил им, – новый город, который утешил бы нас, осиротевших. Мы окружены знаменитыми примерами: Тарент возникает на глазах у нас, Фалант с лакедемонянами основал это царство. Филоктет здесь же возводит обширные стены Петилии.

Метопонт – подобное же им поселение. Странникам, так же скитавшимся, как и мы, чужим в здешнем крае, мы ли уступим? Судьба и их, и нас наказала, к нам ли только она будет неумолима?

Но, стараясь усладить скорби спутников, я сам таил в душе убийственную горесть. Когда дневной свет покидал меня и ночь с своим мраком сходила на землю, я радовался, что мог один на свободе оплакивать свою бедственную долю. Катились тогда из глаз моих горькие слезы, сладкий сон бежал от них. Возвращалось утро, возвращался и я к тем же трудам, но с новым рвением. Вот от чего, любезный Ментор, я так состарился!

Изъяснив свои печали, Идомей молил Телемака и Ментора о помощи в предприемлемой брани.

– По окончании войны, – говорил он им, – вы немедленно возвратитесь в Итаку. Между тем я пошлю корабли к берегам отдаленнейшим, не услышим ли вести об Улиссе? В какую бы страну известного мира ни занесла его грозная буря или бог раздраженный, я отовсюду исторгну, избавлю его. Даруй только небо, чтобы он жив был! Вам я дам корабли, лучшие из всех, что были деланы на Крите, построенные из леса, возросшего на той самой горе, где родился Юпитер, из священного дерева, которое не гибнет в волнах и перед которым скалы и вихри благоговеют. Сам Нептун в величайшем гневе не дерзнет воздвигнуть против них вод в своей области. Будьте спокойны, вы возвратитесь в Итаку благо-

получно, и никакой враждебный бог не будет уже преследовать вас из моря в море. Остается вам путь недалний и безопасный. Отпустите корабль финикийский, на котором вы сюда прибыли. Предлежит вам новая слава – утвердить новое царство Идоменею, возмездие его за все претерпенные бедствия: подвиг, по которому народы узнают в тебе, Телемак, достойного сына Улисса. И если бы даже завистливая судьба низвела уже отца твоего в мрачную страну теней, вся восхищенная Греция помыслит, что Улисс возвращается к ней в лице сына.

– Немедленно мы отпустим корабль финикийский, – отвечал Телемак Идоменею. – Врагам твоим, врагам нашим мы ли не противостанем? Когда мы прежде в Сицилии, сражаясь за Ацеста, троянца, врага Греции, одержали победу, то не с большим ли рвением пойдем на брань за героя, за грека, сподвижника героев в разрушении города Приамова? Боги увенчают наш подвиг; верный в том залог – слышанное нами предвозвещение.



## Книга десятая

*Рассказ о причине войны.*

*Ментор спрашивает Идомenea о силах его неприятелей и, узнав, что в соседстве с ним есть поселения греческие, приемлет на себя окончить распрю без пролития крови.*

Ментор, с лицом спокойным и светлым смотря на Телемака, исполненного уже благородного рвения к ратным трудам, говорил ему:

– Сын Улиссов! Приятно мне видеть в тебе похвальное стремление к славе. Но вспомни, чем отец твой под Троей приобрел блистательную славу? Разумом и искусством владеть сердцем. Ахилл, непобедимый, неуязвимый истребитель, перед которым в кровавых битвах всегда ходили ужас и смерть беспощадная, не мог взять гордый город, сам лег под стенами его, и Троя восторжествовала над победителем Гектора. Но Улисс, предводимый в мужестве благоразумием, внес меч и огонь в самое сердце Трои; от рук его, наконец, рухнула пышная, дотоле непреоборимая твердыня – десятилетняя гроза для соединенной духом и силами Греции. Сколько Минерва возвышеннее Марса, столько осторожное и прозорливое мужество превосходит необузданную, пылкую храбрость. Узнаем прежде всего обстоятельства предстоящей войны. Я готов на все опасности, но думаю, что прежде всего нам надобно знать, справедлива ли эта война,

против кого предпринимается, и будут ли силы и способы, от которых можно было бы ожидать счастливого успеха.

Идоменей отвечал:

– Когда мы прибыли сюда, нашли здесь народ дикий, рассеянный по дебрям, питавшийся ловлей зверей и плодами, растущими без труда рук человеческих. Мандурияне, так называется этот народ, ужаснулись, увидев корабли и оружие, ушли в горы. Но наши воины, из любопытства обзревая окрестности и погнавшись за оленями, встретили толпу беглых. Старейшины их говорили нашим воинам: «Мы покинули и беспрекословно уступили вам прекрасный берег моря, нам остались одни почти неприступные горы: справедливость требует от вас пощадить, по крайней мере, здесь наш покой и свободу. Вы рассеяны, скитаетесь по неизвестным местам, слабее нас числом и силами. В нашей власти истребить всех вас, так, что даже весть о несчастной вашей доле никогда не дошла бы до слуха ваших товарищей. Но мы не хотим обогреть своих рук кровью равных нам людей. Идите и помните, что вы обязаны жизнью чувству человеколюбия. Не забывайте, что народ, почитаемый вами необразованным, диким, подает вам пример кроткого великодушия».

Стрелки, отпущенные варварами, возвратились и рассказали в стане о своей с ними встрече. Взволновались наши воины, вменяя в посрамление критянину быть обязанным жизнью дикому скопищу беглых, похожих, по их мнению, не на людей, а на медведей, пошли снова на ловлю уже в большем

числе и со всяким оружием, опять встретились с дикими, напали на них: завязалась кровопролитная сеча. Стрелы с обеих сторон летали, как град падает на поле в сильную бурю. Дикие принуждены были уйти в расселины гор, наши не посмели гнаться за ними.

Скоро за тем они прислали ко мне двух, отличных разумом старцев с мирными предложениями. Послы принесли мне в дар плоды своей земли и шкуры хищных зверей, положив дары, говорили:

– Государь! Мы приходим к тебе с мечом и с масличной ветвью (у каждого из них и были в одной руке меч, а в другой – масличная ветвь): вот мир и война! Избирай. Мы желаем мира. По любви к миру мы не вменили себе в стыд уступить вам благословенный берег моря, где солнце так щедро оплодотворяет землю, земля изобилует приятнейшими произрастениями. Мир сладостнее всех плодов. Для него мы удалились в дикие горы, одетые вечными льдами и снегом, где никогда не показываются ни весна с цветом, ни осень с плодами. Мы гнушаемся зверством, которое под звучными именами честолюбия, славы опустошает в исступлении целые области, льет кровь человеческую, родственную. Стремись ты к такой суетной славе? Мы не завидуем, но сожалеем о тебе и молим богов спасти нас от такого неистовства. Когда науки, греками так уважаемые, и образованность, венец их, внушают им только ненависть и несправедливость, мы стократно счастливы без такого пагубного дара, мы вме-

няем себе в славу остаться навсегда невеждами, варварами, но справедливыми, человеколюбивыми, верными, бескорыстными, довольными малым, презрителями того ложного вкуса, от которого нужды бесчисленные. Сокровища наши – здоровье, простота жизни, свобода, крепость тела и духа, любовь к добродетели, страх к богам, согласие с соседями, привязанность к друзьям, верность ко всем и каждому, кротость в благополучии, непоколебимость в несчастье, дерзновение говорить всегда смело правду, ненависть к лести. Народ с такими качествами хочет быть твоим соседом и союзником. Если боги в гневе накажут тебя ослеплением и ты отвергнешь мир, то узнаешь, но уже поздно, как страшен в брани народ, миролюбивый по кроткой умеренности.

Так говорили мне старцы. Я не мог на них насмотреться. Длинные бороды небрежно сходили на грудь их. Короткие седые волосы на головах, густые брови, быстрые очи, взор неустрашимый, осанка мужественная, голос важный и твердый – все в них показывало простодушную непринужденность. Каждый из них вместо одежды был покрыт звериной, на плече завязанной кожей. Руки, все в жилах, крепкие, полные, каких нету нас и между единоборцами, видны были нагие. Я отвечал им желанием мира. По взаимному согласию мы постановили условия, призвали богов во свидетельство, и я отпустил их с дарами.

Но боги, изгнав меня из царства моих предков, не излили еще на меня всей чаши гнева. Воины наши на ловле не мог-

ли знать о мирном договоре и в тот же день встретились с варварами, – они во множестве провожали своих послов на возвратном пути из нашего стана, – напали на них с остервенением, иных положили на месте, других прогнали в дальние дебри. Война загоралась. Они теперь решили, что нельзя полагаться на наши клятвы.

Чтобы противостать нам с большей силой, они призывают к себе на помощь локриян, апулиян, луканов, брутян, народы кротонский, неритский, миссипский, бриндийский.

Луканы выходят на войну на колесницах с острыми косами. Апулияне одеваются в шкуры хищных зверей, добычу ловли, вооружаются огромными палицами с железными зубьями, ростом исполины. Члены их от многотрудных телесных упражнений приобретают такую крепость, что один взгляд на них приводит в ужас. Локрияне, переселившиеся сюда из Греции, не совсем еще подавили в себе чувство крови отечественной, они человеколюбивее прочих, но со строгостью ратного греческого искусства соединяют неутомимую крепость дикого племени и навык к жизни суровой: от того непобедимы. Легкие щиты их, из ивовых ветвей, обтянуты кожей, мечи у них длинные. Брутяне на бегу как олени и серны, под ногами их самая нежная трава едва ложится, едва оставляют они след по себе на сыпучих песках, как туча, вдруг они ринутся и вдруг же рассыплются. Кротоняне искусны в метании стрел. Немногие из греков натянут такой лук, каким обыкновенно все они действуют. Познакомься с

нашими играми, они, без сомнения, будут всегда победителями, кладут они стрелы в сок ядовитых трав, растущих, по слухам, на берегах Аверна и смертоносных. Нериты, миссипияне, бриндияне получили от природы в удел только телесную силу, храбры без всякого искусства, ужасны их вопли в виду неприятеля, далеко слышен гул их по воздуху, довольно удачно они действуют пращей, солнце затмевают тучами камней, но не наблюдают в битве никакого порядка. Вот все то, Ментор, что ты хотел знать. Тебе известны теперь и причина войны, и неприятели наши.

Телемак, горя нетерпением, думал, что оставалось уже только надеть боевые доспехи. Ментор воздержал его пылкость, обратив речь к Идоменею:

– Отчего даже локрияне, народ, пришедший сюда из Греции, вступили с варварами в союз против греков? Отчего все другие здесь поселения греческие цветут без распрей и брани? Государь! Ты говоришь, что боги не излили еще на тебя всей чаши гнева. Скажи лучше, что боги не совсем еще вразумили тебя. Все претерпенные тобой бедствия не научили тебя избегать войны. Собственные твои слова о праводушии варваров ясно доказывают, что вы могли жить с ними в мире. Но гордость и высокомерие всегда влекут за собой пагубные распри. Ты мог дать им и от них взять взаимно заложников, мог отправить с их послами своих воинов для безопасного их препровождения. По объявлении войны надлежало стараться успокоить их удостоверением, что одно неведение заклю-

ченного союза было причиной последнего на них нападения. Надлежало представить им в убеждение все, чего бы они ни потребовали, а на будущее время назначить с вашей стороны строгие наказания за нарушение мира. Но что последовало по объявлении войны?

– Я считал за бесславие, – отвечал Идоменей, – сделать первый шаг к примирению с варварами, между тем, как они вдруг у себя собрали всех, кто только был в силах носить оружие, и соседей молили о помощи, вселяя в них против нас подозрение, ненависть. Я думал, что благонадежнейшая мера состояла в немедленном занятии переходов через горы, оставленных ими без стражи. Здесь мы не встретили сопротивления и можем тревожить их свободно набегами. Там я построил бойницы, откуда наши воины удобно могут засыпать стрелами толпы неприятелей, если бы они покусились вторгнуться с гор в нашу землю. К ним нам дорога открыта. Мы властны во всякое время опустошать мечом и огнем их жилища. Таким образом, мы можем и с неравными силами противостать множеству врагов, нас окружающих. Впрочем, весьма уже трудно восстановить мир между нами и ими. С одной стороны, мы, уступив им свои укрепления, неминуемо подвергнемся непрерывным от них нападениям, с другой стороны, они смотрят на наши бойницы как на грозу, предвестницу рабства.

Ментор отвечал Идоменею:

– Ты желаешь, как мудрый царь, слышать правду без вся-

кой прикрасы. Ты не из числа тех слабых людей, которые, боясь видеть истину, без силы души исправиться, поддерживают погрешности властью. Я нахожу, что дикари предложением мира показали тебе чудесный пример великодушия. По слабости ли они просили мира? Мужества ли не доставало у них к сопротивлению или пособий? Нельзя предполагать таких побуждений в народе, опытном в ратных трудах и подкрепляемом страшными союзниками. Для чего ты не последовал его кротости? Ложный стыд и тщеславие ввергли тебя в зловещие сети. Ты боялся дать врагу повод возгордиться, а не боялся дать ему время и способ усилиться, вооружая против себя столько народов высокомерием и несправедливостью. К чему бойницы, ваша надежда? Они принудят ваших соседей или погибнуть, или предварить рабство вашей гибели. Ты построил их для безопасности, а от них все ваше бедствие.

Надежнейшая ограда государства – справедливость, умеренность, правота, убеждение соседей, что ты не сроден<sup>11</sup> завладеть чуждым. Твердыни рушатся от непредвидимых потрясений. Счастье в войне превратно и своевольно. Любовь и доверие соседей, когда они узнают твою миролюбивую кротость, будут для твоей области непреодолимым пособием, щитом даже от нападения. Пусть восстанет на тебя несправедливый сосед: другие, находя свой покой в твоей

---

<sup>11</sup> Сродный к чему-либо, наклонный, расположенный, годный по природе своей. – *Прим. изд.*



безопасности, противопоставят ему за тебя соединенные силы. И такая защита народов, когда они в неприкосновенности твоих прав будут находить собственные выгоды, возвеличит твое могущество стократно вернее, чем все укрепления. Если бы ты старался прежде всего подавить в самом корне зависть соседей, то юный твой город процветал бы в счастливом мире, а ты был бы здесь судьей всех гесперийских народов. Но ограничимся рассмотрением, какими средствами можно исправить упущенное.

Ты сказал, что здесь есть греческие поселения. Они, кажется, не поколеблются подать вам руку помощи: они не забыли великого имени Миноса, сына Юпитерова, и твоих подвигов под Троей, где ты в общем деле Греции, перед лицом всех союзных царей ознаменовал свою ревность столь многими жертвами. Что возбраняет тебе склонить их на свою сторону?

Они все положили быть только зрителями нашей распри, – отвечал Идомей, – не затем, что не желают быть моими союзниками, но потому, что блеск нашего города при самом его основании навел на них ужас. Греки, равно как и другие народы, взволновались от страха, не имеем ли мы замысла стеснить их свободу, возомнили, что мы, поработив варваров, прострем далее властолюбивые виды. Одним словом, все против нас. Кто не восстал еще на нас вооруженной рукой, тот во мраке ищет нашего уничтожения. Зависть не оставила нам ни одного союзника.

– Странная крайность, – возразил Ментор, – для ложного блеска подрывать основания истинного могущества! Извне предмет страха и ненависти соседей, внутри ты истощаешь свое царство усилиями в столь трудной войне. Несчастный Идоменей! Сугубо несчастный! Когда тебя и беда не могла вывести из заблуждения. Нужно ли тебе еще другое падение, чтобы научиться предвидеть бедствия, висящие над головами царей при всей славе величия? Но возложи все на меня и изъясни только подробно, какие города греческие уклоняются от союза с вами.

– Тарант первый и главный, – отвечал Идоменей. – Три года, как он основан Фалантом. Фалант собрал в Лаконии множество юношей, рожденных неверными женами в отсутствие мужей во время Троянской войны. По возвращении воинов жёны, чтобы укротить их гнев, скрыли, отвергли плоды преступления. Толпы юношей, сынов противозаконной любви, покинутые родителями, не знали границ своеволию. Строгость законов наконец обуздала их дерзость. Они соединились под знаменами Фаланта, предводителя смелого, неустрашимого, властолюбивого, искусственного в хитрости. Он переселил сюда молодых лакедемонян: Тарент – вторая Спарта. Тут же Филоктет, славный некогда под Троей тем, что принес туда стрелы Алкидовы, возвел стены Петилии, города, силой и многолюдством уступающего Таренту, но управляемого с большим благоразумием. Вблизи от нас, наконец, Метопонт, основанный мудрым Нестором с пилияна-

ми.

– Как? – прервал Ментор. – Нестор в Гесперии, и ты не мог склонить его на свою сторону? Нестор, свидетель твоих подвигов под Троей, некогда друг твой?

– Я потерял его дружбу, – отвечал Идоменей, – по коварству врагов, варваров только по имени. Они успели уверить его, что я замышляю обладание всей Гесперией.

– Мы выведем его из заблуждения, – сказал Ментор, – Телемак был у него в Пилосе прежде, чем он оставил Грецию, а мы предприняли долговременное свое странствование. Не забыл он Улисса, не остыла в нем любовь к его сыну. Но надлежит прежде всего истребить в нем недоверчивость. Война загоралась от подозрений, смутивших соседние народы, и погасить ее можно только успокоением ложного страха. Словом, предоставь мне это дело.

Расстроганный Идоменей обнимал Ментора, долго не мог говорить, наконец сказал ему прерывающимся голосом:

– Мудрый старец, посланный Богами исправить мои грешности! Признаюсь, что другой, кто бы ни был, говоря столь свободным языком, раздражил бы мое сердце. Ты один можешь заставить меня просить мира. Я решился было победить или погибнуть, но справедливость требует внимать не страстям, а мудрым советам. Счастливый Телемак!

Ты, наставляемый таким руководителем, никогда не можешь, как я, уклониться от пути правого. Ментор! Я все отдаю на твою волю. В тебе мудрость божественная: сама Ми-

нерва не могла бы дать мне спасительнейших советов. Иди, обещай, заключай: все мое в твоей власти. Идоменей утверждает все, что Ментор признает за благо.

Посреди беседы вдруг стали слышны стук колесниц, топот и ржание коней, страшный гул воплей, гром трубы бранной. «Неприятель! – все закричали. – Неприятель обошел нашу стражу и, как туча, идет, облегает стены Салента». Женщины и старцы, унылые, вопили: «О Боги! Для того ли мы оставили плодоносный Крит, любезное отечество, и пошли по морям за несчастным царем, чтобы основать новый город, – скоро новое пепелище, подобное Трое?» Со стен Салентских, только что возведенных, взор встречал по обширной равнине шлемы, щиты, все доспехи, от солнца светившиеся, глаза ослеплялись их блеском, зачернелось кругом поле от коней, как на полях сицилийских синеет богатая жатва, уготовляемая Церерой в знойное лето в награду за труд земледельцу. Показались и колесницы с косами, можно было различить каждый народ в многочисленной рати.

Ментор, чтобы лучше обозреть неприятельские силы, взошел на высокую башню, сопровождаемый Идоменеем и Телемаком. Оттуда он тотчас увидел с одной стороны Филоктета, а с другой Нестора с сыном его Пизистратом. Легко можно было издалека узнать Нестора по маститой его старости.

– О! Идоменей! – говорил он. – Ты думал, что Филоктет и Нестор откажутся только быть твоими союзниками. Смотри! Вот они оба с мечами в руках, а там, если не ошибаюсь,

лакедемонская рать идет тихо и стройно под предводительством Фаланта. Все на тебя, нет соседа, которого ты не поставил бы против себя, хотя и неумышленно.

Сказал – и сходит с башни, спешит к городским воротам с той стороны, откуда шел неприятель, ворота по слову его отворяются. Идоменей, изумленный зритель величия во всех его действиях, не смеет даже спросить его о намерении. Мен-тор, дав знать рукой, что он не требует спутников, идет прямо навстречу к врагам, удивляющимся явлению одного человека перед многочисленным войском, издалека еще показывает им масличную ветвь, предвестницу мира, приблизившись, просит военачальников собраться; сошлись – он говорил им:

– Великодушные мужи! Вожди народов, цветущих в благословенной Гесперии! Вы стеклись сюда для защиты свободы. Похвальна ваша ревность, но позвольте мне представить вам средство сохранить свободу и славу всех ваших народов без пролития крови.

Нестор! Мудрый Нестор, которого я вижу в сонме вождей! Тебе известны плоды войны, гибельные даже и в таком случае, когда она предпринимается справедливо, с помощью свыше. Война – величайшее зло, которым боги карают род человеческий. Ты не забыл десятилетнего страдания греков под стенами несчастной Трои. Какие раздоры между военачальниками! Какое превратное изменение счастья! Сколько греков пало от руки Гекторовой! Какие бедствия от той же

войны во всех городах, знаменитых богатством и силой! На возвратном пути иные претерпели кораблекрушение у мыса Кафарского, других плачевная смерть ожидала в супружеских объятиях. Боги! Вы в гневе вывели греков на блистательное попрание славы! Народы гесперийские! Да спасет вас небо от такой бедственной победы. Троя тлеет под пеплом развалин. Но пусть бы она процветала во всем своем великолепии, пусть малодушный Парис наслаждался бы позорной страстью со своей Еленой: Греция не страдала бы глубокими ранами. И ты, Филоктет, бывший столь долго игралищем лютого рока, всеми некогда брошенный в Лемносе! Уверен ли ты, что тебя не постигнут в новой брани прежние горести? Не тайна для меня стропотные<sup>12</sup> смуты, которые и Спарту раздирали в долговременное отсутствие царей, полководцев и воинов. О греки, переселившееся в Гесперию! Все вы здесь изгнанники, жертвы Троянской войны.

Потом он обратился к пилиянам. Нестор встретил его дружеским приветствием.

– Рад я, любезный Ментор, – говорил он, – что вижу тебя. Много лет прошло с того времени, как я в первый раз видел тебя в Фокиде. Но и тогда, на заре еще дней твоих, я предзрел в тебе мудрость, которую ты показал в столь многих случаях. Что тебя привело на наш берег? Какими средствами ты надеешься прекратить войну загоревшуюся? Идоменей принудил нас вооружиться против него соединенны-

---

<sup>12</sup> То же, что: строптивые. – *Прим. изд.*

ми силами. Мы желали все одного – мира: желание, которое внушали нам нужда и польза. Но наконец все основания доброй веры между нами и им поколебались. Он нарушил клятвы, данные ближайшим соседям. Мир с ним будет не мир, а только верный для него способ разорвать союз, последнюю нашу ограду. Он показал всем народам дух алчного единовластия, оставил нам к сохранению общей свободы последнее средство – ниспровержение нового царства его, вероломством довел нас до крайности низложить властолюбивого соседа или из рук его принять иго рабства. Если ты можешь восстановить в нас доверие к Идоменею и утвердить между нами полезный мир на прочных основаниях, то мы все охотно положим оружие и с радостью прославим твою мудрость.

– Мудрый Нестор! – отвечал Ментор. – Тебе известно, что Улисс вверил мне сына. Телемак, пылая нетерпением узнать жребий отца, был у тебя в Пилосе, где ты оказал ему все попечения, каких только он мог ожидать от верного отцу его друга: для него даже сын твой подвергался опасностям моря. Потом он предпринял долгое странствование, был в Сицилии, в Египте, на Кипре, на Крите. Буря, или лучше сказать, боги с пути уже в отечество обратили нас к берегу Гесперии. И мы приходим к вам благовременно – спасти вас от ужасов кровопролития. Не Идоменей, а сын Улиссов и я отвечаем за исполнение всех с вами договоров.

Между тем, как Ментор и Нестор беседовали посреди союзной рати, Идоменей, Телемак, все критяне, готовые к

битве, со стен салентских устремляли на них любопытные взоры, наблюдали с неуклонным вниманием действие речи Менторовой, хотели перелететь и слышать беседу старцев.

Нестор слыл всегда опытнейшим и витийственнейшим между всеми венценосцами Греции. Под стенами Трои он один мог укрощать пламенный гнев Ахиллесов, гордость Агамемнонову, надменность Аяксову, дерзкую храбрость Диомедову. Сладостное убеждение лилось из уст его, как струя меда, герои были послушны только его голосу. Когда он открывал уста, все умолкали. Он один смирял в войсках раздор, алчущий крови. Начинал он уже чувствовать роковой перст хладной старости, но язык его сохранял еще силу и всемогущую приятность. Часто он рассказывал деяния протекших времен, наставляя юношей своими опытами, описывал все прелестными красками, хотя и медленно.

Но и витийство старца, прославленного всей Грецией, в присутствии Ментора не замечалось, и все его величие меркло. Старость его казалась дряхлой и немощной перед Ментором, в котором лета чтили крепость и силу телесного сложения. Слова Менторовы, при всей простоте их и важности, были исполнены власти и жизни, ослабевавших уже в Несторе. Все его речи были кратки, ясны, могущественны. Никогда он не утомлял повторениями и при совещании о предложенном предмете не развлекал внимания посторонними рассказами. Когда он обращался к одному и тому же предмету, для вящего ли впечатления его в умах или для убежде-



ния, то всегда представлял его в новом виде или в различных уподоблениях желая вселить в сердца истину, он снисходил к понятию каждого, равнялся со всяким с любезностью, с неподражаемой игрой мыслей. Оба они являли собой всем войскам величественнейшее зрелище.

Между тем, как союзники, враги Салента, друг перед другом алкали видеть и слышать мудрых старцев, Идоменей и все салентинцы, наблюдая быстрым и жадным взором и вид и движения их, разгадывали по ним свою участь.

## Книга одиннадцатая

*Свидание Ментора с царями греческими, переселившимися в Гесперию.*

*Победа кроткой мудрости над мщением и недоверием.*

*Мир с Идоменеем.*

Телемак недолго пробыл зрителем, незаметно уходит и спешит к воротам, в которые Ментор вышел из города: по слову его они отворены. Идоменей ищет его возле себя и не верит глазам своим, видя его уже за стенами, бегущего навстречу Нестору. Нестор, узнав его, шел к нему тихими и утружденными стопами. Телемак бросился к нему на выю и безмолвно обнимал великого старца, потом говорил ему:

– Отец мой! Не боюсь я употребить этого имени. Судьба, отъемлющая у меня всю надежду увидеть родителя, и твое ко мне благоволение дают мне право назвать тебя столь нежным именем. Отец мой! Как я счастлив, что вижу тебя! О! Если бы так же я мог увидеть Улисса! В горестной разлуке с ним одна мне отрада, если я найду себе в лице твоём второго Улисса.

Нестор невольно прослезился, и сердце его втайне возрадовалось, когда он увидел с какой неописанной приятностью слезы катились по лицу Телемака. Кротость, красота, благородная смелость юного странника, проходившего бесстрашно сквозь рать неприятельскую, приводили союзников

в изумление. Друг другу они говорили: «Не сын ли это пришедшего к Нестору старца? Без сомнения, сын! В том и в другом равная мудрость, невзирая на противоположные лета: в одном она только еще расцветает, в другом приносит уже зрелый плод с богатым избытком».

Ментор, утешенный нежностью, с которой Нестор принял Телемака, воспользовался благоприятным мгновением.

– Вот сын Улисса, – говорил он, – чтимого Грецией, любезного самому тебе, мудрый Нестор! Он перед вами. Даю вам его как залог в верности обетов Идоменеевых, драгоценнейший залог, какой только может быть вам представлен. Суди, пожелаю ли я сыну бедственной участи отца или упрека себе от несчастной Пенелопы, что Ментор обрек ее сына на жертву властолюбию нового царя Салентского? С таким неожиданным залогом, посланным богами любви и согласия, предлагаю вам, о, народы, от столь многих стран сюда стекшиеся, основания вечного и ненарушимого мира!

Не успел он сказать «мир», как шумное волнение распространилось из строя в строй по всему стану. Застонали разноплеменные полки, все в равном гневе, считая промедление битвы потерей времени, думали, что вожди переговоров желали только охладить их жар и исторгнуть из рук их добычу. Мандурияне предшествовали в негодовании: полагая, что Идомений хотел вовлечь их в новые сети, неоднократно прерывали Ментора из опасения, чтобы уста его, сильные мудростью, не отклонили от них союзников. Родилось в

них наконец подозрение на всех без изъятия греков. Ментор, заметив их колебание, старался умножить недоверчивость и духом несогласия поколебать умы соединенных народов.

– Мандурияне, – говорил он, – сетуют не без причины и вправе требовать возмездия за претерпенные обиды. Но с другой стороны, было бы несправедливо, если бы греки, здесь водворившиеся, были подозреваемы и ненавидимы древними туземцами. Греки, напротив того, должны сами жить во взаимном согласии, а у других быть в уважении, но не переступать пределов умеренности и никогда не посягать на соседние земли. Идоменей был несчастлив, навлек на себя подозрение. Страх ваш легко рассеять. Телемак и я, мы оба порука, залог вам в правоте чистосердечных намерений Идоменеевых, останемся у вас до совершенного исполнения всех с вами условий. Мандурияне! – громогласно продолжал он. – Вы раздражены внезапным нашествием критян, которые, овладев переходами через порубежные горы, открыли себе тем свободный во всякое время путь в вашу землю, куда вы удалились, уступив им берег моря. Места, укрепленные бойницами и занятые критскими войсками, главная причина распри и ополчения. Скажите, имеете ли вы сверх того неудовольствия?

Тогда вождь мандурийский, став перед собранием, говорил:

– Чего мы не делали, чтобы избежать пролития крови? Боги свидетели, что мы тогда уже только оставили мирные

свои хижины, когда наглое властолюбие критян и невозможность полагаться на их клятвы отняли у нас всю надежду сохранить мир и согласие. Народ необузданный насильственно довел нас до ужаснейшей крайности обнажить меч и ценой крови купить безопасность. Пока перевалы в горах останутся в их власти, до той поры мы не перестанем бояться их замысла присвоить себе нашу землю, наложить на нас иго. Если бы они искренно желали жить с соседями в добром согласии, удовольствовались бы тем, что мы отдали им беспрекословно; не дорожили бы столько местами, открывающими им путь в чужую область, если бы виды их властолюбия не простирались на нашу свободу. Но ты не знаешь их, мудрый старец! Мы заплатили за свой опыт великими бедствиями. О муж, возлюбленный богами! Не полагай преграды справедливой и неизбежной войне, без которой Гесперия никогда не достигнет прочного мира. Народ неблагодарный, вероломный и кровожадный! Боги в гневе послали тебя смутить наши мирные дни, наказать нас за преступления. Но боги отмщения! Вы, наказав нас, обратите и на врагов наших меч правосудия.

Сказал – и все собрание всколебалось. Марс и Беллона, казалось, переходили из строя в строй, зажигая в сердцах угасавшее пламя. Ментор продолжал:

– Если бы я ограничивался одними обещаниями, слова мои вы могли бы отвергнуть. Но я представляю вам то, что несомненно, что у вас перед глазами. Если Телемакия – за-

лог для вас недостаточный, вы получите сверх того двенадцать витязей критских, отличных родом и доблестью. Но по справедливости вы должны представить взаимный залог. Идоменей, желая искренно мира, не желает его от страха, по малодушию; хочет мира, как и вы, по внушению истинной мудрости, по кроткой умеренности, а не по любви к праздной и суетной жизни и не по робкому унынию перед лицом неразлучных с войной опасностей; он готов победить или погибнуть, но предпочитает мир громким победам; вменяя себе в посрамление страх быть побежденным, он боится быть несправедливым, пав, не стыдится встать; предлагая вам мир с мечом в руке, он не мыслит предписывать вам законов с гордой властью: насильственный мир он отвергает, а ищет мира такого, который удовлетворил бы все стороны, мог бы пресечь всякую зависть, погасить всякое мщение, истребить все подозрения. Словом, Идоменей исполнен чувств, каких, без сомнения, вы сами ему желаете. Остается убедить вас в правоте его намерений, если приклоните к словам моим слух и внимание с духом спокойным и беспристрастным.

Народы, одушевленные мужеством! Вожди, славные мудростью, сильные единомыслием! Внемлите моим предложениям от лица Идоменея. Справедливость равно возбраняет ему посягать на соседние, а соседям на его земли. Он согласен вверить пути через горы со всеми укреплениями постороннему войску. Нестор! И ты, Филоктет! Вы греки, но, обнажив меч на Идоменея, не можете быть подозреваемы

в пристрастном к нему доброхотстве. Желаний ваших один предел – общий мир и свобода Гесперии. Будьте вы стражами, блюстителями мест, подавших повод к раздору и брани. Собственная ваша польза равно требует от вас оградить от мщения древних народов Гесперии Салент, юный город, подобный вашим городам, греками основанный, и положить преграду Идоменею в замыслах его на земли соседственные. Блюдите между ними равновесие и, вместо того чтобы вносить меч и огонь в сердце единокровного племени, взыщите славы быть судиями судьбы народов. Чего бы еще и желать, скажете вы, после таких условий – с уверенностью, что Идоменей исполнит их ненарушимо? Я успокою ваше сомнение.

Для взаимной безопасности обе стороны представят заложников на все то время, пока укрепления не будут отданы вам в охранение. Когда же благосостояние всей Гесперии, Салента, самого Идоменея будет в вашей власти – престанет ли тогда ваше неудовольствие? Кого еще можете вы опасаться? Разве самих себя? Вы не смеее положиться на Идоменея, а он так далек от всякой хитрости, что готов отдать вам себя в руки. Так! Он хочет вверить вам покой, жизнь, свободу народа своего и свою собственную. Если вы нелестно желаете прочного, выгодного мира – он в вашей воле, и нет вам повода воспрекословить. Не думайте, еще повторю, что эти предложения страх исторгает у Идоменея: одна мудрость и справедливость внушают ему мирные чувства без всякой заботы о том, не вмените ли вы ему доблестного

подвига в слабость. Он преткнулся, но, предлагая вам мир, находит славу в признании своего преткновения. Надеяться прикрыть свои погрешности упорной гордостью и высокомерием свойственно тщеславию, малодушию, грубому неведению собственной пользы. Признающий перед врагом свое заблуждение, готовый исправить упущенное тем самым показывает, что он уже выше заблуждения и что такая мудрость и победа над собой обратятся врагу его в пагубу, если он не взыщет мира. Страшитесь дать право Идоменею возложить взаимно на вас вину. Мир и справедливость, отвергнутые, не останутся без отмщения. Тот самый гнев богов, который угрожал Идоменею, тогда на вас обратится. Телемак и я, мы ополчимся за правое дело. Боги Олимпа и Тартара! Будьте свидетелями справедливых моих предложений!

Так говоря, Ментор поднял руку и показал союзным войскам масличную ветвь, предвестницу мира. Вожди, изумленные, ослеплялись лучезарным, божественным в очах его светом Он стоял с величием, с властью, пред которыми слабая тень – все величие смертных. Пленительная сила речи его, столь же кроткой, сколь могущественной, восхищала сердца, подобно тем волшебным глаголам, которые внезапно, в глубоком безмолвии ночи, останавливают луну и звезды на тверди небесной, смиряют разъяренное море, укрощают бури и волны, останавливают течение быстрых рек.

Посреди озлобленных народов Ментор был как некогда Вакх между тиграми, когда они, забыв свою лютость, увле-



каемые чародейственной силой нежных звуков его голоса, приходили лизать ему ноги и изъявлять покорность резвыми ласками. Рать несметная смолкла. Вожди, побежденные словом мудрого мужа, в недоумении глазами друг друга спрашивали, кто он; войска, не отводя от него взора, стояли, как пораженные, никто не смел открыть уст в ожидании, не станет ли он еще говорить, от страха проронить малейший звук его голоса; все чувствовали совершенную, не требующую дополнения истину его речи, но все хотели еще его слушать: каждое слово его входило в сердца, сердца отвечали ему любовью и доверием, все ловили и в сердцах слагали до последнего, исходившего из уст его слова.

Наконец, по долговременном молчании, поднялся шум, из строя в строй переходивший, не стропотный шум рати, волнуемой негодованием, но тихий и благовестный. Прояснились грозные лица. Раздраженные мандурияне не понимали, отчего из рук у них оружие падало. Свирепый

Фалант и его лакедемоняне, смягчившись, сами дивились в себе вдохновению кротости. Стали слышны со всех сторон воздыхания о мире. Филоктет, научившись от бедствий любви к человечеству, прослезился. Нестор в восторге от речи Менторовой, безмолвный, прижимал его к сердцу – вдруг разноплеменные войска, будто по данному знаку, воскликнули: «О мудрый старец! Ты обезоружил нас. Мир! Мир!» Нестор хотел отвечать, но вся рать, запыхав нетерпением, боясь новых затруднений, вновь единогласно воскликнула:

«Мир! Мир!» Тишина едва наконец могла восстановиться восклицанием всех военачальников: «Мир! Мир!»

Тогда Нестор, свидетель общего порыва, вместо пространного ответа кратко сказал:

– Ты видишь, Ментор, силу слова в устах добродетельного человека. Когда мудрость и добродетель говорят, страсти молчат и утихают. Вся наша вражда справедливая прелается на дружелюбие и желание прочного мира. Приемлем мир на предложенных тобой условиях.

И все вожди в знак согласия подали руки.

Ментор спешил возвратиться в Салент с вестью к Идоменею, что он мог безбоязненно выйти к союзникам. Между тем Нестор, обняв Телемака, говорил ему:

– Любезный сын героя, славного во всей Греции мудростью! Будь равен ему в мудрости, превзойди его в счастье. Известна ли тебе его участь? Воспоминание об отце твоём, которого ты живой образ, много способствовало к усмирению нашего негодования.

Фалант, каменно-твёрдое сердце, незнакомый с Улиссом, здесь пожалел и о нём, и о сыне. Вожди просили Телемака рассказать им свои похождения, как в тот самый час Ментор возвратился с Идоменеем в сопровождении молодых витязей критских.

Завидев Идоменея, союзники всколебались, вражда снова в сердцах загорелась. Мудрость в устах Ментора потушила пламя, готовое вспыхнуть.

– Что мы медлим, – говорил он, – заключить священный союз, которого свидетелями и поборниками будут всемогущие боги? Пусть снидет месть их на вероломного, кто дерзнет нарушить условия настоящего мира, и все страшные бедствия войны, проходя мимо невинных и верных народов, пусть обрушатся с проклятиями на преступного властолюбца, который презрит святые обеты; пусть он будет отвержен от людей и богов и не вкусит плода вероломства, пусть фурии выйдут из тьмы в ужаснейшем образе и зажгут в его сердце неугасимый огонь ярости и отчаяния, пусть он падет бездыханный и истлеет непогребенный, пусть труп его будет в снедь псам и воронам, а в аду, в преисподней бездне Тартара, он будет жить одними мучениями, превосходящими все страдания Иксиона, данайд и Тантала. Но мир наш да будет навсегда непоколебим, как хребет Атланта, – утверждение неба, да чтут его все племена, процветая в роды родов под его благотворной сенью, имена вождей-миротворцев да прейдут с благословениями признательной любви из уст в уста до позднего потомства, мир наш, основанный на правоте и благомыслии, да будет в грядущее время примером всемирных договоров между народами, цари и царства, когда пожелают снискать благоденствие во взаимном союзе, да последуют единодушию Гесперии.

Сказал – и немедленно Идомоней и все союзные цари произносят клятвенный обет в ненарушимом соблюдении мира на предназначенных условиях. Обе стороны представля-

ют по двенадцати витязей-заложников. Телемак добровольно идет в числе их от Идоменея. Ментора не принимают сами союзники, требуя, чтобы он оставался в Саленте и отвечал за царя и советников его в совершенном исполнении всего договора.

Сто быков и сто юниц, белых как снег, пало в жертву богам на равнине между станом и городом. Рога их позолоченные были обвиты цветами. Ужасный рев животных, закалываемых священным ножом, отзывался в окрестных горах. Кровь, дымившаяся, текла ручьями, драгоценнейшее вино расточалось на возлияния, гадатели читали будущее по внутренностям, еще трепетавшим, жрецы жгли на жертвенниках благовонные масти. Дым от них восходил облаком – и вся равнина окурилась приятнейшим благоуханием.

Воины союзной рати и Идоменея, перестав измерять друг друга враждебными взорами, начинали уже вспоминать прежние свои походы и, забывая бранный труд, предвкушали плоды вожделенного мира. Многие из них, быв под Троей с Идоменеем, узнавали старинных товарищей, находившихся там же под знаменами древнего Нестора, обнимали друг друга с новыми чувствами приязни, взаимно рассказывали про свои странствования с того времени, как ниспровергли стены великолепнейшего украшения Азии, ложились на зеленом лугу, свивали венки из цветов и запивали скорби вином, приносимым для столь счастливого дня из Салента в огромных водоносах.

Посреди общего веселья Ментор обратил речь к царям и ратоводцам.

– Пусть ваши народы, – говорил он, – под различными наименованиями и под различными вождями, будут один народ! Правосудные боги, любящие создание свое, род человеческий, сами соизволяют быть вечным союзом совершенного согласия между людьми. Род человеческий – одно семейство, по лицу земли рассеянное, народы – братья и должны любить друг друга братской любовью. Горе злочестивому, кто ищет славы в крови братьев, в родной своей крови!

Война иногда неизбежна, но эта бедственная необходимость налагает знамение стыда на род человеческий. Не говорите, что можно желать войны для славы. За пределами человеколюбия нет истинной славы. Предпочитающий славу своего имени чувствам человеколюбия – не человек, а изверг гордости, и мимолетный только звук ложной славы будет ему возмездием. Прямая слава в победе над собой и в благости. Лесть будет превозносить честолюбца, но втайне, в искренней беседе всегда скажут о нем, что он тем менее достоин славы, чем более стремится к ней путями неправды, что он не заслуживает от людей уважения; сам не дорожит людьми и льет кровь их в жертву необузданному славолобию. Счастлив царь, любящий народ свой и взаимно любимый народом, окруженный соседями-друзьями, и сам друг верный соседям, не только не страшный для них громом оружия, но подавляющий между ними семя раздора! Счастлив,

когда другие народы завидуют его подданным в том, что они под сенью его державы!

Собирайтесь для совещания, вы, владыки могущественных городов гесперийских! Учредите, по истечении каждого трехлетия, общее собрание, куда все цари, здесь присутствующие, приходили бы возобновлять союз новыми клятвами, подтверждать взаимную дружбу, рассуждать о общих нуждах и выгодах. Сильные союзом, вы не перестанете внутри прекрасной своей страны пожинать плоды мира, славы, избытка и будете непобедимы. Раздор, исчадие ада, язва рода человеческого, один может смутить благоденствие, богами вам уготовляемое.

Нестор отвечал:

– Беспрекословная наша готовность к примирению служит доказательством, как мы далеки от желания обнажать меч для суетной славы или по несправедливой алчности распространять свои пределы хищениями. Но что иное, как не меч, можно употребить против наглого соседа, для которого корысть – единственный закон, всякий случай завладеть чужим – приобретение. Не думай, Ментор, что я имею в виду Идоменея: я теперь совсем иных о нем мыслей, говорю об Адрасте, царе Ионийском, для всех нас равно опасном. Презритель богов, он считает людей только орудиями к умножению рабством их своей славы, ищет не подданных, чтобы быть им царем и отцом, а рабов и обожателей, требует, как бог, поклонения. Слепое счастье доселе благоприятствовало

ему в несправедливейших его замыслах. Мы спешили двинуть соединенные силы против Идоменея, с тем намерением, чтобы, смирив прежде слабейшего неприятеля, недавно здесь водворившегося, обратить после оружие против другого врага могущественнейшего. Адраст овладел уже многими городами союзников, победил в двух битвах кротонское войско. Нет для него недозволенного пути к цели единовластия. Насилие, обман – все равно для него, лишь бы ему сокрушить неприятеля. Он собрал богатство несметное, рать его окрепла в тяжких трудах и в строгом порядке военном, вожди его искусны и опытны, служат ему с рвением, он сам никогда не задремлет, преследуя исполнителей своей воли бодрственным оком, карает нещадно малейшие преступления, награждает щедро заслуги, – витязь мужеством, душа своей рати – был бы царь во всем совершенный, если бы честь и справедливость руководствовали его деяниями. Но он не боится ни богов, ни угрызений совести, ни во что вменяет даже доброе имя – тщетный призрак, по его мнению, страх души слабой, не знает иного блага и счастья, кроме того, чтобы иметь несчетные сокровища, распространять вокруг себя ужас, топтать род человеческий. Многочисленная рать его скоро наводнит наши области, и если общий союз не поставит преграды его замыслам, то вся наша надежда сохранить свободу исчезнет. Безопасность возлагает на Идоменея, равно как и на всех нас, обязанность обнажить меч на соседа, ненавидящего все то, что около его дышит свободно.

Если мы падем, побежденные, то Салент увидит над стенами своими ту же грозную тучу. Поспешим отразить совокупными силами общее бедствие.

Так говорил Нестор. Приближаясь к городу, Идомей пригласил всех царей и главных военачальников провести ночь под своим кровом.



## Книга двенадцатая

*Предложение союзников Идоменею принять участие в войне против Адраста.*

*Телемак с немногими критянами идет с ними в поход.*

*Ментор остается в Саленте с Идоменеем.*

*Полезные учреждения в новом царстве Идоменеевом.*

Союзные войска расположились станом в виду Салента, и обширная равнина покрылась множеством богатых и разноцветных шатров, под сенью которых утомленные сыны Гесперии покоились. Цари со своими витязями вошли в город и на первом шагу с изумлением встретили великолепные здания, сооруженные в короткое время, дивились быстрому росту и красоте юного города под собиравшейся над ним грозной тучей брани.

Удивленные разумом и неусыпной деятельностью основателя столь блистательного царства, они, по восстановлении мира, считали важным для себя приобретением, если Идоменей соединится с ними против Адраста, предложили ему вступить в общий союз. Он не мог уклониться от справедливого требования и обещал им рать вспомогательную.

Но Ментор, зная истинную основу народного благоденствия, предусматривал, что силы Идоменеевы не могли соответствовать внешнему виду, устранился с ним и говорил:

– Ты видишь, государь, что старания наши были не тщет-

ны: Салент спасен от грозы. От тебя ныне зависит вознести до звезд его славу и мудростью в правлении сравниться с Миносом, твоим прародителем. Я буду говорить с тобой одним и тем же языком чистосердечной свободы, предполагаю, что ты сам того требуешь, гнушаясь всякой лестью. В то самое время, как цари прославляли великолепие нового твоего города, я размышлял о твоей неосмотрительности.

При этом слове Идоменей вдруг изменился, лицо разгорелось, глаза запылали, из уст готово было излиться негодование. Ментор продолжал голосом почтительным и скромным, но свободным и смелым:

– Ты оскорбился моим выражением. В устах другого оно было бы дерзостью, надобно чтить государей и щадить сердце их даже и при обличении. Правда не требует колких слов, сама по себе довольно язвительная. Но я полагал, что ты дозволишь мне говорить без всякой прикрасы, показать тебе погрешность твою в истинном виде. Намерение мое было приучить тебя слышать каждой вещи свое имя, дать тебе почувствовать, что другие, предлагая советы, никогда не посмеют сказать тебе всех своих мыслей. Не хочешь быть в заблуждении, проникай, предугадывай сам неприятные тени вещей, всегда закрываемые. Я готов смягчать выражения по твоим силам, но польза твоя требует, чтобы человек бескорыстный, безвестный, сердцем вразумляемый, свободным языком втайне говорил тебе правду. Другой на то не решится, и истина всегда будет представляема тебе неполной, и то

еще подложно-блестящим покровом.

Идоменей, исполненный уже раскаяния, стыдился своего сердца, быстро к гневу.

– Вот плоды навыка к лести, – сказал он Ментору. – Я обязан тебе спасением нового своего царства, всякая истина из уст твоих – дар для меня драгоценнейший, но пожалей о царе, отравленном лестью, который не мог найти даже и в бедствиях великодушного друга, ни от кого не слышал искренней правды. Нет! Я никого не находил, кто простер бы любовь ко мне до того, чтобы даже оскорбить меня беспритворным представлением истины.

Показались в глазах его слезы умиления, и он с нежностью обнял мудрого Ментора. Тогда старец сказал ему:

– Горестно мне, что я принужден говорить тебе язвительные вещи. Но могу ли я быть предателем, скрывать от тебя истину? Поставь себя на мое место. Если ты был доселе в обмане, то сам того хотел, боясь чистосердечных советов. Искал ли ты людей бескорыстных, готовых тебе воспрекословить? Старался ли избирать таких людей, для которых угождение тебе – последняя забота, собственная польза – забытый предмет, которые смело могли осуждать твои страсти и несправедливые чувства? Удалял ли ты от них свое сердце? Нет! Ты не так поступал, как свойственно любителю истины, достойному ее света. Испытаем, будешь ли теперь иметь силу души смириться перед этим непреклонным судьей.

Я сказал, что весь труд твой, столько превозносимый, за-

служивает не хвалы, а порицания. Когда враги извне потрясали твое царство, и без того еще не устроенное, ты спешил возводить в новом городе великолепные здания. Отселе все твои скорби. Ты истощал свое богатство, не заботясь ни об умножении населения, ни о возделании земли в своей области. Надлежало, напротив того, принять за единственное твердое основание силы великое число добрых граждан и землю, прилежно возделанную к их продовольствию. Сначала нужен был мир долговременный, чтобы дать время народу умножиться. Земледелие и установление мудрых законов должны были быть первым предметом твоих попечений. Но властолюбивое тщеславие привело тебя на край бездны. Для мнимого блеска ты подрывал истинное величие. Исправь эти погрешности, останови строить огромные здания, отвергни великолепие – пышный гроб твоего юного царства. Пусть народ отдохнет в покое. Пусть каждый в изобилии забудет труд и печали супружества. Ты царь, когда будет народ в твоей области. Могущество должно измеряться не пространством земли, но числом народа покорного. Дорога земля не обширная, но плодородная, когда она населена трудолюбивым и благонравным народом и когда народ любит тебя. Тогда ты будешь могущественнее, счастливее, славнее всех завоевателей, опустошающих царства.

– Что же мне сказать на предложение союзников? – спросил Идомений. – Признать ли мне перед ними свою слабость? Я подлинно пренебрег не только земледелием, но и

торговлей, по местному положению столь для нас выгодной. Все мои мысли обращались на сооружение великолепного города. Но, любезный Ментор! Должно ли мне подвергнуть себя посрамлению, обнаружить перед всеми царями свое неразумие? Если должно – я на все готов и не поколеблюсь, чего бы то мне ни стоило. Ты показал мне, что истинный царь, живущий не для себя, а для народа, обязанный приносить всего себя в жертву народу, должен предпочитать благо царства личной своей славе.

– Такие чувства достойны отца народа, – отвечал Ментор, – и по доблести, а не по суетному великолепию твоего города я узнаю в тебе прямо царское сердце. Но ты обязан щадить свою честь для пользы царства. Я приемлю все на себя: уверю союзников, что ты обязался восставить Улисса, если он еще жив, или сына его на престоле в Итаке, изгнав оттоле врагов их вооруженной рукой. Они сами увидят, что эта война требует сильного войска, и удовольствуются на первый случай малым пособием от тебя против Адраста.

Идоменей, слушая Ментора, был подобен человеку, освободившемуся от тяжкого бремени.

– Любезный друг! – говорил он ему, – ты спасешь мою честь и славу Салента, скрыв истощение юного города. Но как сказать, что я предположил послать войско в Итаку и возвратить престол Улиссу или сыну его, когда Телемак обязался идти на войну против дониян?

– Будь спокоен, – отвечал Ментор, – я не скажу неправды.

Корабли твои, которых целью будет восстановление вашей торговли, пойдут к Эпирским берегам и принесут сугубую пользу: обратят к вашей пристани иностранных купцов, отгоняемых от Салента налогами, и соберут вести об Улиссе. Если он жив, то должен быть недалеко от морей, отделяющих Грецию от Италии: по слухам, он находился у феакиян. Но если бы наша надежда увидеть его была и тщетна, корабли твои и в таком случае окажут его сыну большую услугу: рассеют страх его имени в Итаке и во всех соседних странах, где молва давно погребла и его и Улисса. Враги дрогнут, изумленные неожиданным слухом, что он идет к ним, подкрепленный сильным союзником, Итака не дерзнет нарушить верности древним царям своим, а Пенелопа, утешенная, пребудет непреклонной к новому брачному союзу. Так ты будешь способствовать Телемаку в достижении цели его, между тем как он здесь заступит твое место в союзной рати против Адраста.

– Счастлив царь, руководимый мудрыми советами! – воскликнул Идомей. – Друг мудрый и верный для государя полезнее победоносного воинства. Но он еще стократно счастливее, когда знает цену такого дара и умеет им пользоваться! Часто мы удаляем от себя людей мудрых и добродетельных, страшных нам добродетелью, и слушаем льстецов, не страшась от них вероломства. Я сам некогда был в таком заблуждении и расскажу тебе все свои бедствия, плоды внушений ложного друга, раболепствовавшего страстям моим в

надежде воздаяния от меня ему равным раболепством.

Ментор легко уверил союзных царей, что Идоменей был обязан возложить на себя попечение о делах Телемака, между тем как он пойдет с ними в поход против общего неприятеля. С удовольствием они согласились иметь в своем войске сына Улисса и с ним сто молодых витязей, которых царь назначил ему в сопровождение – цвет знаменитого критского юношества, спутников своих в изгнании. Ментор советовал Идоменею подать их на войну.

– Надлежит стараться, – говорил он, – о умножении народа в мирное время. Но чтобы покой не ослабил духа народного и ратное искусство не было оставлено в забвении, надобно посылать отличных юношей на службу под чуждыми знаменами. Они одни, без других тягостных усилий, могут поддерживать в народе соревнование к славе, охоту к оружию, презрение лишений, трудов, самой смерти, а с тем вместе и знание ратного дела.

Союзные цари оставили Салент, довольные Идоменеем, плененные мудростью Ментора, восхищенные новым сподвижником в лице Телемака. Он, напротив того, печальный сердцем, предчувствовал всю горесть разлуки со своим другом. Между тем, как цари, уходя из Салента, повторяли Идоменею клятвы в соблюдении вечного согласия, Телемак в объятиях Ментора обливал его слезами. «Не льстит меня, – говорил он ему, – гром победы и славы: одно во мне чувство – сокрушение о разлуке с тобой. Представляется мне то

злополучное время, когда египтяне исторгнули меня из рук твоих, и я, изгнанный в пустыню, лишился надежды увидеть еще некогда единственного друга».

– Большое различие между тогдашней и нынешней нашей разлукой, – отвечал ему в утешение Ментор. – Теперь мы расстаемся по воле на короткое время, ты идешь за победными лаврами. Сын мой! Люби меня с меньшей нежностью, но с большей твердостью. Привыкай к моему отсутствию. Не навсегда я с тобой. Добродетель и мудрость, а не присутствие Ментора должны быть твоими наставницами.

Так говоря, богиня во образе Ментора приосенила сына Улиссова всемогущим эгидом и влила в него дух совета и мудрости, дух неустрашимого мужества и благости, столь редко соединяющихся.

– Иди, – сказал ему Ментор, – в величайшие опасности, когда будет в том нужда и польза. Совсем не являться на поле боевом перед войском не так еще бесславно для государя, как бегать от опасностей в битвах. Мужество вождя никогда не должно затмеваться тенью сомнения. Если жизнь главы царства нужна народу, то гораздо еще ему нужнее слава об его доблести. Помни, что вождь должен быть образцом для подвластных. Пример его – душа всего войска. Не бойся опасностей, любезный Телемак! Пади посреди битвы, но никому не дай права усомниться в своем мужестве. Лстецы первые будут молить тебя не подвергаться неизбежным опасностям. Преткнешься, вняв их советам, – они же первые



скажут о тебе втайне, что ты малодушен.

С другой стороны, не бросайся в опасности без пользы. Храбрость тогда только добродетель, когда управляется благоразумием: без того она – презрение жизни бессмысленное, зверский порыв. Пылкая и бурная храбрость – слепая отвага. Кто не владеет собой в опасностях, тот нагл, а не мужествен: надобно ему прийти в исступление, чтобы победить в себе страх, непреодолимый для него естественной силой духа. Если он не бежит с поля битвы, то, смущенный, теряет свободу души, без которой не может ни давать приличных повелений, ни пользоваться случаями, ни нанести удара врагу, ни оказать услуги отечеству. При всей храбрости, свойственной воину, нет в нем предусмотрительности, нужной военачальнику. Но он не имеет и прямой храбрости обыкновенного воина, обязанного сохранять в битве присутствие духа, чтобы удерживать порыв свой в пределах повиновения. Кто мечется в опасности по воле случая, тот нарушает ратный порядок, подает собой другим пример дерзости и нередко подвергает все войско неожиданному бедствию. Кто предпочитает мечту своей славы безопасности общего дела, тот достоин наказания, а не возмездия.

Не ищи славы с жадностью, сын мой! Верный к ней путь – спокойное ожидание благоприятного случая. Доблесть, отличная простотой в образе жизни и скромностью, – враг всякой надменности, – приобретает тем большее право на уважение. По мере того, как возрастает нужда противостать гро-

зящим опасностям, надобно находить против них и новые средства в прозорливости и мужестве: они должны всегда равняться с опасностями. Не забывай, что добродетель не велит возбуждать зависти. Не завидуй и ты никому в счастливом успехе, отдавай всем справедливость, но хвали с разборчивостью, говори о добре с удовольствием, покрывай зло снисхождением и вспоминай о нем с соболезнованием.

Не говори языком резким, решительным в присутствии военачальников, древних летами и опытностью, которой ты еще не имеешь. Внимай им с почтением, испрашивай от них наставлений, принимай советы искуснейших и не стыдись приписывать лучших своих деяний их руководству.

Не приклоняй слуха к внушениям, которых целью будет вселить в тебя зависть и подозрение на прочих вождей. Будь с ними искренен и чистосердечен, открывай им сердце в обиде, изъясняй все причины своей скорби. Почувствуют они благородное великодушие – полюбят тебя и воздадут тебе все по заслугам. Не проникнут твоих чувствований – узнаешь, по крайней мере, по собственному опыту, в чем должно сносить от них несправедливость, примешь меры к избежанию впредь всякой распри и сам не услышишь упрека от совести. Берегись более всего вверять льстецам причины своего сетования на военачальников: души крамольные, они сеют семя раздора.

Я между тем в Саленте разделю с Идоменеем труд его о благосостоянии подданных, чтобы загладить следы погреш-

ностей в устройении нового царства, в которые вовлекли его лесть и коварные советы.

Телемак изъявил удивление и даже презрение к слабости Идоменеевой.

– Тому ли ты дивишься, – отвечал ему Ментор, – что человек и достойнейший уважения – все человек, и на престоле среди бесчисленных сетей и скорбей, облегающих царский венец, сохраняет еще в себе остатки слабостей человеческих? Идоменей воспитан в пышности и гордости, но кто из мудрых на его месте мог бы оградиться от лести? Он подлинно внимал слепо коварным внушениям, но самые мудрые цари претыкаются, невзирая на всю свою бдительность против обмана. Государь не может управлять без сотрудников, которые делили бы с ним труд и заботы, были бы ему опорой, не может обнять всего собственными силами, но нередко последний из подданных знает окружающих его лучше, нежели сам он. Никто не является перед ним без личины притворства. Коварство безотходно ставит ему хитрые сети. Любезный Телемак! Придет время, когда и ты испытаешь на себе всю тягость этого жребия. Ищем в людях и не находим ни добродетели, ни дарований. Тот, кто неусыпно старается узнать умы, проникнуть сердца, ежедневно еще претывается. Тщетны все попечения об образовании даже лучших людей на полезное служение отечеству: в каждом свое упорное самолюбие, своя вражда, своя зависть, нельзя их ни убедить, ни исправить.

По мере населения надлежит иметь более или менее сотрудников для совершения дел, превосходящих силы одного человека, и чем более власть раздробляется, тем легче обмануться в избрании. Иной нещадно судит о власти, а дай власть ему в руки – он не только не будет лучше, но к осуждаемым погрешностям приложит еще стократно опаснейшие. В частном состоянии посредственный ум с даром слова прикрывает все недостатки, умножает еще внешний блеск дарований и издалека дает человеку оттенку способности ко всякому званию. Власть – жестокое испытание для дарований, она обнажает все слабости в полной их мере.

Верховный сан подобен стеклу, увеличивающему предметы. Пороки в глазах наших возрастают на той высокой ступени, где и малые дела влекут за собой важные последствия, и самые легкие преткновения сопровождаются сильными потрясениями. Весь мир, согласясь, смотрит на одного недремлющим оком и осуждает его с беспощадной строгостью. Дерзкие судьи не знают царского звания по собственному опыту, не постигают всей его тягости, хотят видеть в царе что-то выше человека, требуют от него во всем совершенства. Но государь, как бы он ни был мудр и добр, все человек. Разум и добродетель его имеют пределы, у него свои страсти, свой нрав, свои навыки, не всегда ему в равной мере покорные; он окружается людьми корыстными и хитрыми, ищет помощи и не находит: падает каждый день по влечению то собственных, то чуждых страстей, сегодня исправит по-

грешность, завтра вновь претыкается. Таков жребий самых просвещенных и доблестнейших государей!

Долговременнейшее и благотворнейшее царствование слишком кратко и недостаточно к уврачеванию болезней, привитых и неумышленно к телу гражданскому. Все эти бедствия ходят вслед за державой. Слабые силы человеческие изнемогают под столь тягостным бременем. Надлежит извинять государей и сожалеть об их доле. Не достойны ли они соболезнования, что управляют тьмами людей, которых нужды бесконечны, а доброе управление ими есть труд, неразлучный с несчетными скорбями? Вообще люди жалки, что на земле и цари такие же люди. Боги только могли бы исправить род человеческий. Но не менее жалок и царь, что он такой же человек с общими слабостями и несовершенствами, а должен управлять бесчисленным множеством, где один другого коварнее и развращеннее.

Телемак возразил с жаром:

– Идомей потерял сам от себя в Крите царство своих предков, а без тебя лишился бы и нового царства в Саленте.

– Не скрываю его погрешностей, – отвечал Ментор. – Но сыщи мне в Греции или в других образованнейших странах венценосца, который не ознаменовал себя непростительными преткновениями. У самых великих мужей в природном сложении, в свойстве ума есть недостатки, нередко ими преобладающие. Тот из них выше других, в ком столько силы души, что он видит и исправляет свои заблуждения.

Думаешь ли ты, что Улисс, отец твой, великий Улисс, пример для всех царей греческих, не имеет слабостей и недостатков? Если бы Минерва не была на каждом шагу его руководительницей, сколько раз он падал бы посреди сетей и опасностей в превратных изменах счастья? Сколько раз она подкрепляла его колебавшегося, восставляла павшего, возводя к славе по пути добродетели? Не мысли, что он будет уже выше всякого несовершенства и в то время, когда ты увидишь его в Итаке на престоле, окруженным славой: не одно и тогда еще останется в нем. Но, невзирая на слабости, Греция, Азия, все острова чтут его имя. Слабости теряются во множестве великих его добродетелей. Счастлив ты, когда так же с благоговением будешь непрестанно смотреть на отца и поучаться!

Привыкай, Телемак, ожидать от самых великих людей только того, что по силам человеческим. Юность неопытная судит о всем с дерзкой надменностью и, отвергая полезнейшие примеры, остается в неисцелимом ожесточении. Ты должен не только отца чтить и любить, невзирая на все его несовершенства, но иметь отличное уважение и к Идоменею при всех его слабостях. Он от природы искренен, прямодушен, правдолюбив, щедр, благотворен, исполнен мужества, ненавидит обман, когда знает его, и свободно следует склонности сердца. Все внешние его дарования, блистательные, соответствуют высокому сану. Простосердечие в признании заблуждений, кротость, терпение, с каким он слушает от меня са-

мые оскорбительные истины, победа над самим собой в исправлении торжественно погрешностей, победа, которой он возносится выше всей хулы человеческой, – показывают в нем прямо великую душу. Счастливый случай, совет друга могут остановить в преткновениях ум, весьма посредственный. Царя, давно упоенного лестью, одна только возвышеннейшая добродетель сильна заставить признать и исправить свое заблуждение. Восстать таким образом стократно славнее, чем никогда не падать.

Идоменей претыкался, как все почти цари претыкаются, но путем его редко кто шел к исправлению. Я не мог довольно надивиться ему каждый раз, когда он позволял мне осуждать свои предприятия. Чти его и ты, любезный Телемак! Прими мой совет не столько для славы Идоменеевой, сколько для своей собственной пользы.

Кротким наставлением Ментор хотел показать Телемаку, сколь удобно и сколь опасно быть несправедливым, порицая других, и особенно народоправителей, отягощенных трудами и скорбями, строгим языком судии непреклонного.

Потом он сказал ему:

– Время зовет тебя на ратное поле. Прощай, любезный мой Телемак! Я останусь здесь до твоего возвращения. Помни: кто боится богов, от людей тому нечего бояться. Постигнут тебя большие опасности, но знай, что Минерва всегда с тобой.

Телемак чувствовал присутствие бога, горело сердце его,

и он проразумел бы, что Минерва сама говорила с ним лицом к лицу, внушая ему упование на ее помощь, если бы богиня не напомнила ему о Менторе.

– Сын мой! – сказал старец. – Не забывай всех моих о тебе попечений с самого младенчества. Помни, сколько я трудился, чтобы ты был вторым Улиссом по сердцу и разуму. Отвергай все, недостойное столь великого примера и тех правил доблести, которые всегда я старался внушить тебе.

Солнце вставало, и горы светом оделись, когда цари возвратились к войскам. Полки тотчас двинулись из стана под предводительством начальников. Засверкали со всех сторон медь и железо на копьях, щиты блеском ослепляли глаза, пыль стлалась облаком. Идоменей и Ментор провожали царей далеко за стены Салента. Наконец они расстались, повторив изъявления взаимной искренней дружбы. Союзники не сомневались в прочном восстановлении мира, узнав благость сердца Идоменея, столь отличного от всех о нем слухов. Все прежде судили о нем не по природным его чувствам, а по несправедливым внушениям лести, им управлявшей.

По выступлению войск Идоменей показывал Ментору все части города.

– Обозрим, – говорил ему Ментор, – город и область, исчислим здесь и там все население, рассмотрим, сколько в том числе земледельцев и сколько при посредственном урожае собирается у вас хлеба, вина, масла и прочих полезных произведений. Откроется, доставляют ли ваши земли достаточ-



ное продовольствие для обитателей и может ли еще за тем оставаться излишек для выгодной торговли с другими народами. Рассмотрим также, сколько у вас кораблей и мореходцев. Тогда можно будет судить о твоей силе.

Он обозревал пристань, посещал все корабли, расспрашивал, куда каждый купеческий корабль отправлялся, какие товары отпускались и привозились, как велики были издержки мореплавания, каким образом производились ссуды между купцами, составлялись ли торговые общества, была ли основанием их справедливость, верно ли наблюдались их учреждения; наконец, какие были правила на внезапные случаи кораблекрушения и другие по торговле несчастья к предупреждению разорения купцов, нередко предпринимающих, по алчности к прибытку, дела, с силами и способами их несообразные.

Ментор полагал, что купец, объявляющий себя несостоятельным, должен быть строго наказываем, потому, что если упадок его и не подготовлен умышленным обманом, то всегда почти бывает последствием безрасчетной отваги. Он установил правила к предупреждению несчастных случаев, учредил судей, которым купцы обязаны были давать отчет в товарах, в прибытках, в расходах и в предприятиях. Воспрещалось им отваживаться на страх чужое достояние, в неверных случаях они могли жертвовать только половиною частью из собственного имущества. Дела, для совершения которых скудны были частные способы, предпринимались об-

ществами. Правила обществ наблюдались непоколебимо по строгости наказаний за нарушение. Предоставлялась, впрочем, торговле полная свобода, не только она не стеснялась налогами, но еще назначены были награды купцам за открытие новой отрасли торгова с иноземцами.

И скоро корабли стали со всех сторон приходиться к берегу Салентскому. Торговля уподоблялась приливу и отливу моря. Товары следовали за товарами, как волны катятся одна за другой. Все свободно привозилось и отпускалось, все привозимое было полезно, все отпускаемое заменялось новым отечественным произведением. Нелицеприятное правосудие царствовало в пристани посреди разноплеменных народов. Правота, искренность, добрая вера с высоты башен великолепных созывали купцов из отдаленнейших стран на всеобщее торжище в Саленте. С берегов ли востока они приходили, где солнце вседневно выходит из влажной пучины, или с берегов того великого моря, где утомленное дневным течением солнце погружает лучезарное лицо в воды, каждый жил мирно и безопасно в Саленте, как под родным кровом.

Внутри города Ментор осматривал все лавки с товарами, заведения художников, рынки и площади, запретил иностранные товары, требуемые для неги и роскоши, определил пищу, одеяние, утварь, обширность, убранство домов для всех состояний, возбрал украшения серебряные и золотые, и в заключение сказал Идоменею:

– Сильнейшее и единственное средство обратиться поддан-

ных к умеренности в иждивении – пример твой. Некоторый внешний блеск тебе нужен, но, окруженный телохранителями и государственными чинами, ты будешь иметь уже довольно явное отличие власти. Пусть одеяние твое будет из самых тонких рун багряного цвета. Первые сановники пусть носят такие же тонкие ткани, только с различием в цвете и в легком золотом вокруг одежды шитье, которое одному тебе должно быть предоставлено. По цветам одежды могут различаться все состояния. Не нужны для того ни серебро, ни золото, ни драгоценные камни. Состояния распредели по старшинству рода.

Возведи на первую степень роды древнейшие и знаменитейшие. Облеченные властью по личным достоинствам без ропота станут за родами, знатными древностью и как бы уже наследственным правом на первые почести. Беспрекословно уступят им место люди не столь отличного рода, если только ты не дозволишь им забываться в быстром возвышении счастья и будешь отдавать справедливость умеренности, скромной в благополучии. Зависть спокойнее смотрит на то отличие, которое издревле переходит от поколения к поколению.

Дух доблести, дух рвения к службе отечеству приобретут довольно могущественное ободрение, когда установишь в возмездие за отличные подвиги венки, изваяния, и когда они будут для потомков путем прехождения к степени высшей.

Все свободные люди разделятся на семь состояний, каж-

дому состоянию присвоится приличная одежда, а первым и знаки отличия. Рабы все вообще могут носить одинаковую одежду<sup>13</sup>.

Таким образом, каждому по состоянию дастся недорогое отличие, и все художества, изобретения и слуги роскоши, будут изгнаны. Трудящиеся в этой пагубной промышленности могут быть обращены или к другим необходимым искусствам, которых мало, или к торговле и земледелию. Никогда не должно терпеть изменения в качестве тканей и в покрое одежды. Людям, призванным к жизни разумной и деятельной, стыдно забавляться изобретением нарядов и даже позволять женщинам такую слабость, для них, впрочем, прости-тельнейшую.

Так Ментор, подобно искусному садовнику, отсекающе-му от плодовых деревьев бесполезные ветви, старался истребить в Саленте роскошь, портившую нравы, восстанавливал благородную и воздержную простоту жизни, учредил даже пищу для граждан и для рабов.

– Позорно, – говорил он, – людям, возведенным на высшие степени чести, ставить величие в чревоугодии, которо-

---

<sup>13</sup> Это место сокращено против подлинника, которого перевод есть следующий: «Первое по тебе состояние может носить одеяние белое с золотой внизу бахромой, на руке золотой перстень, на шее золотой же знак с твоим изображением, второе – одеяние синее с серебряной бахромой и перстень, но без знака, третье – зеленое одеяние без бахромы и без перстня, а с серебряным на шее знаком с твоим изображением, четвертое – одеяние желтое, пятое – алое, шестое – голубое, седьмое – чернь, желтое с белым. Вот одеяние для семи состояний свободных людей. Рабы все вообще должны носить одеяние серого цвета».

го плод – скорое истощение телесных сил и изнеможение духа. Они должны находить счастье в умеренности, во власти добро творить ближнему, в славе, снискиваемой благими делами. Трезвость услаждает самую простую пищу и с непоколебимым здоровьем дарует чистые и постоянные удовольствия. Употребляйте в снедь, – продолжал он, – самые лучшие вещи, но без сластолюбивой приправы. Искусство, возбуждающее алчбу сверх меры и истинной нужды, яд для человека.

Идоменей признал свое заблуждение, что, оставляя в забвении законы Миносовы о трезвости, открыл путь роскоши и расслаблению нравов. Мудрый Ментор напомнил ему, что законы, если и восстановлены будут, не принесут ожидаемой пользы, когда пример царя не будет предшествовать им с той властью, которой никогда не могут они получить от иного источника. Немедленно Идоменей ограничил свой стол известным положением, и стой поры он состоял из превосходного хлеба, из вина весьма приятного, но не иностранного, и то в малом количестве, вообще из простых яств, какие греки употребляли под Троей. Никто не дерзнул возроптать на закон, которому сам царь прежде всех покорился. Пример его воздержал всех от любимой расточительности и утонченных прихотей в яствах.

Потом Ментор запретил томную и любострастную музыку, – любимое уже занятие юношества. С не меньшей строгостью он возбранил буйные клики и празднества в честь Вак-

ха, которые, затмевая рассудок не хуже вина, заключаются бесстыдством и исступлением; музыку предоставил он только для прославления в храмах, в торжественные дни, богов и героев, бессмертных изящными доблестями.

Великолепные украшения зодчества, столбы, преддверия он равным образом предназначил только для храмов. В устройении частных домов принял за главное правило простоту, сохранение чистоты и порядка, здоровье, покой, приятность, умеренность в иждивении на содержание<sup>14</sup>. Излишняя обширность и дорогое убранство домов воспрещалось.

По данным от него соответственно с нуждами семейств чертежам одна часть города выстроилась красиво и правильно с малыми жертвованиями. Другая, уже оконченная с прихотливой пышностью, уступала ей в красоте и удобствах при всем блеске великолепия. И новый город возрос в короткое время. С берегов соседственной Греции призваны искусные зодчие, а из Эпира и других мест каменщики, плотники и другие мастера.

Живопись и ваение Ментор считал художествами, достойными ободрения, но полагал, что упражняться в них надле-

---

<sup>14</sup> Это место сокращено против подлинника, которого перевод есть следующий: «Он составил чертежи, расположенные приятно и просто, для построения на малом пространстве веселого и покойного дома для большого семейства, так, чтобы дома стояли на здоровых местах, помещения внутри были одно от другого особо, чистота и порядок удобно в них наблюдались, содержание стоило мало. Во всяком доме известной величины он положил одну общую пространную горницу и переход с помещениями для всех членов семейства».

жало позволять в Саленте немногим. Он основал училище, где художники со вкусом изящным наставляли и испытывали юных воспитанников.

– В свободных художествах, – говорил он, – не должно быть ничего низкого, ни даже посредственного. Надлежит потому избирать к ним таких только юношей, которых превосходные дарования подают отличную надежду, которых дух стремится к совершенству. Других природа назначила к низшим художествам, и они могут быть обращаемы с пользой на обыкновенные в общежитии надобности. Ваяние и живопись, – говорил он, – должны единственно сохранять память великих мужей и великих деяний, на общественных только зданиях и надгробных памятниках передавать потомству изображения заслуг, оказанных отечеству с особенной доблестью.

Но строгая умеренность не возбранила ему позволить огромные здания для ристания на конях и в колесницах, для единоборства и разных других упражнений, посредством которых тело возрастает в силе и крепости.

Исключил он из звания купцов всех тех людей, которые торговали разноцветными иностранными тканями, шитьем многоценным, золотыми и серебряными сосудами с изображением на них богов, людей и животных, наконец, разными благовонными водами, предписал также, чтобы все убранство в домах было просто и прочно. И салентинцы, явно роптавшие на скудость, скоро почувствовали бремя излиш-

него, мнимого богатства. Богатство суетное иссосало их достояние, и они, по мере мужественной твердости в отвержении роскоши, начали неложно обогащаться; сами тогда говорили, что презрение к богатству, истощающему царство, и ограничение желаний истинными нуждами природы – прямое обогащение.

Ментор осматривал также все запасы и хранилища оружия, чтобы удостовериться в числе и исправности военных снарядов.

– Чтобы избежать войны, – говорил он, – надобно быть готовым к войне во всякое время.

Нашел он везде и во всем недостаток. Немедленно были собраны художники, искусные в делании железа, стали и меди. Дым и огонь выходили из горнов, как из подземной хляби Этны, в виде бурного облака. Железо стонало под непрерывными ударами молота, гром раздавался в окрестных горах и по всему берегу моря, как на том острове, где Вулкан, ободряя циклопов, кует перуны для Громодержца. Таким образом мудрая прозорливость приготавлила все к войне посреди глубокого мира.

Потом Ментор, оставив город, осматривал область Идоменею. Пространные и хлебородные земли лежали впусе, изредка только показывались следы плуга, и то небрежные. Нерадение и бедность земледельцев, малочисленных и при слабости телесной унылых, не могли способствовать усовершенствованию земледелия. Ментор, обзрев печальную пу-



стыню, сказал Идоменею:

– Земля здесь готова обогащать, но некого. Переселим сюда из города излишних художников, от которых там нельзя ожидать ничего доброго. Пусть они здесь возделывают долины и холмы. Жаль, что они, быв воспитаны в ремеслах, требующих жизни сидячей, не привыкли к сельским трудам, но мы и тут не без помощи. Разделим между ними праздные земли, и в пособие им, для исправления самых тягостных работ, призовем иноземцев. Они охотно примут на себя эту обязанность, если с возделанной их трудами земли значится им в награду приличная доля произведений. Впоследствии они могут получить в собственность участки полей, сопричислятся к твоим подданным и умножат столь еще малое население в твоей области. С покорностью законам, с любовью к труду, они будут у тебя лучшими подданными и возвеличат твое могущество. Художники, водворясь на полях, воспитают детей своих также в трудах земледелия и приучат их к сельскому образу жизни. Наконец, иностранные каменщики, употребляемые для построения города, обязались разработать часть ваших земель и остаться у вас навсегда земледельцами. Сопричисли и их к своему народу по сооружении всех в городе зданий. Они с радостью согласятся жить и умереть под кроткой державой. Сильные, трудолюбивые, они будут полезным примером и для художников, с которыми вместе водворятся на праздных полях, и скоро семейства, цветущие крепостью сил, ревностные в

земледелии, рассеются по всей твоей области.

К умножению народа не нужны, впрочем, особенные усилия. Он возрастет числом в короткое время, когда отнимутся препятствия к браку. И самый простой к тому способ: все почти люди от природы склонны к супружеству, удерживает их от того бедность. Не обременяй подданных налогами, и они будут жить с детьми и женами в довольстве. Земля никогда не бывает неблагодарной, она всегда дает пищу тому, кто прилежно возделывает ее, и только тот ничего не получает из житницы этой общей матери, кто боится вверить ей пот лица своего. Чем многочисленнее семейство земледельца, тем он богаче, когда власть не потрясает его благоденствия. Дети – помощники его с самого младенчества. Тот еще в отрочестве, а гоняет уже овец на тучные пажити, старший ходит за стадом волов, взрослый вместе с отцом пашет землю. Между тем мать с семьей готовит простую, некупленную пищу к тому времени, как муж и милые дети ее, утомленные дневным трудом, собираются под кров родной хижины, доит коров и овец, – молоко льется ручьями, выносит сыр и плоды, сбереженные во всей красе, словно только лишь сорванные, разводит огонь, – и невинное, мирное семейство вокруг него, ожидая сладкого сна, поет и веселится до позднего вечера.

Пастух со свирелью приходит под кровлю отцовскую и играет семье новые песни, в соседней хижине слышанные. Земледелец идет с поля за плугом, и вол, утруженный, свесив задумчивую голову, ступает медленным шагом, не внем-

ля грозным ударам. С днем вся тягость труда оканчивается. Сон, разливая по воле богов свои чары на лице земли, услаждает мрачные скорби. Вся природа, околдованная, дремлет, и каждый засыпает без всякой заботы о том, что утро породит.

Как счастливы люди, чуждые властолюбия, коварства, подозрений, когда боги даруют им доброго царя, невозмутимо хранящего их мирную радость! И какая ужасная лютость – исторгать из рук их для гордых и честолюбивых предприятий даяния щедрой природы, благословенную жатву, потом лица их омытую! Природа всегда имеет в неистощимых своих недрах обильный запас для умеренных и трудолюбивых обитателей, хотя бы число их было, как песок на краю моря: гордость и роскошь немногих одевают тысячи в печальные рубища.

– Но что делать, – спросил Идомений, – когда народ, водворяясь на плодородных полях, пренебрежет земледелием?

– Не следуй общему правилу, – отвечал Ментор. – Слепая и алчная власть налагает дань за данью на подданных, отличных деятельностью и разумом в стяжании, основывая свой расчет на надежде получить от них удобнее все взыскиваемое. В то же время оказывается снисхождение нищим от лени. Отвергни такое вредное правило. Оно есть несправедливое бремя для добрых, возмездие пороку, пища небрежности, равно пагубной для царя и для царства. Установи, напротив того, взыскания, пени и даже, если нужно, строжай-

шие наказания на не радящих о своем поле, поступай с ними как с воинами, оставляющими свое место в сражении. Определи, с другой стороны, награждения, льготы семействам, в числе возрастающим. Усугубляй награды по мере успехов их в земледелии. Народ таким образом скоро умножится, и труд делается любимым, даже почтенным для всех упражнением. Звание земледельца, неутесняемое, нестраждущее, не будет презрено. Те самые руки победоносные, которые сегодня обнажают меч за отечество, завтра с такой же честью будут рассекать плугом землю. Также славно будет возделывать достояние предков в счастливом мире, как и защищать его мужественно в бурю военную. Расцветут холмы и доли. Церера увенчается золотыми колосьями. Вакх, истоптав тучные гроздья, польет с гор струями вино, нектара приятнейшее. Успышатся в долинах клики веселья. Пастухи по берегам светлых источников соединят песни со звуками свирелей, между тем, как резвые стада, не боясь волков, будут пастись по лугам, усеянными цветами.

О Идомей! Не будешь ли ты стократно счастлив, когда сделаешься источником благоденствия для своих подданных и когда многочисленный народ почиет под сенью твоего имени в вождеденном спокойствии? Такая слава не утешительнее ли той бедственной славы, которая устиляет путь свой фобами и посреди самого грома побед наполняет не одни побежденные страны, но и родную землю, кровью, смятением, страхом, унынием, страданиями, ужасами неумолимого

голода, отчаянием?

Счастлив тот царь, который столько богами любим, столько душой велик, что захочет быть таким образом утехой подданных и завещать по себе миру в отраду прекрасную картину славного кротостью царствования! Народы не только не восстанут против его власти, но низложат к ногам его смиренные моления, да царствует от края до края земли.

– Но если народ, – возразил Идомений, – долго останется в мире посреди изобилия, самое благоденствие восколеблет умы, он обратит на меня же силы, мной вскормленные.

– Не бойся, – отвечал Ментор, – такой ложной тенью льстецы устрашают царей расточительных, обременяющих народ свой налогами. Легко предупредить зло. Усыновляемые нами законы о земледелии приучат к труду твоих подданных. Посреди избытка они будут иметь только нужное, когда устранятся художества, питающие излишнюю роскошь. Избыток даже умалится, когда брак и довольство умножат семейства. Каждое семейство, многочисленное, по нужде будет возделывать свой малый участок земли с неусыпным трудом. Роскошь и праздность рождают дух мятежа и неистовства. Народ твой будет иметь хлеб, и в изобилии, но только хлеб и плоды, в поте лица приобретенные.

Чтобы удержать народ в пределах умеренности, надобно начать с того, чтобы назначить участки земли в собственность каждому семейству. Мы разделили народ на семь состояний: во всяком состоянии каждое семейство по чис-

ду свежему должно получить столько земли, сколько нужно для продовольствия. При ненарушимом соблюдении этого правила богатый не будет распространять владения во вред неимущего, земля будет у всех, но у каждого будет малый участок, и всякой станет пещись о усовершенствии земледелия. Если бы впоследствии времени здесь оказался недостаток в земле, то могут быть заведены в иных местах поселения, которые возвеличат еще силу твоего царства.

Сверх того я полагал бы, что вино никогда не должно быть обыкновенным общим напитком в твоей области. Истребляйте виноградные лозы, когда они слишком размножатся. Вино – источник зол величайших: от него болезни, распри, возмущения, праздность, уклонение от труда, раздоры семейные. Пусть оно бережется у вас как врачевство или как редкость для торжественных дней и для жертвоприношений. Но не льсти себя тщетной надеждой: не будет наблюдаться столь важное правило, если ты сам не покажешь примера.

Наконец, законы Миносовы о воспитании юношества должны быть свято исполняемы. Надлежит устроить общественные училища, где страх к богам, любовь к отечеству, благоговение к законам, предпочтение истинной чести всем удовольствиям, самой жизни – должны быть основанием всего учения.

Избери старейшин для надзора за семейным бытом и нравами. Бодрствуй и сам ты, царь и пастырь народа, призванный пещись денно и нощно о стаде! Бдительностью преду-

предидь и обуздаешь много неустро́йств и злодеяний. Преступления, которых не можешь предварить, немедленно и строго наказывай. Прямая милость – пример, останавливающий зло в самом начале его распространения. Каплей крови, пролитой правосудно и благовременно, можно сберечь реки крови и быть народу в страх, не обнажая часто меча правосудия.

Но какое ненавистное правило считать угнетение народа единственным щитом безопасности, оставлять его во мраке невежества, устранять от пути к добродетели, не дорожить его любовью и жезлом грозного страха доводить его до отчаяния, до ужаснейшей необходимости подавить в себе всю надежду свободно дышать или свергнуть с себя иго мучительной власти. Такими ли средствами утверждается безмятежное царствование? Такой ли путь ведет к славе?

Помни, что самовластнейшее правление есть правление самое слабое. Там все для одного, один все возводит и все сокрушает. Но зато царство страждет, земля, невозделанная, зарастает диким терном, города пустеют, торговля упадет. Царь, великий силой подданных, именован только царь, без народа, сам истаивает при нечувствительном истаивании подданных, источников его богатства и силы. Область его истощается в людях: потеря величайшая и невозвратная! Подданные его, все рабы самовластия, осыпают его лестью, лицемерно поклоняются ему, трепещут его манования. Но пусть поколеблется счастье – страшная власть, возшедшая на верх

наглого насилия, вдруг потрясается, не находит ни опоры, ни убежища в сердце народа, ожесточенные члены утомленного тела давно уже воздыхают о низвержении ига: от первого удара кумир падает и, попранный, сокрушается. Страх, недоверчивость, месть, презрение, злоба, – все страсти в союзе против столь ненавистного владычества, и тот, кому в благополучии никто никогда не смел сказать правды, в несчастье также никого не находит, кто захотел бы быть его заступником посреди общей хулы и осуждения.

Идоменей, убежденный в истинных основаниях блага народного, немедленно приступил к разделу праздных земель, к водворению на них бесполезных художников и к исполнению всего предначертанного, оставив часть полей каменщикам, которые должны были обратиться к земледелию по окончании всех работ в городе.



# Часть вторая

## Книга тринадцатая

*Рассказ Идоменея о любимце его Протезилае.*

*Филоклес, другой его любимец, жертва коварства.*

Уже слава о кротком и мирном правлении Идоменеевом созывает со всех сторон в Салент иноземцев, все спешат сопричислиться к его народу и искать благоденствия под сенью вожделенной державы.

Поля, дотоле покрытые дикими тернами и тунеядными растениями, обещают богатую жатву и плоды, прежде неведомые. Земля, послушная плугу, раскрыв свои недра, готовит возмездие за труд хлебопашцу. Надежда воскресает в светлой ризе веселья. В долинах и на холмах овцы скачут по тучной траве. Стада волов и юниц оглашают громким ревом высокие горы. Стада служили к удобрению полей. Мен-тор нашел средство снабдить скотом Салентскую область. По совету его Идоменей отдал певкетам, соседнему народу, за скот, нужный его подданным, излишние, из Салента изгоняемые вещи.

Город и села окрестные наполнились юношами, цветущими здоровьем и красотой. В унылой бедности долго истаивая, они не смели подумать о браке, боялись приложить к

бедствиям новое бедствие. Но когда увидели в Идомеене чело­веколюбивое сердце и желание быть им отцом, то забыли и голод, и прочие казни, которыми небо карает землю. Ско­ро везде стали слышны брачные песни пастухов и земледель­цев, всюду веселые клики. Казалось, что Пан, сатиры и фав­ны под звуки цевниц<sup>15</sup> плясали с нимфами в роскоши про­хладных теней. Все было мирно, все веселилось, но радость не выходила из пределов умеренности, удовольствия после труда служили отдохновением и оттого были еще непороч­нее и сладостнее.

Ветхие старцы, изумленные свидетели событий, которых не ожидали в преклонности века, плакали от удовольствия и умиления, воздевали к небу немощные руки и восклицали:

– О великий Юпитер! Благослови царя, подобного тебе благостью, дар твой нам драгоценнейший. Он живет для бла­га рода человеческого, воздай ему за наше благоденствие. Поздние потомки, плоды браков, им покровительствуемых, будут обязаны ему всем, самой жизнью: он истинный отец своих подданных.

Каждая чета изъявляла радость хвалой виновнику столь благотворной перемены. Имя его было у каждого на устах, а еще более у каждого в сердце. Все алкали увидеть его очи и содрогались от одной мысли о его смерти. Кончина его была бы началом горестных слез в каждом семействе.

Признался царь тогда Ментору, что никогда еще не знал и

---

<sup>15</sup> Цевница (*стар, церк.*) – свирель, сопель, дудка, сопелка. – *Прим. изд.*

не чувствовал, как сладко удовольствие делать добро и быть любимым.

– Едва я верю глазам своим, – говорил он, – едва верю сердцу. Я полагал, что все величие царей состоит в грозной силе страха и что для них создан весь род человеческий. Все, что я ни слышал о государях, бывших утехой подданных, представлялось мне баснословным преданием. Теперь вижу истину. Но я должен рассказать тебе, как мое сердце с самых юных лет отравлено превратным образом мыслей о царской власти, отселе все мои бедствия.

И начал он следующую повесть:

– Из всех молодых людей особенно я любил Протезилая. Несколько старше меня, но со нравом пылким и смелым, он был мне по сердцу, делил со мной все потехи, лелеял все мои страсти, и наконец возбудил во мне подозрение на другого молодого человека, любимца же моего, Филоклеса. Филоклес, исполненный страха божия, с великой, но кроткой душой, находил величие не в силе и власти, но в победе над собой и в правилах истинной чести. Он свободно открывал мне все мои слабости, а когда не смел говорить, то довольно было его молчания и прискорбного вида, чтобы показать мне его осуждение. Сначала такая искренность была мне приятна. Часто я с клятвой обещал Филоклесу внимать его советам до самого гроба и ограждаться ими от лести. Он внушал мне, как я должен был идти по стопам Миноса, моего пра-родителя, и как мог устроить счастье народа. Не было в нем

глубокой твоей мудрости, Ментор, но основанием всех его правил, ныне вижу, была добродетель! Хитрость завистливого и властолюбивого Протезилая незаметно охладила во мне привязанность к Филоклесу. Он, чуждый искательства, не заслонял его видов и ограничивался представлением мне истины каждый раз, когда я хотел его слушать, он ничего не искал для себя, а имел в виду только мою пользу.

Протезилай постепенно уверил меня, что Филоклес нрава надменного, мрачного, что он осуждал все мое поведение, ничего не просил у меня от гордости, ни в чем не хотел быть мне обязан, желая тем купить себе славу презрителя достоинств и почестей, присовокуплял к тому, что он, открывая свободно мне мои слабости, разглашал их и другим, языком столь же свободным, явно обнаруживал свое ко мне неуважение и, унижая меня в общем мнении, старался ослепить глаза толпы блеском непоколебимой добродетели и проложить себе путь к престолу.

Сперва не мог я поверить, чтобы Филоклес имел такой умысел. В истинной добродетели есть правота и незлобие, которые невозможно подделать и в которых внимательное око редко обманывается. Но Филоклес начинал уже утомлять меня непреклонностью. С другой стороны, Протезилай, угодник, на все готовый, неистощимый изобретатель всегда новых для меня удовольствий, заставлял меня тем самым еще более чувствовать тягость строгого нрава.

Он не мог без огорчения видеть, что я не верил слепо его

наветам на соперника, решился молчать и другим средством, сильнейшим всякого слова, принудить меня внять его наущениям. Достигнул он своей цели таким образом: советовал мне вверить Филоклесу начальство над морским ополчением против карпатов. «Ты знаешь, – говорил он мне, – можно ли подозревать меня в пристрастии, когда я хвалю Филоклеса. Нельзя отнять у него ни воинских дарований, ни мужества. Он лучше всякого исполнит это важное поручение. Где речь идет о пользе твоей службы, там я забываю личное неудовольствие».

Вверив Протезилаю все управление, я восхищался такой в нем честностью и правотой, обнял его с восторгом радости, считал себя стократно счастливым, что отдал сердце человеку, столь чуждому всякой страсти и всякой корысти. Но как жалки государи! Протезилай знал меня лучше, нежели я сам себя, знал, что цари обыкновенно недоверчивы и празднолюбивы: недоверчивы по ежедневным опытам коварства клеветов, их окружающих, празднолюбивы по любви к удовольствиям и по привычке мыслить чужим умом, не утруждая собственного, заключил, что когда отсутствие соперника оставит открытый путь его хитрости, потому легко ему будет возбудить во мне зависть и подозрение на человека, который не укоснит ознаменовать себя великими подвигами.

Филоклес предвидел все, что ожидало его. «Не забудь, – говорил он мне при разлуке, – что я уже не буду иметь средства защищаться. Ты будешь слышать один только голос –

врага моего, и мне в возмездие за всю мою службу, за жертву тебе жизнью, может быть, предстоит твое негодование». «Ты в заблуждении, – отвечал я Филоклесу. – Протезилай говорит о тебе совсем другое, хвалит тебя, уважает, считает достойным самого важного звания. Иначе он лишился бы моего доверия. Не бойся и служи верно». Он отправился и оставил меня в странном положении.

Я в полной мере чувствовал нужду в советах, находил, что преданность одному и для дел, и для чести моей была пагубна, на опыте видел, что мудрые советы Филоклесовы спасали меня от многих опасных преткновений, до которых доводила надменность Протезилаева, руками осязал в Филоклесе бескорыстную честность и правоту души, которых и тени не видел в Протезилае. Но Протезилай говорил уже со мной резким, властительным голосом, которому я почти не мог прекословить. Тяжко мне стало находиться между двух лиц, ни в чем не согласных, и я часто, в утомлении, по слабости оставлял дела на волю случая, чтобы сколько-нибудь подышать на свободе, не смел назвать сам себе такого позорного малодушия, сам боялся увидеть в себе постыдную тайну, но она владела уже моим сердцем, была единственным побуждением всех моих действий.

Филоклес внезапно напал на неприятеля, одержал блистательную победу и надеялся скорым возвращением предварить коварные умыслы. Но Протезилай, не успев еще заманить меня в сети, объявил ему волю мою, чтобы он, пользу-

ьясь победой, овладел Карпатией, и подлинно уверил меня, что легко покорить этот остров моему имени, а между тем не дал Филоклесу никаких способов для нового предприятия и разными повелениями так связал ему руки, что тот встречал на каждом шагу препятствия.

В то же время он действовал посредством другого, также ко мне приближенного изменника, по имени Тимократ, который не спускал с меня глаз и давал во всем отчет Протезилаю, невзирая на то, что они никогда не ладили, были, по видимому, даже в ссоре.

Однажды Тимократ сказал мне под глубокой тайной, что он открыл опаснейший умысел. «Филоклес, – говорил он, – пользуясь вверенными ему силами, хочет провозгласить себя царем Карпатского острова. Начальники ему преданы, расточительностью и особенно гибельным снисхождением к своеволию он купил себе любовь всего войска и возгордился победой. Вот письмо к одному из друзей от будущего царя Карпатского – при таком очевидном доказательстве нет места сомнению».

И подлинно, письмо было писано Филоклесом: так мне показалось, так искусно крамольники подделались под его руку! Удивленный и вместе встревоженный, я читал письмо и перечитывал, не веря глазам своим, вспоминая в смущенных мыслях все опыты верности и бескорыстие давнего друга. Но что было делать? Могли я отвергнуть его же свидетельство собственноручное?

Тимократ, видя, что я уже не мог сопротивляться коварству, простер его далее. «Осмелюсь ли я, – сказал он мне робким голосом, – обратить твоё внимание на одно слово в письме Филоклесовом? Он говорит другу, что может откровенно объясниться с Протезилаем о каком-то предмете, означенном цифрой. По всем вероятностям, Протезилай в заговоре с Филоклесом, они примирились на твою пагубу. Помнишь ли ты, как он убеждал тебя послать Филоклеса против карпатов? С того времени он не только не осуждает, но хвалит, оправдывает его при всяком случае, под конец они были в приязни: без сомнения, согласились разделить между собой землю Карпатскую. Сам знаешь, что по настоянию Протезилая поход открыт против всех правил. Ему что до того, что твои корабли и войска погибнут, лишь бы он достиг своей цели? Думаешь ли ты, что он захотел бы помогать Филоклесу в гордых его видах, если бы они были в прежнем раздоре? Не может быть сомнения в том, что они оба ищут власти, может быть, даже и на развалинах твоего трона. Открывая тебе тайну, я предвижу, что буду жертвой мщения, если они останутся в силе и после этого искреннего моего донесения, но что до того? Лишь бы я сказал тебе истину».

Последние слова его произвели на меня глубокое впечатление. Не сомневаясь уже в предательстве со стороны Филоклеса, я боялся Протезилая как друга его и сообщника в кознях. Тимократ между тем непрестанно твердил мне, что если Филоклес овладеет Карпатией, то уже поздно будет от-



ражать его умыслы. «Не медли, – говорил он мне, – предвари опасность, пока еще есть к тому способ». С ужасом я смотрел на темное в людях притворство и не знал, кому себя вверить; видя изменника даже в лице Филоклеса, я отчаялся найти на земле человека, на которого мог бы положиться, решился одному предателю заплатить смертью за вероломство, но опасался другого, не знал, что делать с Протезилаем: равно боялся обнаружить его преступление и остаться в его сетях.

Невольно, наконец, в смущении духа, я открыл ему свои подозрения на Филоклеса. Изумленный, он описывал мне правоту его сердца и кротость, превозносил его заслуги, словом, утвердил меня в мысли, что он его соумышленник!.. С другой стороны, Тимократ не упускал ни одного мгновения, изъяснял мне тайну их связи, молил меня предупредить совершение умысла скорой казнью Филоклеса. Видишь, любезный Ментор, как несчастны государи, игралище тех самых клеветов, которые трепещут у ног их!

Тайно от всех я отправил Тимократа с повелением умертвить Филоклеса и гордился этой мерой как плодом тонких соображений, неожиданным и для Протезилая ударом. Он со своей стороны довел личину до совершенства, обманывал меня тем удачнее, чем незлобивее сам представлялся обманутым.

Тимократ нашел Филоклеса в большом затруднении от совершенного во всем недостатка. Протезилай, не совсем уверенный в том, могло ли подложное письмо одно решить его

гибель, в то же время подготавливал другой к тому способ – неудачу в предприятии, которое прежде описывал мне блестящими красками и которое в противном случае не преминуло бы обратить гнев мой на полководца.

Филоклес заменял все недостатки в столь трудной войне дарованиями, любовью к нему войска и мужеством. Все до последнего воина знали и видели, что безрассудный поход был пагубен критянам, но не щадили ни труда, ни усилий, как будто бы каждого жизнь, каждого счастье зависели от успеха в безрассудном предприятии, готовы были идти в огонь с лицом бодрым под знаменами мудрого военачальника, столь дорого ценившего любовь подчиненных.

Тимократ подвергся явной опасности, посягая на жизнь вождя посреди войска, страстно ему преданного. Но необузданное властолюбие слепо. Он не видел преграды на пути к своей цели – угодить Протезилаю и по смерти Филоклеса властвовать вместе с ним надо мной. Протезилай не мог спокойно смотреть на властолюбивого человека, которого один взгляд был упреком ему в злодеяниях и который, открыв мне глаза, мог разрушить все его оковы.

Тимократ склонил на свою сторону двух сановников, безотлучно находившихся при Филоклесе, обещал им от меня большие награды и потом сказал Филоклесу, что прислан от меня с тайными повелениями, но должен объявить ему их не иначе как в присутствии тех двух сановников. Он остался один с ними и с Тимократом. Вдруг Тимократ ударил его

кинжалом. Кинжал, соскользнув, не нанес ему раны. С духом спокойным Филоклес вырвал оружие из рук у него и обратился на злодеев, закричал: прибежали, открыли дверь, освободили его из рук злоумышленников, слабых уже от страха. Они схвачены и тут же были бы растерзаны – до того дошло ожесточение воинов! – если бы Филоклес не укротил раздраженных. Потом он призвал к себе и с кротостью спрашивал Тимократа, что заставило его решиться на такое злодейство. Боясь казни, Тимократ показал ему письменное мое повеление лишить его жизни. Предатели всегда робки и малодушны: он старался уже только спасти себя и раскрыл Филоклесу все козни Протезилаевы.

С ужасом видя в людях столь черную злобу, Филоклес принял самые кроткие меры: объявил перед всем войском Тимократа невинным и, оградив его от всякой опасности, отпустил обратно, начальство сдал Полимену, которого я в том же собственноручном своем повелении назначил его преемником, молил войско пребыть мне покорным и верным, а сам на малом, скромном судне ночью отправился в Самос. Там он живет теперь мирно, в уединении, в бедности, добывая себе пропитание трудами рук своих – ваянием – и не желая даже слышать о людях несправедливых и вероломных, а особенно о царях, которых почитает несчастнейшими и ослепленнейшими из смертных.

Ментор остановил здесь Идоменея.

– Долго ли ты, – говорил он ему, – не усматривал такого

сплетения злобы?

– Мало-помалу я разгадал тайну коварства, – отвечал Идоменей. – Тимократ поспорил с Протезилаем: злодеи ненадолго в согласии, раздор их наконец показал мне всю бездну, в которую они меня ввергнули.

– И ты не решился тотчас изгнать их? – сказал Ментор.

– Любезный друг! – отвечал ему Идоменей. – Неужели тебе неизвестна вся слабость царей, вся их нерешимость? Вверив себя развратным и дерзким людям, искусным делаться нужными, они напрасно потом воздыхают о свободе. Кто в глазах их презреннее всех, того они и осыпают мимо всех других почестями и милостью. Я ненавидел Протезилая, а между тем оставлял в его руках всю силу власти. Странное ослепление! Я тешил себя мыслью, что знал его, а не имел крепости духа взять от него бразды правления. Мне с ним было покойно: угодник заботливый и неусыпный, он ласкал мои страсти, готов был идти для меня в огонь и в воду. Сверх всего того я находил в себе повод оправдывать свою слабость: никогда не знал, что есть истинная добродетель, никогда не умел избирать к делам честных людей и потому заключал, что их совсем нет на земле и что честность – вымышленный призрак. Стоит ли труда, – думал я, – освободиться из рук одного злодея с громом и шумом, чтобы попасть потом в сети другого, который не будет ни бескорыстнее, ни искреннее первого?

Между тем корабли мои под предводительством Полиме-

на возвратились. О завоевании острова Карпатского перестал я и думать, но Протезилай при всем своем темном лицемерии не мог скрыть от меня тайной досады, что Филоклес ускользнул из его сети.

Ментор спросил Идоменея, оставил ли он правление дел по-прежнему в руках Протезилая после столь явного предательства?

– Труд был мне в тягость до такой степени, – отвечал Идоменей, – что я по празднوليбию остался, как был. Надлежало мне переменить весь прежний порядок, покой свой нарушить, лицо новое ввести в управление: предприятие, которое превосходило все мои силы. Я предпочел закрыть глаза, не видеть козней Протезилая. Одно мне утешение было – показывать по временам своим приближенным, что для меня вероломство его не тайна. Таким образом, зная обман, я воображал себе, что не совсем еще обманут, иногда давал даже почувствовать Протезилаю, что иго его для меня нестерпимо, находил удовольствие в частом ему противоречии, порицал явно поступки его, решал дела наперекор его мнению. Но он, свидетель моей надменности и празднوليбия, равнодушно смотрел на все мое негодование и упорно возвращался к своим замыслам то с убедительной настойчивостью, то с уклончивой преданностью и хитрыми внушениями, особенно же всякий раз, когда примечал во мне неудовольствие, не щадил ни труда, ни искусства, чтобы доставить мне новое увеселение, новую пищу моим слабостям, или старался

вовлечь меня в такое дело, где мог иметь случай сделаться нужным и выставить свою ревность к моей славе.

Я был уже на страже против Протезилая, но он всегда успевал усыпить меня лестью, знал все мои тайны, успокаивал меня в скорбях, в трепет всех приводил моим именем. Я не мог с ним расстаться, но, оставив его в силе, я тем самым заградил к себе путь всем добродетельным людям, всякому благому желанию открыть мне глаза. И с той поры свободная искренность замолкла в моих советах, отступила от меня истина, и заблуждение, предтеча падения престолов, покарало меня за жертву, принесенную в лице Филоклеса жестокому властолюбию Протезилая. После этого страшного примера люди, даже известнейшие усердием ко мне и к отечеству, не считали уже обязанностью выводить меня из обмана.

Сам я боялся, любезный Ментор, чтобы истина не рассеяла облака и не дошла до меня сквозь толпу ласкателей! Не имея уже силы следовать истине, я не мог сносить ее света, чувствовал, что она лишь возбуждала бы во мне мучительные угрызения, а не избавила бы меня от бедственного рабства. Усыпление мое и власть, которую Протезилай постепенно взял надо мной, ввергали меня в отчаяние, не оставляя мне и надежды оказаться еще когда-нибудь на свободе. Я не хотел ни сам видеть, ни другим показать столь позорного состояния. Ты знаешь, в каком духе высокомерия и тщеславия цари воспитываются: всегда и во всем они правы, одну погрешность заслоняют тысячью погрешностей и вместо

того, чтобы признать заблуждение и обратиться на путь правый, остаются на всю жизнь в заблуждении. Таков жребий слабых и празднолюбивых царей. В таком положении и я находился перед войной Троянской.

Оставляя Крит, я вверил Протезилаю все управление. Он властвовал без меня с недоступной гордостью и бесчеловечием. Царство стонало под его игом, но никто не смел известить меня о вопле народном: все знали, что я боялся увидеть истину и обрекал в жертву мстительной жестокости наперсника всех, кто решался порицать его поведение. Но чем сильнее страх подавлял общий ропот, тем более зло возрастало. Протезилай принудил меня изгнать Мериона, знаменитого мужеством, снискавшего под Троей отличную славу: он завидовал ему, равно как и всем, кого я любил и в ком еще оставалась искра добродетели.

Отселе все мои бедствия. Не смерть сына моего, а месть богов, оскорбленных моими слабостями, и ненависть ко мне народа, ожесточенного Протезилаем, подвигнули критян к возмущению. Когда я пролил кровь сына, мера общего терпения, утомленного жестокой властью, исполнилась, и последнее мое ужасное действие было только знаком, по которому вспыхнул огонь, в сердцах давно уже тлевший.

Тимократ был со мной под Троей и втайне передавал Протезилаю все свои наблюдения. Я чувствовал плен свой, но старался заглушить это чувство, отчаявшись освободиться. Когда критяне по возвращении моем возмутились, они оба

прежде всех ударились в бегство – без сомнения, навсегда и невозвратно, если бы тогда и я не был принужден искать спасения в бегстве. Люди, наглые в благополучии, всегда робки и малодушны в несчастьи, теряются, когда их власть исчезает, сколько прежде возносились, столько потом пресмыкаются, мгновенно переходят из крайности в крайность.

– Но как ты еще держишь при себе столько уже известных тебе злодеев? – сказал Ментор Идоменею. – Не дивлюсь я, что они пошли за тобой в изгнание, не оставалось им ничего лучшего, отдаю даже справедливость твоему великодушию, что ты дал им кров в новом своем поселении. Но к чему та же к ним преданность после бедственных опытов?

– Не знаешь ты, – отвечал Идоменей, – как бесполезны все опыты для усыпленных царей, живущих без размышления. Они всем недовольны, но не имеют силы души приступить к преобразованию. Привычка, выросшая вместе со мной, приковала меня к наперсникам железной цепью, а они безотходно крепили еще ее лестью. Со времени водворения моего здесь они внушили мне разорительную роскошь, иссосали область при самом ее рождении и вовлекли меня в войну, которая без вас довершила бы мою гибель – скоро в Саленте я испытал бы те же несчастья, которые постигли меня на Крите. Но, наконец, ты открыл мне глаза и вдохнул мужество сбросить иго рабства. Не постигаю, что случилось со мной, но чувствую, что со времени твоего здесь пребывания я совсем другой человек.



Потом Ментор спрашивал Идоменея, как Протезилай поступал при новом образе правления.

– Ничто не может сравниться с его хитростью по прибытии вашем, – отвечал Идоменей. – Сначала он всеми средствами старался посеять во мне подозрение. Сам не говорил мне ни слова, но не тот, так другой предварял меня, что вы, чужеземцы, опасные люди: один, говорили, сын коварного Улисса, другой – человек с тайными и темными замыслами, привыкли скитаться по царствам; кто знает, нет ли и против нас у них козней? Сами тщеславятся своим произведением – смутами везде, где ни показывались: наше царство, едва только возникшее, неустроенное, может пасть от малейшего потрясения.

Протезилай, безмолвный при разглашениях, старался издалека показать мне ненадобность и опасные следствия предпринимаемого преобразования, поколебать меня уважениями собственной моей пользы, говоря мне: «Народ в изобилии перестанет трудиться, родятся мечтания, непокорность, покушения сложить с себя иго. Слабость и бедность – единственные средства держать народ в смиренном повиновении и предварять всякое сопротивление власти». По временам он хотел оглушить меня прежним своим голосом единовластия под личиной усердия к моей службе. «Желая облегчить народные тягости, – говорил он мне, – ты унижаешь тем царское достоинство, а народу наносишь неисцелимую рану. Ярем нужен ему для собственной его безопасности».

Можно и без того, – отвечал я, – удержать народ в пределах обязанностей любовью, сохранением власти во всей ее силе и при облегчении подданных, нелицеприятной казнью виновных, добрым воспитанием юношества, строгими учреждениями к соблюдению простоты в нравах, любви к труду, умеренности. Неужели нет способа покорить сердца, не моря людей голодом? Мало ли народов, благоденствующих под кротким правлением и верных царям своим?

Смуты рождаются от властолюбия и строптивости сильных, когда своеволие их не обуздано и страсти не знают пределов, от великого числа людей, живущих в праздности, неге и роскоши в высоких и низких сословиях, от непомерного умножения войск, людей, алчущих войны и презирающих полезный труд мирного времени, от отчаяния страждущего народа, от жестокости, надменности и усыпления верховной власти, дремлющей без всякой заботы о том, чтобы бдительностью предвредить болезни в теле гражданском. Отселе крамольные смуты, а не от хлеба, которым земледелец питается в мире, омыв его прежде потом лица своего.

Увидев непоколебимость мою в таком образе мыслей, Протезилай пошел совсем иной дорогой: стал следовать правилам, которых не мог ниспровергнуть, находил их превосходными, как будто внезапно убежденный в их пользе, благодарный мне за открытие истины, он теперь предвредает все мои желанья к облегчению бедных, первый говорит о их нуждах, вопиет против роскоши, тебя превозносит, испол-

ненный доверия, готовый на все, тебе угодное. Тимократ между тем отстал от него, сильный сам по себе и оттого новый соперник Протезилаю. Смотря на их распри, я открыл их вероломство.

Ментор с улыбкой сказал Идоменею:

– И ты дошел до такой слабости, что допускал столько лет терзать себя двум явным предателям!

– Не знаешь ты, – отвечал Идоменей, – всей силы и власти коварных клеветов над слабым и усыпленным царем, когда он вверит им все управление. Впрочем, я уже сказал тебе, что Протезилай теперь способствует твоим намерениям к общему благу.

Ментор продолжал:

– Слишком ясно я вижу, с каким преобладанием злодей у престола гнетет добродетельного: ты сам – пример этой бедственной истины. Но между тем, как ты говоришь, что я показал тебе Протезилая в прямом его виде, глаза твои еще сомкнуты, раз ты оставляешь власть в руках человека, недостойного жизни. Злодей не совсем не сроден к добру. Добро и зло равны для него, лишь бы ему тем или другим путем достичь своей цели. Злодейство потеха его, ни чувство благодати, ни правила добродетели не останавливают его в замыслах, но он готов и добро творить по растлению сердца, чтобы прослыть благолюбивым, и толпу ослепить ложным блеском.

Чужд ему всякий подвиг добродетели, хотя бы он и оттенял ею свои злодеяния, но он может искусно прилагать ко

всем прочим порокам еще самый ужасный – лицемерие. Пока ты будешь идти по правой стезе твердыми стопами, Протезилай, чтобы сохранить власть и силу, будет тебе усердным сотрудником. Но лишь только завидит в тебе хотя легкое колебание сердца, истощит все способы заманить тебя в прежние сети, и нрав его, коварный и лютый, тогда вновь разозлится в полной свободе. Можешь ли ты жить спокойно, без упреков совести, преследуемый непрестанно крамольником, между тем как мудрый и верный Филоклес бедствует на чужой стороне, опозоренный?

Ты видишь, Идоменей, как легко хитрые и наглые люди, предстая перед лицом слабодушных царей, увлекают их в свои сети. Присовокупи к тому другое, для царей не менее важное несчастье – скорое забвение доблестей и заслуг человека отсутствующего. В толпе, неотступно их окружающей, никто и ничто не производит на них сильного впечатления, внимание их останавливается только на том, что на глазах и что им по сердцу: все прочее скоро забывается. В добродетели особенно для них мало приятности. Она не льстит им, не во всем с ними согласна, осуждает еще их слабости. Можно ли дивиться, что они не любимы, когда сами так мало дорожат любовью подданных, а любят только блеск величия или забавы.

## Книга четырнадцатая

*Изгнание Протезилая и сообщника его Тимократа.*

*Возвращение Филоклеса.*

Идоменей сам понял, что долг его был, изгнав Протезилая и Тимократа, возвратить Филоклеса. Оставалась одна преграда – строгость правил Филоклесовых.

– Признаюсь, – говорил царь, – что, невзирая на всю мою к нему любовь и уважение, возвращение его несколько меня устрашает. Я привык с самых нежных лет к похвалам, к раболепству, к рвению отгадывать все мои мысли: ничего того не могу ожидать я от Филоклеса. Каждый раз, когда он не одобрял моих действий, на прискорбном его лице я читал осуждение. Наедине он был со мной почтителен, скромнен, но холоден.

– Не видишь ли ты, – отвечал ему Ментор, – что в глазах царей, отравленных лестью, все то холодно, угрюмо, что свободно и чистосердечно. Они даже воображают, что в том нет ни усердия к службе, ни любви к престолу, в ком не рабская душа и кто не рукоплещет им в несправедливейшем злоупотреблении власти. Во всяком слове свободном и великодушном они видят надменность, злословие, крамолу, доходят до такой неги в сердце, что все то для них дерзко и оскорбительно, что не подделано лестью. Но положим, что Филоклес и подлинно холодного, сурового нрава: суровость

его не лучше ли пагубного раболепства твоих советников? Где ты найдешь человека без слабостей? А слабость говорить смело тебе правду не есть ли слабость для тебя безопаснейшая, необходимая к исправлению всех твоих слабостей и к уврачеванию древней твоей болезни – отвращения к истине, порожденного в тебе лестью. Тебе нужен человек, который любил бы тебя и истину без всяких видов корысти, самого тебя превзошел бы искренней к тебе любовью, говорил бы тебе правду против твоей воли, преследовал бы тебя в сокровеннейших изгибах сердца, и такой необходимый человек – Филоклес.

Стократно счастлив тот царь, под державой которого родится хоть один человек с такой силой духа – драгоценнейший в венце его камень! И величайшее от богов наказание царю, когда он делается недостойным такого дара, не умеет им пользоваться – и он отъемлется!

Надобно уметь познавать слабости благолюбивых людей, но не переставать затем обращать их на службу отечеству. Исправляй их в преткновениях, не предавайся слепо их рвению, часто неосмотрительному, но внимай им с благоволением, уважай их добродетель, покажи, что ты можешь находить, отличать ее и во мраке безвестности, особенно опасайся следовать прежнему своему правилу. Цари, омраченные лестью, в душе презирая порочных людей, тем ограничиваются, вверяя им между тем дела и тайны, осыпая их милостями. С другой стороны, они гордятся прозорливостью в

познании добрых и честных людей, но к ним, и то изредка, едва доходят одни пустые звуки похвал: они не смеют ни поручить им управления, ни допустить их в свое общество, ни простереть к ним руки благотворной.

Тогда Идоменей устыдился и, воссетовав, что давно не избавил угнетенной невинности и не наказал вероломных льстецов, решился без пререкания изгнать наперсника. Стоит только возбудить в царе подозрение на любимца, нужно только, чтобы он стал ему в тягость – утомленный и окованный, он готов купить свободу всякой жертвой, дружба исчезает, заслуги забыты, низвержение наперсника подписывается легко и скоро, лишь бы уже на глазах его не было.

Немедленно царь велел втайне Эгезиппу, одному из главных царедворцев, взять Протезилая и, Тимократа под стражу, препроводить на остров Самос и там их оставить, а Филоклеса возвратить из заточения. Изумленный столь неожиданным повелением, Эгезипп заплакал от радости. «Теперь ты утетиши своих подданных, – сказал он Идоменею. – Эти два человека – причина всех твоих бедствий и всех страданий народа. Двадцать лет добродетельные стонут под их игом и даже стенать перестали от страха: до того дошло бесчеловечное их самовластие! Преследуют каждого, кто вознамерится дойти до тебя не чрез них, а иной дорогой».

Потом он открыл Идоменею великое сепление предательств и жестокостей, содеянных ими во мраке, дотоле ему неизвестных: никто не смел обвинять сильных злодеев; ука-

зал даже следы тайного умысла их на жизнь Ментора. Слыша все это, царь содрогнулся от ужаса.

Эгезипп не замедлил взять Протезилая под стражу. Дом его был не столь обширен, как царский дворец, но гораздо удобнее и красивее – в изящнейшем вкусе, с великолепными украшениями, омытыми кровью несчастных. Под мраморным сводом, на мягком ложе, покрытом багряной, золотом шитой тканью, он тогда лежал в сладкой неге с утомленным от труда видом, в притворном изнеможении. Беспокойство в очах, на челе написаны были мрачные, зловещие помыслы. Знатнейшие вельможи сидели вокруг него на богатых коврах, повторяя всякое движение его лица на своих лицах и наблюдая каждый миг его с подобострастием. Не выходило еще из уст его слово, а уже все изъясляли громогласным восклицанием удивление его мудростью. Один из первых собеседников исчислял перед ним все труды, для царя им подъемные, с преувеличением, смеха достойным. Другой уверял, что Юпитер в образе чуждом таинственно даровал ему жизнь и что он от крови отца богов. Стихотворец пел ему похвальную песнь, изъясняя, что он, вдохновенный музами, в творениях ума стал наряду с Аполлоном. Другой с большим еще бесстыдством и наглостью прославлял выпранный дар его в изобретении изящных художеств и сердце отеческое в любви к народу, процветающему под сенью его мудрого правления.

Протезилай слушал все похвалы с холодным, бесчув-



ственным видом пренебрежения, как человек, уверенный в праве на хвалу, стократно отличнейшую, и дозволением приносить себе жертву являющий великую милость. Один из льстецов, собравшись с духом, шепнул ему на ухо острое слово насчет вводимого Ментором преобразования. Протезилай улыбнулся – и все собрание захохотало, хотя никто не мог ни знать, ни слышать сказанного слова. Вскоре он принял прежний свой вид, надменный и грозный – и все с трепетом смолкли. Многие из знатных с нетерпением ждали, чтобы он обратил на них взор и внимание, на лицах их написаны были страх и томление духа: они пришли просить его о покровительстве, глубокое их унижение за них говорило, они стояли с таким благоговейным смирением, с каким мать, простершись у жертвенника, молит богов об исцелении единородного сына. С лицом светлым, довольным все были, по видимому, исполнены любви и удивления к Протезилаю, но в сердце у каждого кипела непримиримая ненависть.

В тот самый час Эгезипп неожиданно входит, берет у него меч и именем царя объявляет, что имеет повеление отвезти его на Самос. Вдруг вся гордость превознесенного любимца обрушилась, как сверху крутой горы, оторвавшись, падает камень. В страхе, в отчаянии он повергается к ногам Эгезиппа, рыдает, цепенеет, трясется, шепчет невнятные речи, прильнув к коленам человека, которого за час перед тем не достаивал взгляда. Свидетели невозвратного его падения, все обожатели его переменили раболепнейшую лесть на бес-

пощадные ругательства.

Эгезипп не предоставил ему ни отрады проститься с семейством, ни времени скрыть тайные бумаги: все у него отобрано и представлено царю. Тимократ, взятый в то же время под стражу, обеспамятел от изумления: под щитом распри с Протезилаем он не ожидал равной с ним участи. Между тем корабль стоял уже у берега, они отправились и скоро прибыли на место изгнания. Эгезипп оставляет там несчастных и, чтобы исполнить меру их злополучия, оставляет их вместе. С яростью в сердце они укоряют друг друга злодеяниями, ископавшими под ними пропасть, без всякой надежды возвратиться в отечество, – обреченные жить в разлуке с детьми и женами, но не с друзьями: друзей у них не было, – покинутые на чужой стороне, где после всех прохлад роскоши и сладостей жизни принуждены были снискивать насущный хлеб в поте лица, – готовые взаимно терзать друг друга, как лютые звери.

Между тем Эгезипп узнал место жительства Филоклеса – в пещере у подошвы горы, вдали от города. С удивлением говорили о нем, что он никого не опечалил во все время пребывания на острове, что нельзя было без умиления смотреть на его терпение, спокойствие и трудолюбие, что, ничего не имея, он был всегда доволен, что, устраненный от дел, при всех недостатках, без всякой власти, он находил средства благодетельствовать достойным, что тысяча у него способов делать добро соседям.

Пещеру Эгезипп нашел отворенной и никого в ней не встретил. В простоте нравов и бедности Филоклесу не для чего было запирать дверь своей хижины. Он спал на тростнике, никогда не варил себе пищи, даже огонь разводил изредка, летом питался свежими плодами, а зимой сухими смоквами и финиками. Светлый ручей, падая сверху утеса, прозрачными струями утолял его жажду. В пещере были только нужные для ваяния орудия и несколько книг, в чтении которых в известные часы он упражнялся не для того, чтобы обогатить свои ум новыми сведениями или удовлетворить любопытству, но чтобы в минуты отдохновения от труда найти в мудрых наставлениях пищу для сердца и научиться добродетели. Ваянием он подкреплял телесные силы, отгонял скуку праздности и приобретал все необходимое к жизни, не требуя от чуждой руки помощи.

Эгезипп с удивлением осматривал в пещере начатые работы: встретил Юпитера, на челе которого, светлом и радостном, блистало величие, свойственное отцу богов и людей. С другой стороны стоял Марс с видом гордым, суровым и грозным. Но всего привлекательнее была Минерва, ободряющая художества. На лице ее написаны были благородство и кротость, осанка была свободна и мужественна, жизнь была в камне, богиня, казалось, сходила с места.

Обозрев изваяния и оставив пещеру, он завидел вдали Филоклеса с книгой в руке на траве, под кровом ветвистого дерева, и пошел к нему. Филоклес не знал, что подумать о

неожиданном явлении. «Не Эгезиппа ли я вижу, – говорил он сам себе, – древнего друга и собеседника? Но зачем приходиться ему на остров, столь отдаленный? Не тень ли его разве по смерти является мне с берега Стикса?»

Еще он находился в недоумении, когда Эгезипп подошел к нему так уже близко, что он узнал и поспешил прижать его к сердцу. «Тебя ли я вижу, любезный, старинный друг! – говорил он. – Счастливый ли случай привел тебя, или буря занесла к здешнему берегу? Зачем ты покинул отечество? Или и ты, так же, как я, опальный изгнанник из родины?»

«Приводит меня сюда не опала, а небесная благодать», – отвечал Эгезипп и описал ему долговременное жестокое самовластие Протезилая, козни его и Тимократа, бедствия, в которые они ввергли Идоменея, падение и бегство его в Гесперию, основание Салента, прибытие туда Ментора и Телемака, мудрые правила, внушенные Ментором Идоменею, низвержение предателей. «Они здесь, – присовокупил он, – и осуждены испить твою чашу в заточении». Наконец, объявил ему повеление возвратиться в Салент, где царь, узнав его невинность, желал вверить ему управление делами и осыпать его благоволением.

– Видишь ли ты эту пещеру, – отвечал ему Филоклес, – убежище диких зверей, а не обитель для человека? Под кровом ее столько лет я наслаждаюсь такими удовольствиями и тишиной, каких совсем не знал на Крите в великолепных чертогах. Люди здесь не обманывают меня, удаленный от их

сообщества, я не слышу коварных и ядовитых бесед, нет мне в людях и нужды. Привыкшие к труду руки легко доставляют мне дневное пропитание, видишь, много ли мне надобно для прикрытия тела? Забыв, что есть нужда, проводя дни в покое и сладкой свободе, которой книги, исполненные мудрости, учат меня пользоваться, чего я пойду искать между людьми завистливыми, превратными, хитрыми? Нет, любезный Эгезипп! Не возмущай моего мирного счастья. Протезилай вероломством против царя и кознями на пагубу мне сам ископал себе яму, а мне не сделал зла, оказал мне, напротив того, величайшую услугу, избавив меня от рабского бремени дел и всего их смутного шума. Ему я обязан драгоценным уединением и всеми невинными удовольствиями.

Возвратись к Идоменею, любезный Эгезипп! Помогай ему нести бедственное иго величия, заставь его своим усердием забыть Филоклеса, и когда глаза его после столь долгого ослепления прозрели и увидели истину, то пусть он блюдет при себе того мудрого мужа, который наконец открыл ему очи и которого ты называешь Ментором. Мне ли, после крушения, оставлять пристань, куда занесла меня счастливая буря, и вновь пускаться в то же неверное море? О, как жалки государи! Исполнители воли их не менее достойны соболезнования. Злы они: страждет от них род человеческий, и какие мучения ждут их во мраке подземного Тартара? Влаголюбивы: сколько преград предстоит им на добром пути? Сколько сетей вокруг них расставлено? Сколько им скорбей?

Любезный Эгезипп! Оставь меня в счастливой моей бедности.

Так он говорил с растроганными чувствами. Эгезипп между тем смотрел на него с удивлением. На Крите под бременем дел государственных он изнемогал, увядал и таял, нрав его, пылкий и строгий, снедал в трудах его силы, он не мог без негодования смотреть на порок ненаказанный, в порядке управления искал совершенства, никогда и нигде не находимого, служба отечеству таким образом изнуряла его слабое здоровье. Но на Самосе оно возвратилось к нему в полном цвете мужественной крепости, юность обновилась на лице его под сединами, жизнь трезвая, тихая, с трудом постоянным, преобразовала его сложение.

– Ты дивишься такой во мне перемене, – с улыбкой сказал Филоклес Эгезиппу. – Крепостью сил и совершенным здоровьем я обязан уединению. Враги подарили мне то, чего я не мог бы сыскать среди величайшего богатства и славы. Хочешь ли ты, чтобы я, покинув истинное благо, пошел гоняться за тенью, низринулся в прежние бедствия? Уступи Протезилаю в жестокосердии, по крайней мере, не завидуй моему счастью, дару его.

Напрасно Эгезипп представлял ему все то, чем надеялся поколебать его сердце, говорил ему: «Будешь ли ты бесчувствен кудовольствию увидеть ближних, друзей, сокрушенных доселе твоим изгнанием, ныне счастливых уже одной мыслию о твоём возвращении? Со страхом к богам, с любо-

вью к обязанностям, можешь ли ты ни во что вменять служение, содействие царю своему в совершении всех его добрых намерений, – подвиг, которого плодом будет благоденствие народа? Позволено ли нам предаваться отшельническому любомудрию, предпочитать себя всему роду человеческому, собственным покоем дорожить более чем счастьем сограждан? Не избежишь ты и упрека, что из одного мщенья не захотел возвратиться к Идоменею, между тем как он был врагом твоим по неведению, карал не Филоклеса, друга истины, добродетельного, не укоризненного, но под его именем совсем другого. Теперь, когда он увидел в тебе не иного, а того же Филоклеса, все чувства прежней к тебе любви и дружбы воскресли в его сердце, он сгорает нетерпением, считает дни и часы, простирает к тебе руки, ждет в свои объятия древнего друга. Будешь ли ты непреклонен к мольбе царя и вернейших друзей своих?»

Растроганный неожиданным свиданием с Эгезиппом, Филоклес вновь принял вид глубокомысленный. Как у моря камень спокойно встречает порывы яростных вихрей и волны, со стоном от него обратно катящиеся, так он был непоколебим, и ни моления, ни убеждения не проникали в его душу. Но в тот самый час, когда Эгезипп начинал уже отчаиваться в победе, Филоклес, воззвав к богам, уверился по полету птиц, по внутренностям жертв и по другим предзнаменованиям, что надлежало ему отправиться с Эгезиппом.

Покорился он тогда мановению свыше, но не без сокру-

шения о пустынном уединении, где протекло столько лет его жизни. «Должно ли мне, – говорил он, – оставить тебя, любимая пещера, тихое мое убежище, где сладкий сон покоил меня каждую ночь после дневных трудов и где Парки сопридали мне, нищему, золотую нить мирной жизни?» Зарыдал он и, пав на колена, благословлял наяду, которая светлыми струями утоляла его жажду, и нимф, обитавших на окрестных горах. Эхо услышало и унылым голосом возвестило всем сельским божествам его сетование.

Потом он, сопровождаемый Эгезиппом, прибыл в город, полагая, что Протезилай, посрамленный и озлобленный, не захочет его видеть, но ошибся. Злодеи бесстыдны, готовы всегда пресмыкаться. Филоклес, кроткий сердцем, старался избежать встречи с несчастным, боялся растравить его рану, показав ему торжество врага, возносимого на развалинах его величия. Но Протезилай неотступно ходил по пятам его, хотел приклонить его сердце на жалость и испросить у царя дозволение возвратиться в Салент. Филоклес, прямодушный и искренний, не обещал ему в этом ходатайства, предвидев лучше других пагубные следствия его возвращения, но принял его благосклонно, изъявил ему соболезнование, старался утешить его в горести, советовал ему умиловать богов непорочной жизнью и твердым терпением в бедствии. Узнав, что все имение, приобретенное неправдами, у него отобрали, он обещал ему, во-первых, призреть его жену и детей, оставшихся в Саленте жертвами бедности и общего негодо-



вания, во-вторых, доставлять ему пособие на содержание в месте изгнания; обещания, которые свято исполнил.

Попутный ветер между тем заиграл парусами, и море заговорило. Эгезипп спешит в путь с Филоклесом, корабль выходит из гавани, Протезилай видит врага торжествующего и, прикованный к берегу, стоит с неподвижными очами, следя взором за кораблем, как он бежит от него по морю, – вот скрылся, но и незримый, он у него пред глазами. В порыве горести, в свирепстве и отчаянии несчастный рвет на себе волосы, падает наземь, богов укоряет в жестокости, молит смерть прекратить его терзание. Глухая к мольбе, она тешится его страданиями, которых он сам не может прервать по малодушию.

Корабль, под кровом Нептуна ветрами чтимый, скоро прибыл к Салентскому берегу. По первой вести о подходе его к пристани, царь, сопровождаемый Ментором, поспешил навстречу Филоклесу, обнял его с нежностью, но и с сокрушением о несправедливом его гонении: признание, которое все считали в государе не слабостью, а подвигом великой души, возносящейся выше заблуждения твердостью в исправлении погрешностей, и плакали от радости, видя возвращение добродетельного мужа, исполненного любви к народу, и слыша из уст царя слова мудрости и благодати.

Приемля знаки царского благоволения с почтением и кротостью, Филоклес нетерпеливо желал удалиться от оваций народных, пошел за царем во дворец. Ментор и он до того

никогда друг друга не видели, здесь с первого шага стали искренними друзьями, как будто всю жизнь провели неразлучно. Боги, ослепляя злых, так, что те, и видя, не видят добродетельных, даруют добродетельным разум познавать единомышленных. Сердце сердцу весть подает. Сам дух добродетели соединяет любящих ее союзом согласия.

Филоклес недолго оставался при дворе, испросил у царя дозволение поселиться возле Салента, в месте уединенном, где так же, как и в Самосе, жил просто и скромно. Идоменей и Ментор посещали его почти ежедневно в пустынном жилище, рассуждали с ним об утверждении законов на незыблемых основаниях и о прочном образовании правления ко благу народа.

Два было главных предмета их совещаний: воспитание юношества и занятия в мирное время.

– Дети, – говорил Ментор, – принадлежат не столько родителям, сколько отечеству: они дети народа, надежда и сила его. Поздно исправлять в них запущенные пороки, не довольно и того, чтобы удалять недостойных от службы общественной: лучше предварять, нежели быть в необходимости карать зло. Царь, отец народа, еще более отец юношества, которое цвет государства. Плод от цвета. Царь потому обязан и сам, и посредством других недреманно пещись о воспитании юношества. Надобно соблюдать ненарушимо законы Миносовы, предписывающие воспитывать детей в равнодушии к страданиям и к самой смерти. Презрение богат-

ства и роскоши со всеми ее наслаждениями пусть будет для них подвигом чести, несправедливость, ложь, нега, неблагодарность – позорными пятнами бесславия. Пусть они поют с самых нежных лет хвалы героям, возлюбленным богами и ознаменовавшим ревность к отечеству доблестью в битвах, жертвами великодушия. Пусть волшебные звуки лиры, пленяя душу, говоря сердцу, внушают им непорочность кротких и чистых нравов. Пусть они учатся быть нежными друзьями, верными союзниками, справедливыми даже и против лютейших врагов. Казни, смерть пусть будут для них менее страшны, чем малейший упрек совести. Начинайте благовременно насаждать в них такие чувства, пусть открывает им путь в сердца сладостная сила лиры и пения. В немногих тогда не возгорится любовь к славе и добродетели.

Весьма важным предметом Ментор считал учреждение общественных училищ, где юноши могли бы окрепнуть в самых тяжких телесных упражнениях, не вкусив ни неги, ни праздности – язвы, пагубной и для блестящих дарований; признавал нужными многообразные игры и зрелища, посредством которых можно было бы дать духу народному доброе направление, а телу живость, гибкость и крепость, предназначал награды к возбуждению соревнования, но первой основой благонравия считал брак в юных летах, полагая, что выбор жены по сердцу, приятной умом и наружностью, родители должны оставлять детям на волю без всяких корыстных расчетов.

Посреди размышлений о средствах сохранить в юношестве чистоту нравов, непорочность, любовь к труду, покорность законам, рвение к славе Филоклес, воин в сердце, сказал Ментору:

– Все эти правила и упражнения принесут мало пользы, если наше юношество, вечно в мире, завянет, не испытав ни опасностей ратного поля, ни нужды изведать свое мужество. Мало-помалу народ ослабеет, дух доблести погаснет, роскошь произведет растление нравов. Другие воинственные народы без труда покорят народ слабый, и за желание избежать бедствий, неразлучных с войной, в возмездие он должен будет принять узы всегда ужасного рабства.

– Бедствия войны, – отвечал Ментор, – всего ужаснее. Война истощает, сосет государство, и нередко оно клонится к падению в то самое время, как гром побед раздается. С каким бы успехом война ни была начата, никто не может быть уверен в том, что окончит ее без превратностей, часто плачевнейших. С каким бы превосходством сил вы ни выступили на поле брани, маловажная погрешность, внезапный ужас, ничтожный случай могут из рук у вас вырвать победу и лавры отдать неприятелю. Но пусть победа и неотступно следует за вашими знаменами, как послушная пленница, вы, истребляя врагов, истребляете сами себя, народ у вас уменьшается, земля остается невозделанной, поля в запустении, торговля упадает, к довершению зол, полезнейшие законы колеблются, нравы портятся, юноши презирают учение, нужда

велит смотреть сквозь пальцы на пагубное своеволие в войске, правосудие, внутреннее благоустройство, все изменяется в смутную годину. Кто проливает кровь человеческую для краткой и преходящей славы или для распространения пределов своей области, тот не достоин взыскуемой славы; желая похитить чужое, он не заслуживает и того, что имеет.

Есть средство и без войны поддержать в народе мужество в мирное время. Могут способствовать тому устанавливаемые нами телесные упражнения, награды к возбуждению соревнования, правила чести и доблести, которые будут внушаемы детям на заре еще лет их прославлением великих подвигов геройских. Присовокупите к тому труд и трезвую в жизни умеренность. Этого мало: если союзный с вами народ в брани с другими, посылайте на войну цвет своего юношества, особенно тех, в ком будет виден отличный дар к ратному делу и кто потому может воспользоваться опытом с большим успехом. Таким образом, вы приобретете себе уважение союзников: союз с вами для всех будет дорог, разрыв страшен. Без войны и разорительных усилий вы будете иметь у себя воинов юных, бесстрашных, знакомых с опасностями. Но и в мирное время отличайте почестями любовь и дарования к ратному делу. Содержать войско, всегда готовое на защиту отечества, уважать людей, отличных на этом поприще, иметь всегда таких, которые служили под чуждыми знаменами и знают силу, военный порядок, ратную хитрость соседних народов, не предпринимать войны по властолюбию,

не бояться ее по малодушию – вот верное средство избежать войны и быть в мире со всеми! Кто в необходимости готов отразить войну войной, тот никогда почти не обнажает меча.

Когда же война загорится между вашими союзниками, будь ты, государь, посредником и примирителем! Приобретешь тем себе славу, постояннейшую всей славы завоеватель, приобретешь любовь и уважение чуждых народов, они взыщут твоей дружбы, ты будешь царствовать над ними доверием, как над подданными своими царствуешь властью, будешь блюстителем тайн, судьей договоров, владыкой сердец. Слава твоя облетит землю, и твое имя, как возделеннейшее благоухание, пройдет из царства в царство до отдаленнейших пределов. Пусть тогда алчный сосед восстанет на тебя несправедливо: на пределах твоих он встретит готовое сопротивление, но вместе встретит другой щит, гораздо могущественнейший – любовь и со всех сторон тебе помощь. Все за тебя, и каждый сосед будет уверен, что в твоей безопасности общее спокойствие. Такой столп крепости надежнее всех стен и всякой твердыни, – и вот неложная слава! Но как мало царей, которые знают эту славу и от пути, ведущего к ней, не устраняются! Они проходят мимо истинной чести и стремятся за тенью и призраком.

Филоклес, удивленный, переходил взором от Ментора к Идоменею и с восхищением видел, с какой алчностью царь собирал и слагал в сердце все слова, исходившие, как река мудрости, из уст великого старца.

Так Минерва в образе Ментора учреждала в Саленте благие законы и общепользные основания правления, не столько для благоденствия царства Идоменеева, сколько для наставления Телемака очевидным примером, как мудрое правление может устроить счастье народа и царя добролюбивого увенчать нетленной славой.

## Книга пятнадцатая

*Телемак в стане союзников.*

*Филоктет рассказывает ему смерть Геркулесову и свои бедствия.*

Телемак между тем на поле боевом бесстрашно искал ратной чести. С самого начала похода он старался снискать любовь старых вождей, известных опытностью и славой. Нестор, видев его прежде в Пилосе, всегда верный друг Улиссу, принимал его как сына, давал ему наставления, рассказывал разные примеры, описывал и свои подвиги в юности, и достопамятнейшие деяния героев протекшего века. Память мудрого старца, пережившего три поколения, была как предание древних времен, начертанное на медных и мраморных скрижалях.

Филоктет не имел к нему тотчас такого дружелюбного расположения. Ненависть к отцу, давно любимая пища его сердца, отливалась и на сына. Он не мог без негодования видеть всего того промысла, с которым боги сами, казалось, возводили его к совершенству героев. Но кротостью Телемак преодолел в нем чувство неприязни. Филоктет невольно полюбил в нем скромную добродетель и нередко, один с ним, говорил ему:

– Сын мой! – не боюсь я называть тебя этим именем, – отец твой и я, мы долго были врагами: вражда, которая не по-



тухла в моем сердце даже и по разрушении Трои; отселе при-  
скорбие, с которым я видел доблесть в сыне Улисса. Часто я  
сам себя упрекал такой слабостью. Но добродетель кроткая,  
простосердечная, незлобивая, скромная наконец все побеж-  
дает, – и нечувствительно он обещал рассказать Телемаку,  
отчего родилась в нем столь сильная ненависть к Улиссу.

– Надобно нам, – говорил он, – обратиться к отдаленней-  
шему времени моей жизни. Я был повсюду спутником вели-  
кого Геркулеса, которому земля обязана истреблением мно-  
гих чудовищ и пред которым все другие герои – слабые тро-  
сти перед величественным кедром, перед орлом мелкие пти-  
цы. Страсть, от которой все горести, была и для нас источ-  
ником бедствий. Геркулес, победитель ужасных чудовищ, не  
мог победить в себе позорной любви... отдал себя на поте-  
ху лукавому младенцу. Сторал он от стыда, когда, бывало,  
вспомнит, что некогда забыл всю свою славу, – даже прятал у  
ног Омфалы, царицы Лидийской, как сластолюбец, женщи-  
на душой, раб слепой страсти; стократно признавался мне,  
что эта черта его жизни положила неизгладимое пятно на его  
доблесть, затмила весь блеск его подвигов.

Но, боги! Чему уподобить непостоянство и слабость в че-  
ловеке? Положась на свои силы, он и не думает быть на стра-  
же у сердца. Великий Алкид снова преткнулся, проклиная  
любовь, запылал новым огнем к Деянире – и счастье его, ес-  
ли бы он сохранил к ней, жене своей, страсть неизменно.  
Но вскоре юная Гола с лицом, цветущим всеми прелестями,

обворочила его душу. Деянира закипела ревностью, терзалась и вспомнила о той роковой одежде, которую получила от Несса, Центавра, пред его смертью как верное средство зажечь любовь в Геркулесе, если бы он, охладев к ней, отдал другой свое сердце. Одежда, обладая смертоносной кровью Центавра, скрывала в себе яд стрел, поразивших это чудовище. Тебе известно, что стрелы, которыми Геркулес умертвил вероломного Несса, омочены были в крови гидры лернейской: от убийственной крови раны от стрел были неисцелимы.

Надев ту одежду, Геркулес тотчас почувствовал тлетворный огонь, проходивший в нем до разделения души и тела. Ужасны были вопли его, повторялись в дремучих дебрях горы Эты, даже море, казалось, им состонало; не так страшен гул от рева волов, когда они, расвирепевшие, сойдутся на битву. Ликхас, принесший одежду от Деяниры, дерзнул показаться великому страдальцу. В иступлении от мучительной боли он схватил его и махом могучей руки бросил сверху горы, как пращик мечет пращей камень. Полетел несчастный по воздуху, низринулся в море и обратился в скалу, сохраняющую поныне образ человека. Неподвижная посреди разъяренных волн, она издали устрашает искусных мореходцев.

Свидетель бедственной кончины несчастного Ликхаса, я боялся вверить себя Геркулесу – скрывался в неприступных пещерах. Оттоле видел, как он одной рукой исторгал легко

и свободно из земли огромные сосны и древние дубы, земле современные, другой тщетно трудился сорвать с хребта роковую одежду, она прильнула к его коже, срослась с его телом. Раздирая одежду, он вместе раздирал и кожу, и тело. Кровь из него ручьями текла. Наконец доблесть превозмогла в нем страдания, он воскликнул: «Любезный мой Филоктет! Ты видишь язвы, которыми боги карают меня. Боги правосудны. Я раздражил их, нарушил верность супружескую, победитель столь многих страшных врагов, я сам малодушно поработился любви к красоте чуждой. Погибаю – и с удовольствием: смерть моя будет жертвой умилоствления. Но ты, любезный друг! Куда от меня бегаешь? Несчастный Ликхас в исступлении моем от болезненных страданий претерпел от меня жестокость, в которой сам себя я осуждаю. Он не знал, какую принес мне заразу, не заслуживал казни. Но неужели ты думаешь, что я могу забыть долг древней дружбы, поднять руку на друга? Нет! Никогда я не перестану любить Филоктета. Филоктет соберет прах мой, примет мою душу, готовую отрешиться от тления. Но где ты, любезный Филоктет – одна и последняя моя в мире надежда!»

Услышав призывный голос, я не пошел, полетел к нему. Встречает он меня с распростертыми руками, хочет прижать к сердцу и вдруг отпрянул, боялся передать мне тот же мучительный огонь, которым сам сгорал. «Увы! – говорил он, – нельзя мне иметь и этого последнего утешения!»

И немедленно собирает деревья, из земли им исторгну-

тые, слагает их в костер на вершине горы, восходит на костер с лицом светлым, спокойным, расстиляет шкуру немейского льва, покрывавшую столь долго рамена<sup>16</sup> его, когда он, переходя от края до края земли, истреблял чудовища, спасал несчастных, потом, опершись на палицу, велит мне зажечь костер. Руки у меня затрепетали и оледенели от ужаса, но не мог я отказать ему в жестокой услуге. Жизнь уже не была для него даром неба, но лютой казнью. Я даже боялся, чтобы он в исступлении, в смертных болезнях, не сделал чего недостойного доблести, удивившей вселенную.

Когда костер загорелся, он громким голосом сказал мне: «Теперь я вижу опыт истинной твоей ко мне дружбы, любезный мой Филоктет! Честь моя дороже тебе моей жизни. Боги твое возмездие. Оставляю тебе драгоценнейшее свое на земле достояние – стрелы, омоченные в крови гидры лернейской. Язвы от них, известно тебе, неизлечимы. С ними ты будешь, как и я был, непобедим, и не дерзнет противостать тебе никто из смертных. Помни, что я пребыл верен в дружбе даже до смерти, помни всю мою к тебе привязанность. Но если ты истинно сострадаешь моим мукам, то можешь даровать мне последнее утешение: обещай не открывать никогда и никому ни кончины моей, ни места, где прах мой положишь».

Я дал ему слово, окропляя слезами костер, поклялся, несчастный, сохранить эту тайну. Просияла тогда в очах его

---

<sup>16</sup> Плечи. – Прим. изд.

радость, как блистание чистого света. Вдруг огонь взвился вокруг него клубом, и смолк его голос, и он в облаке дыма совсем почти скрылся от моих взоров. Но я увидел еще его посреди пламени, с лицом светлым, как будто увенчанного цветами, омытого благовонной росой, в сонме друзей, в чертоге радостей.

Вскоре огонь истребил в нем все земное и смертное. Все, что при рождении он приял от Алкмены, своей матери, истаяло. Сохранил он по воле Юпитера естество тончайшее, бессмертное, небесный огонь, истинное начало жизни, излияние от света бога богов, – и так, обновленный, вознесся с небожителями под златозарные своды Олимпа, где пьет нектар и где боги сочетали его с богиней юности, любезной Гебой, которая наливала нектар в чашу великого Громодержца прежде, чем эта честь перешла к Ганимеду.

Стрелы, оставленные мне Геркулесом, вместо того, чтобы возвеличить меня перед всеми героями, сделались для меня неиссякающим источником горестей. Цари греческие приняли отмстить за Менелая бесчестному Парису, похитителю Елены, и совокупными силами разрушить царство Приамово. Прорицание Аполлоново предвозвестило, что надежда их пожать лавры будет тщетна без стрел Геркулесовых.

Улисс, отец твой, всегда первый умом и прозорливостью в советах, принял на себя убедить меня идти на войну против Трои с стрелами Алкидовыми, предугадывал, что они у меня находились. Давно уже Геркулес нигде не являлся, дав-

но не было слуха о новых подвигах его доблести, чудовища и злодеи начинали вновь рассеивать ненаказанно ужас. Греки не знали, что подумать: одни полагали, что он скончался, другие – что пошел в страны льдов полуночных смирать скифов. Улисс утверждал, что он умер, и решился получить от меня в том удостоверение: пришел ко мне в то время, когда я, неутешный, оплакивал еще горячими слезами кончину Алкида; долго не знал, как приступить ко мне: я равно бегал от людей и от мысли расстаться с пустыней, где был свидетелем смерти своего друга; непрестанно представлялся мне образ великого героя; рыдал я, смотря на места, сетовавшие вместе со мной. Но язык отца твоего был язык непреодолимого, волшебного убеждения: он разделил со мною всю мою горесть, залился слезами, незаметно пленил мое сердце, овладел моим доверием, возбудил во мне жалость к венценосцам, которые, обнажив меч за правое дело, без меня проливали бы кровь бесполезно. Не мог он исторгнуть от меня тайны, клятвой запечатленной, но, не сомневаясь уже о кончине Геркулеса, молил меня показать ему место, где я предал земле прах его.

Содрогнулся я от одной мысли быть клятвопреступником в тайне, которую обещал перед богами соблюсти в вечном молчании. Но, не смея нарушить клятвы устами, я имел слабость употребить иной язык – боги за то наказали меня – ударил ногой в том месте, где положил прах Геркулесов. Потом я пошел к союзным царям – встретили меня с восторгом,

как второго Алкида. На острове Лемнос я желал показать силу стрел своих союзному войску, хотел убить серну на быстром бегу с поля в рощу. Стрела, соскользнув с лука, жалом упала мне на ногу, от раны поныне больную. И вдруг я тогда почувствовал все муки Алкидовы. День ночи, ночь дню передавали мои плачевные вопли, воздух заражался от гнилой и черной крови, истекавшей из моей раны, самые сильные воины едва могли переносить смрад от нее по всему стану. В таком бедственном положении был я предметом общего ужаса, как жертва, правосудно пораженная за преступление небесной мезтью.

Улисс, тот самый Улисс, который вызвал меня на войну, первый меня бросил: предпочел он здесь, как я после увидел, благо всей Греции, победу над общим врагом всем уважениям дружбы и частного приличия. Прекратились в стане жертвоприношения: до такой степени доходила смута в войске от ужасного вида раны моей, от смрада ее и отчаянных моих воплей! Но когда я остался один, покинутый всеми греками по совету Улисса, эта хитрость показалась мне зверской жестокостью, злобным вероломством. Слепленный, не разумел я, что все мудрые люди по справедливости должны были восстать на меня вместе с прогневанными мной богами.

Без всякой помощи, без надежды и утешения, в язвах и мучительных болезнях, одинокий, я оставался во все почти время Троянской войны на диком и необитаемом острове,

где страшная тишина прерывается только плеском волн о крутой берег. В этой пустыне я нашел пещеру в горе, сверху которой два утеса, как два рога, поднимались до облаков. Из подошвы горы вытекал светлый ручей. В пещеру нередко заходили хищные звери, так что я не был ни днем, ни ночью в безопасности. Но довольный и таким кровом, я собрал себе листья для постели. Все мое имущество состояло из одного грубого сосуда деревянного и разодранных рубищ, которыми я перевязывал и отирал свою рану. Отлученный от всего мира, жертва гнева небесного, я пускал стрелы в голубей и других птиц, убив птицу, я должен был ползти за добычей с болезненным страданием, а потом сам себе готовить бедную пищу. Огонь высекал я из камней. Греки оставили мне несколько припасов, их стало ненадолго.

Такая жизнь, как она ни была бедственна, вознаграждала бы еще меня за неблагодарность и вероломство моих соотечественников, если бы страдания не превосходили всей меры моего терпения и если бы я мог забыть свое несчастье. Как! – повторял я сам себе. – Вызвать человека с родины, того, кто один мог отмстить за оскорбленную Грецию, и покинуть его сонного на необитаемом острове! Греки оставили меня сонного. Представь себе мое тогда изумление. Я залился слезами, когда, проснувшись, увидел корабли далеко от берега. Обращаясь во все стороны дикого и страшного острова, я везде встречал одно и то же – горе.

Нет там ни пристани, ни торговли, ни крова страннопри-



имного, никто не пристанет по доброй воле к столь бесплодному берегу, изредка лишь показываются там несчастные жертвы бурного моря, от кораблекрушения только можно ожидать себе там товарищей в бедствии. Но и невольные гости печального края не смели взять меня с собой, страшась гнева богов и мщения греков. Таким образом, я десять лет сряду переносил посрамление, страдания, голод, питал рану, снедавшую все мои силы, надежда гасла в моем сердце.

Однажды, набрав для раны целительных трав и возвращаясь, вдруг я вижу в пещере прекрасного и миловидного юношу, с ростом и гордой осанкой героя, с первого взгляда принял было его за Ахиллеса: так он был сходен с ним чертами лица, походкой, взором! По молодости только его я судил, что это не мог быть Ахиллес. На лице его равно были видны и сострадание, и замешательство, он смотрел с соболезнаванием, с каким трудом и как медленно я передвигался с места на место, и громкий, отчаянный мой вопль, разносившийся по всему берегу, казалось, откликнулся в его сердце.

Издали еще я говорил ему:

– О странник! Какой несчастный случай привел тебя на этот необитаемый остров? Узнаю на тебе греческое одеяние, родное и теперь еще так мне приятное. О, как я жажду услышать твой голос, услышать тот язык, которому учился с младенчества, но на котором давно уже ни с кем не могу говорить в одиночестве. Не гнушайся несчастным, пожалей обо мне.

Не успел Неоптолем сказать мне, что он грек, как я воскликнул:

– О радостное слово после многих лет унылого молчания и безутешной печали! Сын мой! Какое несчастье, буря или ветер благоприятный обратил тебя к здешнему берегу – прекратить мои горести?

– Я из Скироса, – отвечал он, – и туда возвращаюсь. По сказаниям, я сын Ахиллесов. Тебе все известно.

Краткий ответ не удовлетворял моего любопытства: я говорил:

– О сын отца, так мной любимого, питомец Ликомедов! Какими судьбами и откуда ты пришел на этот остров?

– Из-под Трои, – отвечал он.

– Так ты не был в первом походе? – продолжал я.

– А ты был? – спросил он меня.

– О! Я вижу, – говорил я, – что тебе неизвестны ни имя Филоктета, ни его злополучная участь. Я, несчастный и нищий, покинут врагами на поругание. Греция не знает моих страданий, болезни мои со дня на день возрастают, и все мои горести – дело Атридов. Боги пусть будут им судьями.

Потом я рассказал ему, каким образом я оставлен греками в Лемносе. На жалобы мои он отвечал мне рассказом о своих скорбях.

– По смерти Ахиллеса, – говорил он...

– Как! – на первом слове я остановил его. – Ахиллес умер! Прости мне, сын мой, что я прерываю твою речь слезами,

отцу твоему принадлежащими.

– Слезами ты утешаешь меня, – отвечал мне Неоптолем. – Филоктет, оплакивающий Ахиллеса – лучшая для его сына отрада.

По смерти Ахиллеса, – продолжал он, – Улисс и Феникс пришли ко мне с уверением, что Троя без меня не будет разрушена. Нетрудно им было склонить меня идти с ними в поход. Печаль о кончине отца и желание сделаться в знаменитой войне преемником его славы и без того были для меня сильными побуждениями. Прихожу я в Сигею: стекаются вожди и воины, в один голос повторяют, что видят во мне второго Ахиллеса – его давно уже не было на свете. В юных летах и опытом не наученный, я надеялся получить все от людей, превозносивших меня похвалами: требую от Атридов отцовских доспехов – жестокие, они отвечают мне, что все достояние Ахиллесово будет мне отдано, а доспехи его назначены Улиссу.

Я вспыхнул, грожу мщением, плачу с досады. Улисс, с видом спокойным, говорил мне: «Молодой человек! Ты не разделял с нами опасностей долговременной осады, не заслужил еще такого оружия, а уже говоришь с дерзкой надменностью. Не носить тебе этих доспехов».

Лишенный несправедливо своего достояния, я возвращаюсь в Скирос с негодованием не столько еще против Улисса, сколько против Атридов. Кто враг их, тот пусть будет другом правосудных богов! Филоктет! Я все сказал.

– Как Аякс Теламонид не положил преграды такой несправедливости? – спросил я Неоптолема.

– Аякс давно умер, – отвечал он.

– Аякс умер, – говорил я, – а Улисс еще жив, и он же душа всего войска!

Потом я любопытствовал знать об Антилохе, сыне мудрого Нестора, и о Патрокле, так милом Ахиллесу.

– И они скончались, – отвечал мне Неоптолем.

– Скончались! Что я слышу, – говорил я. – Так-то кровавая война, пожиная добрых, щадит только злодеев. Так

Улисс жив! Без сомнения, жив и Ферзит? Вот промысл богов! Воздавай им жертву хваления!

Так я в огорчении изливал желчь на отца твоего, а между тем Неоптолем продолжал свой обман и сказал мне эти печальные слова: вдали от рати греческой, где зло гнетет добродетель, я буду спокойно жить на диком острове Скиросе. Прощай! Пусть исцелят тебя боги! Я просил его прислать за мной корабль, но или он скончался, или никто по обещанию не дал ему знать о моем бедствии. К тебе прибегаю, о сын мой! Вспомни превратности жизни. Кто счастлив, тот бойся употребить во зло свое счастье, а страждущим подавай руку помощи.

Так я изливал перед Неоптолемом свою горечь. Наконец он обещал взять меня с собой. О день благословенный! Тогда я воскликнул:

– Любезный Неоптолем! Достойный наследник Ахилле-

совой славы! И вы, будущие мои спутники! Дайте мне проститься с печальной пустыней. Взгляните на кров мой и исчислите все мои страдания. Никто другой не мог бы перенести столь бедственной участи. Но нужда была моей наставницей. Нужда учит человека тому, чего он без нее никогда не мог бы постигнуть. Кто никогда не страдал, тот невежда, не знает ни зла, ни добра, ни людей, ни самого себя.

Потом я взял лук и стрелы.

Неоптолем просил меня позволить ему облобызать знаменитое оружие, освященное именем непобедимого Алкида. Я отвечал ему:

– Все дозволено тебе, сын мой! Ты возвращаешь мне свет, отечество, отца, обремененного старостью, друзей, самого меня. Можешь прикоснуться к оружию великого – и возгордись: прикоснешься к нему первым из греков.

Неоптолем входит в пещеру и с удивлением обзревает мои доспехи.

Мучительная боль между тем возобновилась во мне от раны. Я обеспамятел, теряюсь в мыслях, требую меч, хочу отсечь себе ногу, вопию: «О смерть, давно ожидаемая! Что ты медлишь? О юноша! Предай меня тотчас огню, как я некогда предал огню сына Юпитерова! О земля! Прими в свои недра умирающего: он уже не может встать с одра болезни». После исступления вскоре, как и всегда бывало, я заснул глубоким сном, сильный пот облегчил мое страдание, и черная, гнилая кровь вышла из раны. Неоптолем легко мог взять оружие у

меня сонного и удалиться, но он был сын Ахиллесов, не был рожден на обманы.

Проснувшись, я тотчас заметил по лицу его смятение духа. Он вздыхал, как человек, незнакомый с искусством притворствоваться и действующий против сердца.

– Неужели и ты строишь мне козни, – сказал я. – Что за тайна?

Он отвечал мне:

– Надобно тебе со мной идти под Трою.

– Ах! Сын мой! Что ты сказал? – говорил я. – Оставь мне лук и стрелы. Я обманут: не лишай меня жизни.

Но он ни слова в ответ, смотрит спокойно, без всякого чувства.

– Берега Лемноса! Мысы! Скалы недоступные! Свирепые звери! Внемлите моим скорбям. Вам уже только я могу верить свои жалобы, вы привыкли к моим воплям. Мне ли так суждено, чтобы я был обманут Ахиллесовым сыном? Он отнимает у меня священный лук Геркулесов, влачить меня хочет к врагам моим грекам на торжество им, не видит, что торжество это будет над мертвецом, над тенью, призраком. О! Когда бы он пришел ко мне в дни моей силы! Но и теперь я побежден только обманом. Что мне делать? Сын мой! Возврати мне оружие, будь подобен Ахиллесу, будь равен сам себе! Отвечай!.. Молчишь на все мои просьбы. Дикий утес! К тебе я вновь прибегаю, несчастный, нагой, голодный, всеми покинутый! Умру одинокий в этой пещере, не будет уже

у меня стрел и лука, звери пожрут мои кости. Что до того? Но, сын мой! Ты не можешь иметь злобного сердца, ты здесь только орудие. Возврати мне оружие и удались.

Неоптолем со слезами говорил тихим голосом:

– О! Зачем навсегда не остался я в Скиросе!

Вдруг я вскрикнул:

– Боги! Кого я вижу? Улисса?

И услышал его голос, он отвечал мне:

– Так! Это я.

Если бы мрачное царство Плутоново разверзлось, и я увидел всю тьму страшного Тартара, куда и боги боятся приникнуть, признаюсь, не так бы и тогда я сотрясся от ужаса.

– Берега Лемноса! – говорил я. – Будьте моими свидетелями. Солнце! Ты видишь, и ты терпишь коварного.

С лицом спокойным Улисс отвечал мне:

– Так угодно Юпитеру, я исполняю волю его.

– И ты смеешь, – возразил я, – призывать имя Юпитерово? Посмотри: рожден ли этот юноша для козней? Он страждет, исполнитель твоих умыслов.

– Не для обмана мы здесь и не на зло тебе, – говорил мне отец твой, – мы пришли избавить тебя, исцелить твою рану, доставить тебе славу быть разрушителем Трои и утешение возвратиться в отечество. Не Улисс – сам ты враг Филоктету.

Тогда я высказал отцу твоему все то, что только могла внушить мне раздраженная ненависть.

– Ты бросил меня на этом необитаемом острове, – гово-

рил я ему, – зачем же и здесь не даешь мне покоя? Иди, ищи себе славы побед и удовольствий, гордись своим счастьем с Атридами: мне оставь мою бедность и горесть. И на что я тебе? Я тень, я мертвец для всего света. Зачем ты и теперь не того мнения, что я не могу быть вашим спутником, что мои вопли и смрад от раны моей будут возмущать жертвоприношения? О Улисс! Виновник моих бедствий! Пусть боги тебе... Но боги не внимлют мольбе моей, врагу моему они поборники. Мне уже не видеть тебя, любезное отечество! О боги! Если есть еще божество правосудное и сострадательное, карайте, карайте Улисса. Казнь его будет мое исцеление.

Отец твой, спокойный, смотрел на меня с состраданием, с лицом человека, который не только не оскорбляется гневом несчастного в огорчении, но все от него сносит и все извиняет. Как утес на вершине горы стоит непоколебимо при всех порывах бурного вихря, пока он уляжется, так отец твой, безмолвный, ожидал, пока мой гнев истощился. Он знал свойство страстей человеческих, что не прежде можно преследовать их и обратиться к здравому разуму, как тогда, когда они сами, утомленные, стихнут. Наконец он сказал мне:

– Филоктет! Где твой рассудок и где твоя доблесть? Теперь случай ими воспользоваться. Не хочешь ты с нами идти и оправдать великое тебе предназначение Юпитерово, прощай! Ты недостойн быть спасителем Греции и разрушителем Трои. Оставайся на Лемносе. Оружие твое со мной пойдет и доставит мне твою славу. Неоптолем! Пойдем: все на-



ше убеждение будет тщетно. Нельзя нам жертвовать Грецией состраданию к одному человеку.

Тогда я был как львица, лишенная скимнов: лес от ее рыкания стонет. Говорил я:

– Никогда я не покину тебя, пещера моя! Ты будешь моим гробом. Жилище моих скорбей! Я останусь под твоим кровом без пропитания, без всякой надежды. Кто даст мне меч прекратить мои горести? Унесите меня, хищные птицы! Мне уже не поражать вас стрелами. Лук драгоценнейший, освященный руками сына Юпитерова! Любезный Геркулес! Если есть еще в тебе чувство, то не исполнишься ли ты праведного негодования? Лук твой не в руках твоего верного друга – в руках Улиссовых, оскверненных коварством. Не бегайте от пещеры моей, лютые звери, хищные птицы! Не полетят уже на вас из рук моих стрелы. Безоружный, я вам не страшен. Собирайтесь, растерзайте меня, или лучше пусть сокрушит меня стрела неумолимого Громодержца.

Отец твой, испытав все средства убеждения, наконец рассудил возвратить мне оружие, дал знак Неоптолему, и он отдал мне лук со стрелами.

– Достойный сын Ахиллесов! – говорил я. – Ты доказываешь, что ты от его крови: дай же мне пронзить врага моего, – и направил я стрелу в сердце Улиссе. Неоптолем удержал меня за руку.

– Гнев ослепляет тебя, – говорил он мне, – и закрывает от тебя позорные последствия твоего намерения.

Улисс против стрел моих был так же спокоен, как и против упреков. Такое терпение и такая неустрашимость произвели на меня впечатление. Стало мне стыдно, что я хотел в порыве гнева обратить оружие на человека, по воле которого оно мне отдано, но все еще, движимый мщением, терзался я мыслию, что принял оружие словно в дар от врага, столь мне ненавистного.

Между тем Неоптолем сказал мне:

– Филоктет! Гелен божественный, сын Приамов, вышедши из Трои по воле и вдохновению богов, предвозвестил нам грядущее. Падет, – говорил он, – несчастная Троя, но только тогда, когда придет под стены ее тот, у кого стрелы Алкидовы. Сам он прежде не исцелится: уврачуют его сыны Эскулаповы.

Сердце мое разрывалось. Я был тронут незлобием и доверием, с которыми Неоптолем возвратил мне оружие, но не мог решиться пережить унижения уступить Улиссу. Ложный стыд волновал мои мысли. «Быть мне с Улиссом – говорил я сам себе, – быть мне вместе с Атридами? Что подумают обо мне те же греки?»

В таком колебании духа вдруг я слышу голос – не человеческий. Является Геркулес в лучезарном облаке, одетый сиянием славы. Я тотчас узнал черты лица его, несколько суровые, стан исполинский, простоту во всех движениях, но увидел в нем и такое возвышение, такое величие, каких он не имел, когда совершал на земле дивные подвиги. Он гово-

рил мне:

– Ты видишь и слышишь Геркулеса. Я сошел с горнего Олимпа возвестить тебе волю Юпитерову. Ты знаешь, какими трудами стяжал я бессмертие. Надлежит и тебе по следам моим идти в путь славы об руку с сыном Ахиллесовым. Ты исцелишься и поразишь моими стрелами Париса, виновника бедствий. По разрушении Трои пошлешь на гору Эту Пепану, отцу своему, богатую добычу. Она положена будет на гроб мой как знамя победы, одержанной моим оружием. А ты, сын Ахиллесов, знай, что ни ты без Филоктета, ни он без тебя не может быть победителями. Идите оба, как львы, ищущие вместе добычи. Я пошлю к стенам Трои Эскулапа у врачевать Филоктета. Греки! Любите более всего и соблюдайте закон благочестия. Все погибает, благочестие вечно.

Тогда я воскликнул:

– О день благословенный! Животворный свет! Наконец ты мне являешься. Повинуюсь! Прощайте, пустынные места! Простите, нимфы зланных лугов! Не слышать уже мне глухого ропота волн этого моря. Прощай, берег, где я столько лет переносил непогоды! Простите, горы, где эхо столько лет повторяло мои стоны! И вы, струи сладостные, поившие меня водой горести, простите! Будь благословенна земля, принявшая страждущего! Да совершу я благополучно путь, предприемлемый по воле богов и друзей моих!

Таким образом мы оставили Лемнос и прибыли под стены Трои. Махаон и Подалир, по божественному знанию отца их

Эскулапа, у врачевали или, по крайней мере, привели меня в то состояние, в каком ты меня видишь. Я не стражду, обновилась и вся моя крепость, но несколько еще хромаю. Париса я сразил, как стрелок поражает из лука робкого, молодого оленя. Скоро затем Илион обращен был в пепел. Все прочее известно тебе.

При всем том оставалась еще во мне тайная вражда против Улисса, я не мог забыть своих бедствий, вся его доблесть не могла преодолеть во мне этого чувства. Но присутствие сына, во всем ему равного, и невольная к нему любовь обращают к отцу мое сердце.

## Книга шестнадцатая

*Сражение между Телемаком и Гиппиасом.*

*Телемак победитель.*

*Сокрушение его о победе.*

*Адраст внезапно нападает на союзников.*

Телемак слушал Филоктета, как будто лишенный всех чувств, кроме слуха, не отводил взора от великого мужа. Различные страсти, которые возбуждались в Геркулесе, Филоктете, Улиссе, Неоптолеме, по мере того как они выходили в рассказе, на незлобном лице его были видны как в зеркале. То прерывал он Филоктета невольным восклицанием, то, погруженный в глубокую думу, казалось, исчислял последствия слышанных происшествий. Когда Филоктет описывал замешательство Неоптолема, незнакомого с искусством притворствоваться, он был в таком же замешательстве; можно было принять его за самого Неоптолема.

Союзная рать следовала в стройном порядке против Адраста, царя Донийского, презрителя богов и хитрого клятвопреступника. Телемак встречал большие трудности в поведении с царями, взаимно от зависти скрытными недоброхотами. Надобно было ему не навлечь на себя ни от кого из них подозрения и у всех снискать равную дружбу. Нрав его, от природы добрый и искренний, не был приветлив. Он не думал о том, что могло быть другим в удовольствие, не был

привязан к богатству, но не умел благодетельствовать. Таким образом, он, с сердцем великодушным, с любовью ко всему доброму, по-видимому, не был ни готов на услуги, ни щедр, ни признателен, не умел ни дружбы ценить, ни находить и отличать прямого достоинства, следовал своим склонностям без размышления. Мать его, невзирая на все труды Менторовы, внушила ему с детства такую надменность и гордость, что они затмевали в нем все любезные свойства. Он думал о себе, что в нем текла кровь, совсем иная от прочих, о других – что они созданы лишь на потеху и на службу ему, что долг их предугадывать его желания и, как божеству, приносить все ему в жертву. Счастье служить ему было в глазах его уже довольно великим возмездием за всякую службу. В исполнении воли его не должно было находить ни преграды, ни невозможности. Малейшая медленность раздражала огненный нрав его.

Кто видел его в таком природном расположении, тот мог заключать, и справедливо, что он ни любить никого не мог, кроме себя, ни чувства ни к чему не имел, кроме собственной своей славы и удовольствий. Но холодность к другим и непрестанное занятие самим собой были в нем последствием непрерывного упоения от необузданных страстей. Приученный матерью с нежных лет к яду лести, он показал на себе поучительный пример участи, нередко несчастной, – родиться в величии. Все превратности судьбы, жестокой к нему еще с младенчества, не могли укротить в нем высокомерия

и пылкости. Всего лишенный, всеми оставленный, переходя из бедствия в бедствие, он нимало не утратил своей гордости. Она всегда возникала в нем с новой силой, как гибкое пальмовое дерево, с каким бы трудом ни было к земле наклоняемо, всегда поднимается само собой.

В присутствии Ментора слабости его не показывались, исчезали еще со дня на день более. Как бурный конь мчится по обширному лугу, и ни пропасти, ни крутизны, ни быстрые потоки не останавливают его, он знает руку и голос одного только всадника, своего повелителя, так Телемак, нетерпеливый и пылкий, мог быть воздерживаем одним Ментором. Но зато мудрый старец одним взглядом вдруг останавливал его в самом пламенном порыве, он тотчас разумел всякий взгляд его, и чувства добродетели тогда же возвращались в его сердце. В мгновение ока Ментор переменял лицо его гневное в лицо кроткое и светлое. Нептун, когда возносит трезубец и грозит разъяренным волнам, не с большей скоростью укрощает мрачные бури.

По разлуке с Ментором страсти его, дотоле смиренные, как поток, прегражденный плотиной, обрели всю свою силу.

Он не мог сносить надменности лакедемонян и Фаланта, их предводителя. Поселение, основавшее Тарент, составилось из молодых людей, родившихся во время Троянской войны, взрослых без всякого призрения. Незаконное рождение, разврат матерей, своеволие, в котором они воспитаны, оставили в них свирепство и дикость. Они походили на ско-

пище разбойников более, чем на общество греков.

Фалант везде искал случая прекословить Телемаку, часто прерывал его в общих совещаниях, презирал советы его – неопытного юноши, смеялся над ним – молодым человеком изнеженным, обращал внимание военачальников на малейшие его погрешности, везде сеял зависть и описывал союзникам гордость его ненавистными красками.

Телемак взял в плен несколько дониян. Фалант считал их своими пленниками, говоря, что он с лакедемонянами разбил этот отряд неприятелей, а Телемак, встретив их уже побежденных и в бегстве, подоспел только спасти им жизнь и в стан отвести, обезоруженных. Телемак утверждал, напротив того, что победа его и что он спас самого Фаланта от поражения. Оба предстали на суд союзных царей, сразились словами, Телемак вышел из себя до такой степени, что даже делал угрозы Фаланту: они ринулись бы тут же один на другого, если бы не были удержаны.

У Фаланта был брат по имени Гиппиас, витязь храбростью, искусством в боях и отличный силой. Поллукс, говорили тарентинцы, не лучше его сражался в кулачном бою, в ристании не уступил бы он Кастору. Геркулес станом и крепостью, он был страшен всему войску не столько еще силой и мужеством, как строптивым и свирепым нравом.

Видя, с какой надменностью Телемак угрожал его брату, Гиппиас берет пленных и отводит в Тарент, не дожидаясь суда союзных царей. Телемак, тайно извещенный, закипев



гневом, уходит. Как зверь бежит за ловцом, стрелой уязвленный, пена клубится в пасти, так он с копьем в руке огненными глазами ищет по всему стану соперника; встретились – и вся ярость в нем запылала. Он был здесь не Телемак благо-разумный и кроткий, питомец Минервин, а неистовый юноша, лев раздраженный.

– Остановись, бесчестный! – крикнул он Гиппиасу. – Посмотрим, можешь ли ты похитить у меня доспехи моих плен-ных. Не вести тебе их в Тарент, иди сам на мрачный берег Стикса, погибни!

И бросил в него копье, но с таким остервенением, что не мог измерить удара: копье пролетело мимо Гиппиаса. Тот-час он обнажил меч свой, тот золотой меч, который, остав-ляя Итаку, получил в залог любви от Лаерта. Лаерт в юно-сти приобрел им великую славу, омыл его в крови многих знаменитых вождей епиротских на войне, в которой был по-бедителем. Лишь только он обнажил меч, Гиппиас, гордый превосходством своей силы, бросился вырвать его у Телема-ка. Меч в руках их переломился. Они схватились, сшиблись, оба, как звери, один другого терзающие, засверкали глазами, то сжавшись, то вытянувшись, то наклоняясь, то поднима-ясь, рвались, жадные до крови. Вдруг быстро, как молния, друг на друга грянули, стали ногой против ноги, рукой про-тив руки, сплелись – оба, как одно тело. Гиппиас, в летах си-лы и крепости, по-видимому, должен был подавить Телема-ка в нежном цвете юности, – и уже дыхание в нем прерыва-

лось, колена под ним подломились, он пошатнулся; Гиппиас стиснул его с новым усилием, роковой час предстоял сыну Улиссову, жизнью он заплатил бы за дерзость и пылкость, если бы Минерва, оставив его на малое время в явной опасности для вразумления, но храня его вблизи и издалека своим промыслом, не обратила победы на его сторону.

Сама она не оставила царских чертогов в Саленте, а послала Ирису, быстрюю вестницу богов. Летит на легких крыльях Ириса по беспредельному воздуху, след ее горит разноцветными огнями в облаке, стелющемся светозарной полосой. Достигает она берега, где стояли несчетные рати союзные, издалека еще видит битву, ярость, усилия соперников, видит опасность, грозящую сыну Улиссову, содрогнулась, приближается к нему незримая, осененная светлой мглой из тонких паров, и в тот самый час, как Гиппиас в полном чувстве превосходства своей силы считал уже себя победителем, покрывает юного питомца Минервина эгидом, вверенным ей богиней мудрости. Телемак, совсем изнуренный, вдруг ободряется: ожило в нем прежнее мужество. С тем вместе робость находит на Гиппиаса: изумленный, он чувствует руку, свыше над ним тяготеющую. Телемак теснит его, рвется сбить с ног то в том, то в другом положении, сдвигает его с места, не дает ему оправиться ни на мгновение ока, наконец, повергает его наземь и сам падает на побежденного. Великий дуб на горе Иде, подрубленный секирой, с глухим гулом по всему лесу не производит столь ужасного треска падением,

когда земля от него стонет и все вокруг потрясается.

Но мудрость тогда же возвратилась в сердце сына Улиссова со всей силой. Лежал еще Гиппиас в прахе под ним, а он сокрушался уже о погрешности, что поднял руку на брата одного из союзных царей. Печальный душой, он вспомнил мудрые советы Менторовы, стыдился победы, признавал себя достойным поражения. Фалант в бурном порыве гнева прилетел к брату на помощь и пронзил бы копьем Телемака, если бы не боялся пронзить вместе лежавшего под ним Гиппиаса. Жизнь врага была во власти сына Улиссова. Но гнев уже погас в его сердце. Он старался загладить погрешность великодушием, встал и говорил:

– Гиппиас! Я хотел только показать тебе, что ты несправедливо презирал мою молодость. Живи! Ты витязь мужеством и силой! Боги были мне поборниками: покорись их могуществу, забудем вражду и станем единокорно против дониян.

Гиппиас встал, покрытый пылью и кровью, посрамленный, с яростью в сердце. Фалант не смел посягнуть на жизнь того, кто так великодушно даровал жизнь его брату, был в недоумении, вне себя. Союзные цари пришли на место единоборства и отвели в одну сторону Телемака, в другую Фаланта и Гиппиаса, который, уничиженный, стоял с потупленным взором. Войска не могли довольно надивиться, как Телемак в нежном цвете возраста, когда сила в человеке еще не созрела, мог низложить Гиппиаса, исполина ростом и крепо-

стью, подобного тем сынам земли, которые некогда покушались изгнать бессмертных с Олимпа.

Но сын Улиссов не утешался победой, скрылся в шатер свой, посреди общего удивления и громких похвал, с сердцем смятенным, не мог сносить самого себя, стenal о своей запальчивости, видел, до какой степени был несправедлив и безрассуден в пылу гнева, находил в неукротимой своей гордости свойство души тщеславной, слабой и низкой, чувствовал, что истинное величие в кротости, справедливости, скромности и человеколюбии: все это видел, но не смел уже льстить себя надеждой исправления после столь многих преткновений, в борьбе с самим собой рычал, как лев разъяренный.

Два дня он пробыл в шатре, одинокий, карая сам себя, избегая всякого общества.

– Какими глазами посмотрит на меня Ментор? – говорил он. – Сын ли я Улисса, великого разумом, несокрушимого в терпении? На то ли я здесь, чтобы сеять раздор и смуту в союзной рати, проливать кровь союзников, а не кровь их неприятелей? В пылу дерзости я даже не умел владеть рукой, в бой опасный, неровный вступил с Гиппиасом, предстояли мне смерть и посрамление быть побежденным. Но что же? Я лежал бы уже бездыханный, не стало бы того безрассудного Телемака, того несмышленного юноши, который не внемлет никакому совету, стыд мой сошел бы в могилу вместе со мною. О! Если бы, по крайней мере, мог я надеяться, что

столь горестное для меня преткновение будет уже последней! Стократно был бы я счастлив! Но, может статься, еще сегодня и добровольно я впаду в те же погрешности, которых столько стыжусь и гнушаюсь. Несчастливая победа! Мучительные похвалы, жестокий укор мне за мое буйство!

Нестор и Филоктет посетили его, уединенного и безотрадного. Нестор хотел изъяснить ему несообразность его поступка, но, видя с первого взгляда все его сокрушение, мудрый старец старался уже только языком нежной любви утешить его в горести.

Эта распря остановила союзных царей в действиях против Адраста. Они не могли ничего предпринять до примирения Телемака с Фалантом и Гиппиасом, боялись, чтобы войска тарентийские не восстали на бывших с Телемаком юных критян: все волновалось от его погрешности, а сам он, видя перед глазами бедственный плод ее и впереди еще большие опасности, виновник смятения, снесся глубокой скорбью. Цари в недоумении не смели двинуться с войсками, опасаясь, чтобы сеча не поднялась на походе между критянами и тарентинцами. С трудом можно было удержать их от битвы при всей бдительной страже. Нестор и Филоктет непрестанно переходили из шатра в шатер, то к Телемаку, то к Фаланту, неумолимому в мести. Ни Нестор сладким витийством, ни Филоктет снисканной заслугами властью не могли смягчить железного сердца, еще более ожесточаемого мстительными внушениями брата его Гиппиаса. Кротость давно за-

ступила в Телемаке место пылкого гнева, но он упал духом и не находил в ней отрады.

Со смятением вождей соединялось уныние рати: стан обратился в печальный дом, осиротевший после отца семейства, надежды юных сынов, опоры ближних.

Посреди общей тревоги и уныния вдруг стали слышны стук колесниц, ржание коней гром оружия, вопли, — и скоро свирепый крик победителей слился со стонами раненых, павших на месте сражения и обратившихся в бегство. Пыль, взвившись тучей, закрыла небо, расстлалась по всему стану. Вскоре затем густой дым смешался с черной пылью, затмил воздух и подавлял дыхание. Раздался со всех сторон глухой гул, подобный шуму бурного пламени, изрыгаемого Этной из раскрывшихся пропастей, когда Вулкан с циклопами кует стрелы для Громодержца. Сердца дрогнули от ужаса.

Адраст, недремлющий, неутомимый, внезапно напал на союзников. Все его движения от них были скрыты, ему каждый их шаг был известен. С невероятной быстротой он обошел в две ночи почти неприступную гору, в которой все проходы были заняты союзными войсками. Владея ущельями, они считали себя вне всякой опасности, надеялись еще разгромить неприятеля за горой по прибытии к ним ожидаемого подкрепления. Адраст, покупая тайны врагов ценой золота, сведал о их намерении. Нестор и Филоктет, вожди, знаменитые мудростью и опытом, не умели скрывать втайне своих предприятий. Нестор в преклонности века любил похвалы и

рассказы. Филоктет был молчаливого, но зато пылкого нрава. Надобно было только растревожить его сердце, оно тогда совсем обнажалось. Люди коварные нашли ключ к его сердцу и выведывали от него самые важные тайны. Стоило только тронуть его честолюбие, в порыве гнева, вне себя он громил угрозами, тщеславился верными в руках его способами к достижению цели, при малейшем виде сомнения изъяснял и доказывал их без всякой осмотрительности, и тогда сокровеннейшая тайна вылетала из сердца великого военачальника. Оно не могло хранить тайны, подобно драгоценному, но поврежденному сосуду, из которого приятнейшее вино вытекает.

Подкупленные Адрастом предатели играли слабостями обоих царей. С одной стороны, Нестору они непрестанно сплетали самые лестные похвалы, превозносили прежние его победы, дивились его прозорливости, не истощались в прославлении мудрого старца. С другой стороны, безотходно ставили сети нетерпеливому нраву Филоктетову, говорили ему о неудачах, препятствиях, неудобствах, опасностях, невознаградимых погрешностях. Лишь только огненный нрав его воспламенялся, мудрость его затмевалась, и он тогда не походил на Филоктета.

Телемак при всех своих недостатках был гораздо осмотрительнее: приучили его к тому несчастья и нужда еще с малолетства скрывать свои намерения от всех, искавших руки его матери. Без всякой лжи он умел блюсти тайну, даже ни-

когда не принимал на себя вида таинственного и осторожного, свойственного людям скрытным, на лице его не показывалось и тени какой-либо тайны в душе. Но, говоря все, что не могло иметь никакого последствия, он умел остановиться без всякого притворства именно в том месте, где мог возбудить подозрение и подать повод разгадать свою тайну. Оттого сердце его было недоступно и непроницаемо. Самые близкие друзья знали от него только то, что он считал полезным и нужным сообщить им, чтобы воспользоваться их суждениями. Одному Ментору он открывал всю свою душу, имел доверие и к прочим друзьям, но не равное, а по мере опытов дружбы и разума каждого.

Неоднократно он примечал преждевременное разглашение того, о чем говорилось на совещаниях, и предварял о том Нестора и Филоктета. Но при всей опытности они не внимали спасительному предостережению. Старость непреклонна. Раба закоренелых привычек, она невольно послушна всем своим слабостям. Подобно дереву, скривленный и усеянный сучьями ствол которого, окрепнув от времени, не может уже выпрямиться, человек, склоняясь к закату жизни, лишается силы сопротивляться привычкам, возросшим вместе с ним и проникнувшим в глубину его сердца. Часто он их усматривает, но всегда уже поздно, стенает под их игом, но всегда тщетно. Юность – тот возраст, когда еще во власти человека исправить свои недостатки.

В союзной рати был некто Евримах, долопанин, вкрадчи-



вый льстец, искусный в науке нравиться царям по вкусу и склонности каждого, неутомимый и хитрый угодник. По словам его, все было легко и удобно. Требовал ли кто от него мнения – он предугадывал, что кому по сердцу. Забавный в беседе, уклончивый перед сильным, кого боялся, он не умел щадить слабого, похвалам давал такой умный и тонкий оборот, что и скромность не отвергала этой жертвы, был с важными важен, с веселыми весел, ничего не стоило ему надеть не ту, так другую личину. Искренние и благолюбивые люди, всегда одинаковые, всегда равно покорные правилам добродетели, никогда не могут быть так милы царям, как льстецы, слуги страстей, в них господствующих. Евримах знал ратное дело, был вообще с дарованиями, долго скитался, пристал потом к Нестору, вкрался к нему в доверие, и всякую тайну, какую хотел, читал в его сердце, не совсем чуждом любви к похвалам и тщеславию.

Филоктет не имел к нему веры, но что касается Нестора, то благодаря его гневу и нраву пылкому, при первом ему прекословии Евримах узнавал от него все, ему нужное. Адраст платил изменнику золотом за вести о намерениях союзников и содержал в их стане лазутчиков, переходивших к нему по мере надобности. Во всяком важном случае Евримах посылал к нему то того, то другого, но обман не мог скоро открыться: письменных известий никогда при них не находилось, так что подозрение и при поимке их не могло пасть на Евримаха.

Между тем Адраст предварял все виды союзников. Сегодня назначалось в военном совете новое движение войскам, завтра донияне располагали по тому самому предначертанию все преграды успеху. Телемак неусыпно изыскивал причины неудач и старался внушить осторожность Нестору и Филоктету, но труд его был бесполезен, они оставались в ослеплении.

Положено было в совете дожидаться сильного, на подходе уже находившегося подкрепления, а чтобы войска от гористого берега, куда следовали, могли поспешнее примкнуть к главным силам, собрано к тому месту сто судов для перевоза их тайно ночной порой. В стане между тем все покоилось за крепкой стражей в тесных ущельях ближней горы, составлявшей неприступный почти хребет гор Апеннинских. Союзная рать стояла по берегам реки Галез недалеко от моря, в прелестной долине, богатой пажитями и всеми плодами к продовольствованию войска. Адраст был за горой и, полагали, не мог пройти сквозь ущелье. Но, зная слабые силы союзников, скорое прибытие к ним подкрепления, суда, ожидавшие свежей рати, раздор в союзном войске от распри между Фалантом и Телемаком, он спешил обойти дальними путями ущелья и гору с невероятной быстротой шел днем и ночью и прибыл к берегу моря по местам и дорогам непроходимым. Так преодолеваются величайшие преграды упорным трудом и смелостью. Для человека решительного и мужественного в терпении нет почти ничего невозможного. Засыпающий в

робкой мысли, что трудное дело невозможно, достойно наказывается внезапным страхом и поражением.

Заря утренняя только еще занималась, когда Адраст напал на суда, принадлежавшие союзникам. Стража при них была немногочисленна, и та в спокойной беспечности; он овладел ими без сопротивления, посадил на них свои войска, с невероятной скоростью достигнул устья Галеза и столь же быстро поднялся вверх по реке. Передовые к реке около союзного стана отряды, полагая, что суда следуют с ожидаемым подкреплением, встретили их громкими, радостными кликами. Адраст высадил рать свою на берег, а в стане и в мысль никому еще не приходило, что это был неприятель: он грянул и нашел союзные войска в беззащитном месте, в неустройстве, без вождя, без оружия.

Первый удар он обратил на то крыло стана, где стояли тарентинцы под знаменами Фаланта. Донияне ринулись с таким стремительным натиском, что юные воины лакедемонские, изумленные внезапным нападением, не могли отразить силы силой. Между тем, как они, бросаясь к оружию, в тревоге друг другу мешали, Адраст велел зажечь стан тарентинский. Шатры запылали; огонь взвился до облаков с шумом, подобным шуму потока, когда он разливается по обширной долине и быстрыми волнами уносит высокие дубы с глубокими корнями, стада и их кровы, жатву и житницы. Ветер бросал пламя с шатра на шатер бурными порывами, и стан в короткое время стал подобен древнему лесу, загоревшемуся

от искры.

Фалант, измеряя всю опасность, не находит средства к спасению, видит, с одной стороны, что войска, если тотчас не выйдут из стана, должны пасть жертвой пламени, с другой — что отступление в смутной тревоге перед лицом победоносного неприятеля будет не менее пагубно, решается вывести из окопов своих лакедемонян, не совсем еще вооруженных. Но Адраст по пятам их преследует. Там искусные стрелки его разят их стрелами, здесь пращники мечут в них градом огромные камни. Сам он с мечом в руке, под заревом пылающего стана, перед отборной дружиной неустрашимых гонит бегущие толпы, пожинает острым железом все, что спасается от пламени, устилает трупами поле, насытый кровопролитной сечью. Не с большей лютостью львы и тигры голодные терзают стадо и стражей. Воины Фалантовы, слабые в силах, упали и духом. Бледная смерть, ведомая адской фурией с головой, змеями обвитой, рыщет; стынет кровь от нее в жилах, леденеют оцепеневшие руки, а трепет ног отъемлет надежду и к бегству.

Стыд и отчаяние оживляли еще в Фаланте слабую искру силы и мужества, но он возвел только к небу очи и руки, когда увидел у ног своих брата, сраженного громоносной рукой Адрастовой. Гиппиас, простертый в пыли, борется со смертью. Струей бьет черная кровь из глубокой в ребре его раны, свет в глазах его меркнет, и дух, еще сильный свирепством, исходит с кровью. Обагранный родной кровью, бессильный

подать брату руку помощи, Фалант сам окружен врагами, у всех одно усилие – свергнуть его наземь, и он со щитом, пробитым стрелами, весь в ранах теряет надежду собрать бегущие войска. Боги видят побиение и не состраждут.

## Книга семнадцатая

*Телемак поражает торжествующего неприятеля.*

*Попечение его о больных и раненых.*

Юпитер в сонме всех небожителей смотрел с высоты Олимпа на поражение союзников. В тот же час он проникнул в Книгу непреложной Судьбы и читал в ней имена всех вождей, которых нить жизни должна была в тот роковой день пресечь неумолимая Парка. Все боги, безмолвные, желали предугадать по лицу Громодержца его волю. Отец богов сказал им кротким и величественным голосом:

– Вы видите бедствие союзников, видите, как Адраст разит и гонит своих неприятелей. Ложное зрелище! Слава и счастье злых ненадолго. Адраст, клятвопреступник, не одержит полной победы. Это бедствие в наставление союзникам, чтобы они исправили свои пути и хранили втайне свои советы. Мудрая Минерва готовит здесь юному Телемаку новую славу. Он утешает ее сердца.

Так говорил Юпитер. Боги в глубокой тишине смотрели на битву.

Между тем Нестор и Филоктет получили известие, что одно крыло стана обращено уже в пепел, пламя, ветром раздуваемое, распространялось, все войска были в смятении, Фалант не мог долее противоборствовать силам неприятеля. Едва печальная весть достигает их слуха – они вооружаются,

собирают ратоводцев, спешат выйти из стана и спасти войска от пламени.

Телемак, доселе сокрушенный и неутешный, забыв горесть, надевает доспехи, драгоценный дар мудрой Минервы, которая в образе Ментора, по сказаниям, приобрела их у одного из превосходных в Саленте мастеров, а в действительности умолила Вулкана выковать их в огнедышащих пропастьях Этны.

Доспехи были чисты и ясны, как зеркало, блистали, как лучи солнца. Представлялись на них Нептун и Паллада в споре о славе, кому из них назвать новый город своим именем. Нептун трезубцем ударил в землю – и бурый конь выпрыгнул из недр земли: из очей сыпались искры, из рта клубилась пена, ветер играл волнистой гривой, быстро и сильно дугой гнулись гибкие ноги, не шел он, мчался, как вихорь следа по нем не оставалось, только что не был слышан звук его ржания.

С другой стороны Минерва вручала обитателям нового своего города оливковую ветвь, плод взращенного ею дерева. Ветвь с плодами была знаком благословенного мира и изобилия, вождеденнейших бранного грома, которого конь был изображением. Даром простым, но полезным богиня одержала победу, и гордые Афины украсились ее именем.

Та же Минерва собирала под кров свой изящные художества, нежных, крылатых младенцев – они стекались к ней в страхе и трепете от кровожадного Марса, как боязливые агн-

цы бегут к матери от голодного волка, когда он ринется на них с разверстой и пламенной пастью.

Там же Минерва, с лицом гневным и с негодованием, по-срамляла красотой своих рукоделий безумную надменность Арахны, которая дерзнула спорить с ней о превосходстве тканей. Несчастливая таяла, все ее члены, превращаясь в паука, изменялись, чахли.

Вслед за тем еще являлась Минерва, как она в брани с гигантами подавала совет самому Громодержцу и всех смущенных богов успокаивала.

Она же представлялась с копьем и эгидом на берегах Симоиса и Ксанта, вела за руку Улисса, новым духом оживляла греческие войска, обращенные в бегство, удерживала стремление бурных ратоводцев троянских и страшного Гектора, наконец, вводила Улисса в ту роковую громаду, которой суждено было ниспровергнуть в одну ночь царство Приамова.

С другой стороны щита видна была Церера на плодоносных полях Энских в Сицилии: она созывала рассеянных той страны обитателей. Иные из них гонялись в лесах за зверями, другие собирали под деревьями желуди. Она наставляла дикарей, как возделывать землю и доставать пищу из неистощимых ее недр, показывала им плуг, учила смирать волов под ярмо. Взрыхлялась земля, послушная плугу, тучные нивы одевались золотыми колосьями, жнец ссекал серпом благословенную жатву, за труд свой возмездие, и железо, орудие пагубы и истребления, предуготовляло избыток, рожда-



ло утехи.

Нимфы, в венках из цветов, хороводом плясали по лугу на берегу реки под сенью рощи. Пан играл на свирели, в стороне скакали резвые сатиры и фавны. Вахх в венке из повилики, опершись одной рукой на жезл, в другой держал виноградную лозу, богатую листьями и гроздьями, – сам живой образ красоты, исполненной чувства, с благородством, спянным с томной и страстной негой. В таком виде он некогда явился несчастной Ариадне, покинутой на чужом берегу, одинокой, снедаемой грустью.

Со всех сторон видно было множество народа. Старцы несли начатки плодов в храмы на жертву, юноши, утомленные дневным трудом, возвращались под свои кровы, спешили к ним жены навстречу, вели за руки детей и лелеяли. Пастухи пели песни, иные плясали под звуки цевницы. Все представляло мир, изобилие, радость, все процветало и веселилось. Волки на пажитях играли с овцами, лев и тигр, забыв свою лютость, паслись вместе с робкими агнцами, и малый отрок с пастушеским посохом гонял их в одном стаде по своей воле: приятнейшее изображение, напоминавшее все счастье золотого века!

Надев на себя божественные доспехи, Телемак взял не свой щит, а ужасный эгид, который Минерва прислала ему с Ирисой, быстрой вестницей богов. Его щит Ириса тайно сокрыла и на место его положила эгид, страшный и небожителям.

Так вооруженный, он выходит из пылающего стана и сильным голосом зовет к себе военачальников. Могучий голос отдается в сердцах уstraшенных союзников. Божественный огонь горит в глазах юного витязя. Кроткий, спокойный, внимательный, он раздает повеления так свободно, как мудрый старец наставляет сынов и устраивает семейство, но он скор и быстр в исполнении, подобно реке, которой пенистые волны, гоня одна другую, уносят огромные корабли в бурном стремлении.

Филоктет, Нестор, вожди мандуриян и всех прочих народов невольно внемлют и покоряются власти сына Улисса, молчит перед ним опытность старцев, дух совета и мудрости отъемлется от ратоводцев, даже зависть, чувство, знакомое людям, таится безгласная. Все удивляются, безмолвные, готовые повиноваться Телемаку без размышления, будто по древней привычке исполнять его волю. Он всходит на холм, оттуда обзревает расположение сил неприятельских и видит, что они сами смешались от пожара в стане; решился внезапно ударить на них прежде, чем они могли устроиться, спешит обвести в обход союзные войска; все вожди за ним следуют.

Донияне считали союзников жертвой пламени. Вдруг Телемак грянул на них с тыла – обмерли от ужаса и под острием меча его падали, как лист в лесу валится с деревьев в глубокую осень, когда от бурных порывов грозного аквилона корни стонут и дубы столетние гнутся. Земля устлана трупами

воинов, сраженных сыном Улиссовым. Копьем он пронзает в сердце Ификлеса, младшего сына Адрастова: дерзнул противостать ему в битве, ограждая отца от грозившей опасности. Телемак и Ификлес, оба цветущие красотой, оба витязи силой, мужеством и искусством в боях, были одних лет, одного роста, равно милы родителям. Но Ификлес был подобен развившемуся и подсеченному в полном цвете серпом жнеца крину. Потом Телемак низлагает Ефориона, знаменитейшего из всех пришедших в Этрурию лидян, наконец, сражает мечом Клеомена, новобрачного, который обещал юной супруге своей возвратиться с богатой добычей, но которому суждено было никогда уже не видеть ее.

Адраст кипел яростью в сердце, видя падение любезного сына, смерть многих своих ратоводцев и победу, из рук его исторгаемую. Фалант, теснимый Адрастом и обессиленный, подобен был жертве, прободенной, но не в сердце, когда она, ускользнув от священного ножа, бежит далеко от капища. Еще одно мгновение – и могучий лакедемонянин пал бы под рукой Адраста.

Облитый кровью своей и кровью сподвижников, он вдруг слышит голос Телемака, идущего к нему на помощь, – и жизнь, угасавшая в нем, воскресает, и мрак пред глазами его рассыпается. Донияне, изумленные неожиданным нападением, бегут от Фаланта отразить нового врага опаснейшего. Адраст рыщет, как тигр, когда пастухи, ставши дружиной, отнимают у него добычу из пасти. Телемак ищет его посре-

ди сечи и хочет одним ударом и войну прекратить, и союзников избавить от непримиримого неприятеля. Но Юпитеру неугодно было даровать так скоро сыну Улиссову нетрудной победы. Сама Минерва желала испытать его долее в несчастьях, чтобы он лучше узнал науку народоправления. Отец богов пощадил пока Адраста, а Телемаку тем самым предоставил время возрасти в доблести и стяжать блистательнейшую славу. Собралась по мановению Громодержца черная туча, страшный гром возвестил волю богов. Затряслись над головами слабых смертных вечные своды Олимпа, молния рассекала тучу от края до края неба, все пылало, и потом вдруг все одевалось ужасным мраком. Хлынул наконец дождь и разлучил враждебные рати.

Адраст обратил помощь от богов в свою пользу, но не смирился перед их всемогуществом и неблагодарностью изострил еще стрелы праведной мести. Между станом в огне и простиравшимся до самой реки болотом он провел рать свою в таком порядке, с такой поспешностью, что отступление было новым опытом его искусства и присутствия духа. Ободренные Телемаком союзники ударились в погоню, но, заслоненный сумраком тучи, он ускользнул от них, как из сетей ловца улетает быстро парящая птица.

Союзники, возвратясь, приступили к восстановлению опустошенного стана. Тут им представилась вся картина горестных последствий войны. Больные и раненые, без силы выйти из-под навесов, не могли спастись от пламени, лежали

все обожженные и слабыми, могильными голосами умоляли небо пресечь их страдания. Это печальное зрелище раздирало сердце сына Улиссова, он заплакал, смыкая глаза от ужаса и жалости, не мог без содрогания смотреть на тела, еще живые, но на медленную и мучительную смерть обреченные, подобные жертвам, сжигаемым в капищах и слышным по духу далеко в окрестности.

– Вот бедствия, неразлучные с войной! – говорил Телемак. – Какое неистовство ослепляет несчастных людей! Малы дни их жизни под солнцем, и те исчезают в беде и суетах. Зачем бы еще гоняться за смертью, и без того всегда к нам близкой; к горестям, которыми боги усеяли краткий наш путь на земле, прилагать меч и огонь со всеми их ужасами? Люди братья, а друг друга терзают. Хищные звери не так кровожадны. Львы не восстают на львов, ни тигры на тигров: человек с даром разума один делает то, чего никогда не делали бессмысленные животные. И к чему брани? Не будет ли во вселенной каждому в удел столько земли, сколько и не возделает? Сколько пустынь, еще необитаемых? Не наполнит их весь род человеческий. Ложная слава, желание приобрести пустое имя завоевателя зажигают войну и переносят ее в необозримые степи. Один человек, посланный на землю разгневанными богами, осуждает тысячи в жертву своему властолюбию. Все гибнет, все тонет в крови, огнем пожирается, спасенный от меча и от пламени не может спастись от голода, всех казней мучительнейшего, для того, чтобы один

человек, играя природой, нашел себе потеху и славу в разрушении. Ужасная слава! Ненависть и презрение всего мира – слишком легкое наказание за столь глубокое забвение человечества. Такой бич – не только не полубог, но и не человек, и вместо удивления, ожидаемого им от поздних веков, век веку должен передавать его имя с проклятьями. О, с каким попечением надобно стараться избегать войны, прежде чем бранный меч обнажится! Война должна быть справедлива, мало того: она должна быть еще необходима для общего блага. Кровь народа не должна проливаться ни для чего иного, как только для его же спасения в неотвратимых опасностях. Советы ласкателей, ложные понятия о славе, малодушная зависть, несправедливая алчность с лицом благовидным, наконец, мелкие уважения, незаметно превращаемые в обязанности, вовлекают царей в войны, где ждут их несчастья, где они жертвуют всем наудачу без всякой нужды и где их подданные столько же страждут, как и неприятели.

Так размышляя, Телемак не ограничивался слезами о бедственных плодах войны, а старался уврачевать раны, сам приходил в шатры подавать руку помощи страждущим, снабжал их лекарствами и деньгами, утешал и ободрял их дружескими беседами, кого сам не мог посещать, к тем посылал своих спутников.

Были при нем два критянина, старцы Тромофил и Нозофуг. Тромофил был под Троей с Идоменеем и там от сынов Эскулаповых принял божественный дар целить язвы. В

самые глубокие и застарелые раны он вливал благовонный состав, истреблявший без всякого искусства руки гнилые и мертвые части тела так, что они в короткое время возрождались с новой крепостью.

Нозофуг не знал сынов Эскулаповых, но посредством Мерриона получил священную, таинственную книгу, оставленную Эскулапом в наследство детям. Сам он был друг богов, сочинял песни в честь дочерей Латониных и ежедневно приносил белую овцу в жертву Аполлону за вдохновение свыше. Посмотрев на больного, он узнавал по глазам, по цвету лица, по дыханию, по образованию тела причину болезни, пользовал лекарствами, производящими пот, изъясняя по мере их действия, до какой степени остановленная или свободная испарина расстраивала или подкрепляла все сложение тела, при расслаблении сил давал питье укрепляющее, которое, действуя постепенно на внутренний состав и очищая кровь, обновляло в больном юность и силы. Но он утверждал, что с добродетелью, с мужеством против страстей человеку не было бы нужды так часто лечиться.

– Стыдно людям, – говорил он, – что между ними столько болезней. Надежнейший страж здоровья – непорочность нравов. Невоздержность претворяет целительнейшие снеди в яд смертоносный. Все врачевства не могут столько продлить жизни человеческой, сколько сокращают ее неумеренные наслаждения. Бедные не столько страдают от недостатка в пище, сколько богатые от пресыщения. Снеди ла-

комые и прихотливые – не пища, а отравы. Лекарство само по себе уже зло, подмывающее природную крепость, и надлежит употреблять его только в необходимости. Великое, всегда невинное, всегда спасительное лекарство – трезвость, умеренность в наслаждениях, спокойствие духа, телесные упражнения. Тогда кровь течет тихо, без всякого волнения, и все излишние в теле мокроты сами по себе истребляются.

Таким образом мудрый Нозофуг славился не столько еще врачеванием, сколько советами о умеренности, которая верный щит от болезней и при которой искусство врача мало нужно.

Телемак поручил обоим старцам осмотреть больных и раненых в стане. Многих они исцелили лекарствами, но еще более попечением о благовременном во всем пособии, содержанием больных в чистоте, на свежем воздухе и наблюдением строгой умеренности при выздоровлении. Умиленные сострадательной заботливостью, воины благословляли богов за то, что послали им Телемака.

Он не человек, говорили, а, без сомнения, бог благотворный во образе смертного, если же и человек, то ближе к богам, нежели к людям. Каждый час его жизни ознаменован благодеяниями. Нельзя не любить его за доблесть и мужество, но он стократно еще любезнее кротостью и благосердием. О, если бы мы были под его державой! Но боги хранят его для другого, счастливейшего нас, любимого ими народа,



в стране которого желают возобновить блаженство золотого века.

Телемак, всегда осторожный против Адраста, известного ратной хитростью, обходя стан ночной порой, слышал эти похвалы, неподозрительные, чуждые лести, совсем отличные от тех похвал, которыми часто ласкатели вслух и в глаза превозносят царей, не опасаясь встретиться со стыдом или скромностью и зная, что немолчная хвала не сегодня завтра входит прямо в сердце и в милость. Сыну Улиссову то только могло быть приятно, что было истинно, и та только хвала была для него не омерзительна, которая воздавалась ему втайне, не вслух, по заслугам. К таким похвалам нехладно было сердце его, знакомое с тем сладостным небесным удовольствием, которое боги даровали в удел одной добродетели, которое никогда не проникало в сердце порочное и для такого сердца навсегда останется непостижимой тайной. Но он и здесь не упивался удовольствием, приходили ему на память все прежние его преткновения, природная надменность, бесчувственность к людям. Он сгорал от стыда, размышляя, что родился с лицом, дышащим любовью, а с сердцем каменным, и всю славу, ему приписываемую, воссылал с чувством недостойности, как жертву мудрой Минерве.

– Ты, великая богиня, – говорил он – даровала мне Ментора для наставления и исправления злых моих склонностей, ты отвергаешь мне ум познавать свои слабости и быть на страже у сердца, ты укрощаешь мои бурные страсти, науча-

ещь меня находить сладость в пособии страждущим, без тебя я был бы ненавидим и достоин общей ненависти, прилагал бы погрешность к погрешности, был бы подобен младенцу, который, не чувствуя своего бессилия, отходит от матери и на первом шагу, преткнувшись, падает.

Нестор и Филоктет, видя кротость сына Улиссова, всегдашнюю мысль его делать другим добро и удовольствие, готовность к услугам и помощь, рвение предварять всякую нужду, не могли надивиться столь великой в нем перемене, не верили глазам своим, не узнавали Телемака.

Но еще более он удивил их попечением при погребении Гиппиаса. Сам он пошел на то место, где тело витязя, облитое кровью и обезображенное, лежало под грудой трупов, сам его поднял и оросил благоговейными слезами.

– О великая тень! – говорил он. – Ты ныне видишь, как я чтил твое мужество. Я был раздражен твоей гордостью, но юность одна была виновницей твоих недостатков. Знаю по себе, сколько снисхождения требует пылкий наш возраст. Мы были бы со временем искренними друзьями. Я также неправ перед тобой. О! Боги! Вы похитили у меня Гиппиаса прежде, чем я мог заставить его полюбить себя.

Потом он велел сложить костер и омыть тело благовонными водами. Застонали от секир великие сосны и, обрушась, катились вниз сверху горы. Дубы, престарелые сыны земли, грозившие небу, высокие тополи, роскошные листьями пышные вязы, буки, краса лесов, покрыли берег Галеца.

Возведен сруб в виде правильного здания, дым бурным клубом взвился до облаков.

Шагом тихим и печальным лакедемоняне шли к берегу с потупленными глазами, с опущенными копьями. Глубокое сокрушение написано было на грозных их лицах, из глаз слезы ронялись. За ними следовал Ферезид, старец, удрученный не столько еще бременем лет, сколько горестью, что пережил питомца своего Гиппиаса, с горьким плачем он возводил к небу руки и очи. Со дня смерти Гиппиаса он отрекся от всякой пищи, и сладкий сон с того часа не смыкал его вежды, ни на одно мгновение не прерывал скорби его сердца. Дрожащими ногами он шел за толпой. Ни одно слово не выходило из уст его, заключилось сраженное сердце: так молчит унылое отчаяние. Но когда он увидел костер загоревшийся, то вдруг в исступлении, вне себя воскликнул:

– О Гиппиас! Гиппиас! Мне уже не видеть тебя. Не стало Гиппиаса, а Ферезид еще дышит. Я, безжалостный, научил тебя презирать смерть, любезный мой Гиппиас! Я надеялся, что ты закроешь мне глаза, примешь последнее мое дыхание. Жестокие боги иначе судили, мне велели быть зрителем твоей смерти. Любезный сын, воспитанный мной с неусыпными трудами! Мне уже не видеть тебя. Но я увижу твою мать, как она будет упрекать меня твоей смертью, сама умирая от тоски и грусти, увижу юную твою супругу, как она будет терзать себе перси, рвать на себе волосы – и я буду виновником их горести. Зови меня к себе на берег Стикса, о тень драгоцен-

ная! Свет мне ненавистен. Одного я желаю – увидеть еще любезного своего Гиппиаса. О Гиппиас! Гиппиас! Иду к тебе, отдам только последний долг твоему праху.

Между тем тело юного витязя было несомо в гробе, украшенном серебром, золотом и багряными тканями. Смерть погасила огонь в очах, но не могла помрачить всей красоты его. Бледное лицо сохраняло еще остатки приятности. Длинные, черные волосы, каких ни Атис, ни Ганимед не имели, – скоро прах и пепел! – кудрями сходили по шее, снега белейшей. В ребре видна была глубокая рана, в которую вытекла вся его кровь и от которой он сошел в мрачное царство Плутоново.

Печальный и унылый, Телемак шел за гробом, осыпая тело цветами. Достигли места сожжения, и, когда покровы на гробе загорелись, он вновь залился слезами и говорил:

– Прощай, великодушный Гиппиас! Не смею назвать тебя другом. Почий в мире, о тень, достойная славы! Без любви к тебе я позавидовал бы твоему счастью: ты свободен от бедствий, нас окружающих, и путем светлым вышел из плена. О, если бы конец моих дней был подобен твоей кончине. Да прейдет тень твоя воды Стикса, и да внидет в обители Елисейских Полей! Слава да возвестит твое имя позднему потомству! Да почиет прах твой в мире!

На слова его, прерываемые вздохами, все войско отозвалось воплем: сожалели о Гиппиасе, рассказывали про его подвиги и соболезновали о смерти его, напоминая все его

добрые качества, заслоняли недостатки его пылкого нрава и небрежного воспитания. О Телемаке, нежными чувствами дружбы возбуждавшем во всех еще большее умиление, говорили: «Не это ли тот самый грек, которого мы знали гордым, надменным и недоступным? Какон теперь кроток, человеколюбив, сострадателен! Отец его был любимцем Минервы, любит Минерва и сына: от нее, без сомнения, он получил совершеннейший дар, какой только свыше может ниспослан быть смертному, – мудрость с сердцем дружелюбным».

Огонь обратил в пепел тело Гиппиаса. На прах, еще дымившийся, Телемак вылил благовонную воду, потом собрал прах в золотую пеплохранительницу, обвил ее цветами и понес к Фаланту. Простертый, покрытый ранами, истощенный в силах, Фалант лежал при вратах смерти.

Тромофил и Нозофуг, посланные к нему сыном Улиссовым, употребили все средства к его уврачеванию и мало-помалу возвратили ему жизнь, отходившую; воскресла в нем крепость, тонкая и благодетельная сила, дух здравия, переходя из жилы в жилу, проникал в глубину его сердца, животворный огонь исторгал его из хладных рук смерти. Проходило изнеможение, но не сердечная горесть. Он, напротив того, теперь только начал чувствовать потерю брата. «К чему столько забот о моей жизни, – говорил он. – Не лучше ли бы мне умереть, пойти вслед за любезным моим Гиппиасом и не видеть его погибающего перед глазами моими? О Гиппиас! Отрада, свет моей жизни! Брат мой! Не стало тебя! Мне

уже тебя не видеть и не слышать, не прижму я уже тебя к сердцу, не открою тебе своих скорбей, в печали тебя не утешу. О боги! Враги человека! Нет уже у меня Гиппиаса! Но мне ли лишиться его. Не во сне ли я все это вижу? О нет! Все совершилось. Гиппиас! Мне уже не видеть тебя, я был свидетелем твоей смерти, а сам должен жить, пока не отмщу за тебя. Падет от руки моей в жертву твоей тени жестокий Адраст, омывшийся твоей кровью».

Между тем божественные старцы оба старались успокоить смятенное сердце больного, боялись, чтобы от горести болезнь не усилилась и врачевства не остались без действия. Вдруг он увидел шедшего к нему Телемака. При первом на него взгляде возбудились в душе его две противные страсти: жила в его памяти распря между Гиппиасом и Телемаком, а печаль о потере брата питала еще более в нем неудовольствие. С другой стороны, он не забыл, что сам обязан жизнью Телемаку, когда тот исторгнул его из рук Адрастовых, окровавленного и полумертвого. Но когда увидел пеплохранильницу, где заключался драгоценный прах его брата, то залился слезами, обнял Телемака, тотчас не мог говорить, потом сказал ему слабым, прерываемым стоном голосом:

– Достойный сын Улисс! Добродетель твоя заставляет меня любить тебя. Я обязан тебе остатком угасающей жизни, но тебе же обязан и тем, что дороже мне самой жизни. Без тебя тело брата моего, непогребенное, было бы добычей воронов, и тень его, как несчастная странница, отгоня-

емая неумолимым Хароном, скиталась бы вечно по берегу Стикса. И все это мне от того, кого столько я ненавидел. О боги! Воздайте ему за всю его благодать, а меня избавьте от бедственной жизни. Телемак! Остается тебе отдать последний долг другому брату и тем довершить свою славу.

Фалант, сокрушенный, впал потом в изнеможение. Телемак стоял у одра его молча, ожидая, пока сила к нему возвратится. Вскоре он, ободренный, принял от Телемака пеплохранильницу, облобызал ее, облил слезами и говорил:

– Любезный и драгоценнейший прах! О, когда мой прах соединится с тобой! Иду к тебе, о тень брата и друга! Телемак отмстит за тебя и за меня.

Но каждый день, при пособии искусства Эскулапова, приносил Фаланту новую крепость. Телемак не отходил от больного, а врачи пред глазами его не щадили ни труда, ни внимания в пользовании. Войска дивились доброте его сердца, скорого на помощь врагу, еще более, нежели мужеству и разуму его при спасении союзников в битве.

При всех заботах он переносил всю тягость военной жизни неумолимо и бодро, спал мало, и кратковременный сон его бывал прерываем или частыми донесениями не только днем, но и ночью, или внезапным всегда в разных местах и в разные часы обозрением стана, чтобы видеть, все ли были бдительны на страже. Нередко он возвращался, покрытый потом и пылью, пищу употреблял самую простую, жил, как обыкновенный воин, стараясь показать собой другим при-

мер трезвости и терпения, при недостатке в продовольствии предварял ропот в войске охотной наравне со всеми покорностью общей нужде. Но при столь трудной и тягостной жизни тело его не только не ослабевало, но еще окрепло. Сходила с лица его волшебная нежность приятностей – ранняя заря первого возраста, лицо в цвете потускло, но возмужало, менее в нем стало неги, но более силы.



## Книга восемнадцатая

*Телемак оставляет стан и, заключая по сновидениям, что отец его скончался, сходит в царство мертвых.*

*Описание Тартара.*

Адраст с разбитым войском отступил за гору Авлонскую и там ожидал подкрепления, надеясь еще раз грянуть на неприятеля, подобный голодному льву, прогнанному от овчарни: идет, свирепый, обратно в глушь дремучего леса, в темное свое логовище, острить зубы и когти и, замыслив гибель стада, выжидает благоприятного времени.

Учредив в стане строгий порядок, Телемак думал уже только о совершении любимого своего намерения, тайного от всех полководцев. Давно с крушением сердца каждую ночь во сне он видел Улисса. Улисс всегда являлся ему под конец ночи, перед тем как утренняя заря приходила прогонять звезды с тверди небесной, а с лица земли сон со всеми его спутницами, беглыми мечтами. Представлялось ему иногда, что он видел его нагого, на незнакомом, но приятнейшем острове, на берегу прозрачной реки, в долине, цветами усеянной, в кругу нимф, которые бросали ему покровы на тело, иногда, — что слышал его речи в великолепных, светлых золотом и слоновой костью чертогах, где предстоящие, каждый в венке из цветов, внимали ему в сладость и дивовались. Часто Улисс вдруг являлся ему на празднестве,

где все дышало посреди прохлад небесной радостью и слышался волшебный голос со звуками лиры, с которой в нежности не могли сравниться ни песни муз, ни звук лиры самого Аполлона.

Воспрянув, печальный от восхитительных сновидений, он говорил: «Отец мой! Любезный отец! Сны ужаснейшие были бы для меня утешительнее. Райские видения! Но они показывают, что ты уже сошел в обитель блаженных душ, приявших от богов вечный мир в возмездиеза добродетели. Не мечты во сне – вижу Поля Елисейские. Мучительная казнь – жизнь без надежды! Но, любезный отец мой, мне ли и подлинно никогда уже не видеть тебя? Не обнимать уже мне того, кто столько любил меня и кого я ищу с таким трудом, с такими скорбями? Не слышать мне тех уст, из которых мудрость исходила? Не лобызать уже мне той любезной, победоносной руки, которая низложила столько врагов? И она не накажет безумных преследователей моей матери? И Итаке уже никогда не восстать из развалин? О боги, враги отца моего! Ваш мне дар – зловещие сны: они уносят жизнь, исторгая из сердца надежду. Не могу я жить в таком томлении и неизвестности. Но что я говорю? Еще ли я не уверен в том, что нет уже на свете Улисса? Сойду в царство тьмы искать его тени. Сошел туда Тезей, преступный, с хулой в устах на преисподних богов, а я пойду, руководимый благоговением. Сошел Геркулес: я далек от Алкида, но и дерзновение идти по стопам великого славно. Орфей повестью о своем

злополучии приклонил на жалость сердце неумолимого бога и испросил у него Евридике свободу возвратиться в страну живых. Я достоин ее сострадания: потеря моя несравненна. Юная дева, одна из тысяч, может ли сравниться с мудрым Улиссом, чтимым всей Грецией? Пойду и, если так суждено, погибну. Страдальцу ли бояться смерти? Плутон и ты, Прозерпина! Я скоро испытаю, так ли вы безжалостны, как говорят о вас нам предания. Отец мой! По суше и по морю тщетно я странствовал за тобой: пойду, не найду ли тебя в мрачной обители мертвых? Если богам неуютно, чтобы я увидел тебя лицом к лицу на земле, еще на свете солнца, то, может быть, они даруют мне утешение узреть хоть тень твою в области ночи».

Так говоря, он окроплял слезами постелю, потом вдруг вставал и в дневном свете искал отрады в мучительной грусти от сновидений. Но, как стрела, она запала ему в душу, везде и всегда с ним неразлучная.

В тоске сердца он решился сойти в преисподнее царство в знаменитом месте, известном под именем Ахеронтии, недалеко от стана. Там была ужасная пещера, путь к берегам Ахерона, которым и боги не смеют красться. На скале стоял город, как гнездо на верху высокого дерева. У подошвы горы начиналась пещера, куда никто из смертных не смел приблизиться. Пастух отгонял от нее свое стадо: воздух там заражался от серных паров Стигийского озера, выходивших из этого страшного вертепа.

Кругом ни трава, ни цветы не росли, ни тихие зефиры никогда не веяли, ни юные прелести весны, ни богатые дары осени не показывались. Уныло лежала бесплодная земля в запустении, изредка только виднелись голые кустарники или плакучие кипарисы. Вдали еще Церера переставала награждать золотой жатвой труд земледельца, и надежда на плоды Вакховы всегда была тщетной: не созревали, но на тощей лозе вянули гроздья. Не бежала струя за струей печальной наяды, дремали горькие и мутные воды. Никогда птицы не пели в этой мертвой и дикими тернами заросшей пустыне, не находили там они сени и улетали петь любовь под другим, приятнейшим небом: слышны были только зловещее завыванье совы или крик ворона. Трава даже была напитана горечью, и стада на ней никогда не играли. Вол бегал от юницы, и унылый пастух забывал свирель и цевницу.

Густой и черный дым по временам выходил из пещеры: день переменался в темную ночь. Окрестные жители спешили тогда приносить преисподним богам жертвы за жертвами умилоствления. Но жестокие боги, послав гнев свой в смертоносном поветрии, часто пожинали в жертву примирения юношей в полном цвете возраста или на заре еще лет нежных младенцев.

В этом страшном месте Телемак решился искать путь в мрачное царство Плутоново. Минерва, недремлющий страж его с незримым эгидом, приклонила к нему сердце безжалостного бога. Сам Юпитер по мольбе ее велел Меркурию,

сходящему каждый день в ад, предавать Харону предназначенное судьбой число усопших, объявить царю теней волю его: впустить в свою область сына Улиссова.

Тайно от всех Телемак оставляет стан ночной порой, идет при свете луны и взывает к этой могущественной богине, которая на тверди небесной – блистательное светило ночи, на земле – целомудренная Диана, в преисподней области – страшная Геката. Богиня прияла мольбу его с благоволением: сердце его было чисто, и подвиг его был дерзновением сыновней любви богоугодной.

Достигнул он входа в пещеру – и вдруг услышал глухой гул подземного царства. Земля под ногами его колебалась, небо горело от зарева молний, огненный дождь падал на землю. Дрогнуло сердце юного героя, холодным потом облилось все его тело, но не упал в нем дух мужества. Он возвел очи, воздел руки на небо, воскликнул: «О всеильные боги! Я приемлю ужасные предзнаменования залогом счастья: совершите свое дело!» Сказал – и твердым шагом ступил в пещеру.

Тогда черный дым, смертоносный для всякого подходившего к тому месту животного, рассыпался, и убийственный смрад исчез на краткое время. Телемак входит один – и кто же из смертных дерзнул бы за ним следовать? Два критянина, которым он вверил свою тайну, спутники его только до некоторого расстояния от пещеры, остались в отдаленном храме, в трепете и полумертвые, моля богов, но без надежды увидеть вновь Телемака.

С мечом в руке сын Улиссов вошел в страшную тьму подземного царства и скоро завидел слабое, тусклое мерцание, подобное огню вддали на поле в ночную пору: смотрит – во круг его носятся легкие тени; мечом он гонит их прочь от себя, потом усматривает печальный берег реки, полной ила, едва зыблющей мутные и усыпленные воды, а по берегу тьмы не погребенных по смерти, подходящих с мольбами тщетными к неумолимому Харону. Вечный старец, юный крепостью сил, с лицом всегда скорбным и пасмурным, грозный, отгоняет несчастных пришельцев и берет в ладью к себе юного грека. Телемак на первом шагу слышит отчаянные стенания тени.

– В чем твое несчастье, – спросил он тень, – и кто ты был на земле?

– Я Набофарзан, – отвечала тень, – царь великого Вавилона. От имени моего трепетали все народы на Востоке, вавилоняне поклонялись мне в мраморном храме, где стоял мой образ из золота и где курились перед ним денно и ночью аравийские драгоценнейшие благовония. Никогда никто не воспрекословил мне безнаказанно. В полную чашу сладостей жизни прилагались для меня новые каждый день удовольствия. Я был молод летами и крепостью. Сколько наслаждений оставалось еще мне на престоле! Но женщина, предмет моей страсти, воздавая за любовь ненавистью, показала мне, что я не бог: опоила меня ядом – и вся моя слава исчезла. Вчера прах мой с пышным обрядом положен в зо-

лотую пеплохранительницу: плакали, рвали на себе волосы, многие при сожжении моего тела хотели даже броситься в огонь, умереть вместе со мной. Приходят еще и теперь к великолепному моему гробу проливать заказные слезы, но ни одно сердце обо мне не посетовало, имя мое вспоминается с ужасом даже в собственном моем семействе, а здесь я уже терплю страшные казни.

– Но был ли ты истинно счастлив в свое царствование, – спросил его Телемак, растроганный неожиданным зрелищем, – знал ли ты тот сладостный мир, без которого сердце посреди всех прохлад жизни томится в тесноте духа?

– Нет! – отвечал вавилонянин. – И язык твой для меня непонятен. Такой мир мудрые славят как верховное благо, мне он совсем неизвестен. Сердце мое непрестанно было волнуемо новыми желаниями, страхом и надеждой. Я старался оглушать себя шумом страстей, продолжал в себе упование, боялся, чтобы оно не прекратилось, самый слабый свет спокойного, здравого разума и на краткий час был бы мне язвителен. Таким миром я наслаждался: всякий иной для меня – мечта небывалая. Вот мое счастье, о котором я теперь сокрушаюсь!

И рыдал он, малодушный, расслабленный сластолюбием, незнакомый с постоянным терпением в горести. Окружали его рабы, умерщвленные в честь его при погребении и отданные Меркурием Харону вместе с царем с полной властью над прежним владыкой. Не боялись уже его тени рабов, держали

на несокрушимой цепи, осыпали ругательствами, говорила ему одна: «Ты думал, что мы не люди. Как ты мог дойти до такого безумия, чтобы считать себя богом? И не вспомнил, что был такой же смертный, как и другие?» Другая с злобным смехом: «Ты не хотел слыть человеком – и справедливо! Ты был изверг без всякого чувства человеческого!» Третья: «Что же теперь? Где твои ласкатели? Раздавать тебе уже нечего, не можешь быть и злодеем. Смотри – ты раб рабов своих. О!.. Боги долго медлят с мечом правосудия, но рано или поздно карают».

При столь жестоких поруганиях Набофарзан, вне себя от ярости и отчаяния, пал лицом наземь, рвал на себе волосы. Харон сказал рабам: «Возьмите за цепь и поставьте его на ноги. Он не достоин той отрады, чтобы сокрыть свое посрамление. Пусть все тени Стикса будут свидетелями и оправдают богов, долго терпевших на земле владычество злодея. Но, вавилонянин, здесь еще только начало болезней, предстанешь пред лице Судии, непреклонного Миноса!»

Так говорил страшный Харон. Ладыя между тем достигла берега царства Плутонова. Стекались тени смотреть на живого посреди мертвых, но лишь только Телемак ступил на берег, они разбежались, как тени ночные рассыпаются от дневного света. Харон, обратив на юного грека очи уже не грозные, сказал с лицом прояснившимся: «Любезный богам смертный! Когда тебе суждено войти в царство ночи, для всех живых заключенное и недоступное, то спеши, куда



Судьба призывает тебя. Вот путь, который приведет тебя в чертоги Плутоновы! Увидишь бога на престоле и примешь сам от него дозволение вступить в заповеданные обители».

Отважно идет Телемак по указанному пути, со всех сторон видит летающие тени, бесчисленные, как песок на краю моря, и посреди необозримого волнения, в глубокой, мертвой тишине беспредельного пространства исполняется священного ужаса. Когда же он приблизился к мрачному дворцу неумолимого Плутона, то волосы на нем встали дыбом, колена под ним подломились, на устах замер голос, с трудом он мог сказать: «Грозный бог! Ты видишь пред собой сына несчастного Улисса! Прихожу к тебе узнать, сошел ли уже отец мой в твоё царство или еще странствует под солнцем?»

Плутон сидел на черном престоле с лицом бледным, суровым, с челом, покрытым морщинами, грозным. Молнии сверкали из впалых очей, вид живого человека был ему ненавистен, подобно тому как свет язвителен для глаз животного, выходящего из логовища только в ночную пору. Прозерпина сидела подле него, и она одна привлекала на себя его взоры, одна смягчала его сердце вечно юной, вечно цветущей красотой. Но жестокость мужа отражалась и на ее божественных прелестях.

У подножия престола стояла Смерть, бледная, алчная, с косой, все пожинаящей и непрестанно изощраемой. Носились вокруг скорби задумчивые, подозрения, непрерывно терзающиеся, мщение, изъязвленное и роняющее кровь с се-

бя каплями, несправедливая ненависть, скупость, сама себя снедающая, отчаяние с разодранным собственными руками сердцем, необузданное и всегубительное честолюбие, измена, жаждущая крови и издыхающая от ожидания возмездия за злодеяния, зависть, разливающая вокруг себя яд смертоносный и кипящая злостью от бессилия вредить ненавидимым, неверие, само себе роющее бездну и низвергающееся без всякой надежды восстать от падения, гнусные призраки, мечты, в страх живым представляющие образы мертвых, ужасные сновидения и бессонница, равно мучительная – зловещие тени, которые окружали престол неумолимого Плутона, жители мрачных его чертогов.

Гробовым голосом бог отвечал Телемаку, и от слов его дрогнули все основания ада. «Юный смертный! – сказал он. – Судьбе угодно предоставить тебе нарушить закон священной страны теней. Последуй вышнему предопределению. Не нужно мне говорить тебе, где твой отец: свободно можешь искать его в моей области. Как он был царем на земле, то пройди только с одной стороны ту часть мрачного Тартара, где злым царям уготованы казни, а с другой – Поля Елисейские, где благолюбивые цари приемлют возмездие. Но путь в Елисейские Поля идет через Тартар. Иди и не медли выйти из моей области».

Сын Улиссов быстро проходит необозримое, пустое пространство, сгорая нетерпением увериться, найдет ли отца, и стремясь удалиться от грозного лица бога, содержащего в

страхе живых и мертвых. Скоро он завидел уже вблизи мрачный Тартар с черным, выходящим из него дымом, которого убийственный смрад, если бы проник он в страну живых, распространил бы по земле ужасы смерти. Дым тучей плавал над огненной рекой, волнуемой пламенными вихрями: ничего нельзя было явственно слышать от шума бури, подобного гулу быстрого потока, когда он низвергается сверху высокой скалы в недоступную бездну.

Вдохновленный свыше Минервой, Телемак безбоязненно входит в преисподнюю область. С первого шага он встретил тьму людей самых низких в мире состояний, наказанных за искание богатства обманами, вероломством, жестокостями. Там же увидел он множество богопротивных лицемеров, которые под личиной рвения к святости обращали ее в орудие тщеславия и легковерных вовлекали в свои сети. Употребив во зло даже добродетель, совершеннейший дар, какой только снисходит свыше, они были наказаны как величайшие злодеи. Дети, умертвившие родителей, жены, омывшие руки в крови супругов, изменники, с нарушением клятвы открывшие врагам путь в родную землю, не так страдали и мучились, как лицемеры. Судьи Аида так положили за то, что лицемеры не довольствуются злобой, как все злодеи, а хотят еще слыть благолюбивыми и ложной добродетелью убивают в людях всю любовь и доверие к истинной добродетели. Боги были их игралищем, посрамленные ими перед людьми, теперь всемогущая месть нещадно карает их за поругание.

За ними видны были другие, в глазах мира совсем невинные, но небесным правосудием наказуемые без милосердия: неблагодарные, лжецы, ласкатели, воспевавшие хвалу пороку, злостные клеветники, поносившие добродетель, наконец, те наглые люди, которые, сами ничего не зная основательно, все дерзко решили в подрыв чести и на пагубу невинных.

Неблагодарность против богов почиталась самой черной: так и наказывалась. Минос говорил: «Называется извергом сын неблагодарный против отца, друг против друга, подавшего ему руку помощи, а в славу вменяется быть неблагодарным против богов, от которых и жизнь, и всякий дар, и всякое благо. Не им ли человек даже рождением своим обязан более, нежели родителям? Пороки, на земле не наказанные, прощаемые, в аду нещадно преследуются всеосматривающей, неумолимой мстью».

Между тем Телемак, видя трех судей ада на седалищах и стоявшего перед ними человека, дерзнул спросить о его преступлениях. Судимый остановил его и говорил: «Я не сделал никакого зла, все мое удовольствие было добро творить, я был великодушен, справедлив, щедр, сострадателен: в чем моя вина?» Минос отвечал ему: «Перед людьми ты ни в чем не виновен, но кого более ты должен был чтить – людей или богов? Ты гордишься справедливостью: в чем же она? Ты исполнил все обязанности к людям, но люди сами ничто; ты был добродетелен, но приписывал всю свою добродетель са-

мому себе, а не богам, ниспославшим ее тебе в дар по своей благости; ты желал наслаждаться плодами своей добродетели, думал только о самом себе, не знал иного бога, кроме себя. Боги, сотворившие все, и все для самих себя, непреложно блюдут свое право. Ты забыл их: забыт будешь и ими; все бытие свое ты посвящал себе, а не им: предадут они тебя и на казнь самому же себе. Ищи, если можешь, отрады в своем сердце. Отлученный от людей, угодник их, ты теперь одинокий, сам с собой, своим же кумиром. Без любви и благоговения к богам, которым все подобает, нет истинной добродетели. Ложная твоя добродетель долго ослепляла людей, всегда скоро прельщаемых призраками, но посрамится. Люди судят о пороках и добродетелях каждый по внушению любимой своей страсти, оттого они слепы в познании зла и добра. Несправедливые суды здесь исчезают от света божественного. Дивное перед людьми часто здесь осуждается, а осуждаемое ими оправдывается».

Как громом сраженный, гордый любитель мудрости не мог сносить самого себя. Удовольствие, с которым он любовался своей кротостью, силой духа и чувствами любви к ближнему, переменяется на отчаяние. Лютая казнь для него – каждый взгляд в свое богоотступное сердце, он видит себя и не может перестать себя видеть, видит вместе и суетность судов человеческих, для которых зиждил весь труд своей жизни. Во всем существе его ничего не осталось на своем основании, все сместилось, будто обрушилось. Он не узнает

себя, не находит в сердце опоры, а совесть, дотоле льстивая его угодница, воспрянув, обличает его с немолчным упреком в заблуждении и ложной мечте добродетелей, которых началом и пределом не было служение богу. В смущении, в горести, он стоит посрамленный, с сердцем, раздранном в отчаянии. Не терзают его фурии: довольно того, что он ими сам себе предан, довольно уже мстит ему за презренных богов его собственное сердце. Он ищет мрачных и недоступных вертепов, таится от других мертвых, бессильный укрыться от самого себя, ищет тьмы и не находит. Мучительный свет всюду за ним следует, и всепроницающие лучи истины карают его за отверженную истину. Все, прежде любимое, ненавистно ему как источник страдания нескончаемого. «Безумный! – говорит он сам себе. – Я не знал ни богов, ни людей, ни самого себя, ничего не знал, не любив единого истинного блага, ходил по путям лжи и лукавства, мудрость моя была безумием, добродетель – богопротивной и ослепленной гордостью, сам себе я поклонялся».

Наконец Телемак достиг того места, где заключены цари, осужденные за злоупотребление властью. С одной стороны фурия-мстительница держала перед ними зеркало, в котором все ужасы пороков их живописались. Там они видели, – обреченные видеть вечно одно и то же, – свое тщеславие с бесстыдной жадной похвал, столь же бесстыдных, жестокосердие к людям, которых счастье устраивать они были призваны, бесчувственность к добродетели, страх услы-

шать голос истины, преданность подлым клеветам-угодникам, праздность, негу и усыпление, несправедливые подозрения, пышность и роскошь, властолюбие, покупавшее ценой крови подданных мимолетный звук суетной славы, и бесчеловечие, искавшее всегда новых прохлад и сладостей в слезах и отчаянии несчастных. Непрестанно они видели себя в зеркале, и ни химера, побежденная Беллерофонтом, ни гидра лернейская, низложенная Геркулесом, ни даже Цербер с тройной разверстой пастью, изрыгающей смертоносную кровь, сильную истребить все племена земнородных, не представлялись им столь ужасными чудовищами, какими они сами себя находили.

В то же время с другой стороны другая фурия повторяла им все похвалы, которые льстецы воспевали им в жизни, и держала перед ними другое зеркало, где они видели себя во всем том величии, в том блеске доблестей, в каком лезть немолчно их представляла. Столь противоположные изображения составляли казнь их тщеславия. Видно было в зеркале, что блистательнейшие похвалы были сплетаемы самым злым царям. Злые, властвуя страхом, требуют себе подлой лести от витий и стихотворцев своего века.

Стенают они в глубоких пропастях тьмы, осужденные на вечный позор и поругание: куда ни обратятся, все им прекословит, все их посрамляет и гонит. На земле они тешились, играли жизнью подданных, думая, что все было создано им на служение, а в Тартаре сами они отданы в полную власть

рабов, свирепых своевољством, и испивают всю чашу лютейшего рабства, служат им с горестным сокрушением, не видя ни искры надежды освободиться из плена, – истязаемые безжалостными мучителями, некогда их рабами, как циклопы бьют молотом железо, когда Вулкан шлет их на работу в пылающие горнила Этны.

Вслед за тем Телемак встретил бледные, отвратительные, отчаянные лица: мрачная грусть гложет несчастных, в непрерывном от омерзения к самим себе ужасе они не могут избавиться от столь мучительного чувства, с бытием их ужас слился навеки. За все преступления одна им казнь – те же самые преступления, другой и не нужно, они везде и всегда перед ними во всем безобразии, представляются им на каждом шагу, по пятам их преследуют, – страшные призраки. Спасаясь от них, они ищут смерти, не той, которая разлучила их с телом, но в отчаянии зывают к смерти могущественнейшей, которая уничтожила бы в них всякое чувство, всю силу познания, молят бездны поглотить и сокрыть их от мстительного света истины, везде им гонимые. Но судьба блюдет их на жертву небесному мщению, огнем оно на них медленно каплет и никогда уже не истощится. Они боялись на земле узреть лицо истины, за это она здесь их мучение. Они видят истину, в месть им вооруженную, и ничего иного не видят. Как стрела, она проходит сквозь все существо, раздирает их, душу из них вырывает. Как молния, ничего не разрушая извне, она проникает до внутреннего основания



жизни. Как железо в пылающем горне, так в огне мести душа растопляется, все от него тлеет, и ничто не гибнет, сокровеннейшие начала бытия, разлагаясь, истаивают, а человек не умирает. Душа, сама от себя отторгаемая, не находит ни на миг ни покоя, ни помощи, живет одной уже яростью против самой себя и отчаянием, переходящим в неистовство.

Между несчастными Телемак, объятый ужасом, увидел многих древних Лидийских царей, мучимых за предпочтение прохлад праздной жизни труду царского звания, возлагаемого для блага народов. Они укоряли друг друга ослеплением.

Отец говорил сыну: «Не умолял ли я тебя на старости перед смертью исправить зло, допущенное моим небрежением?» «Несчастный отец! – отвечал сын. – Ты погубил меня своим примером. От тебя я взял пышность, гордость, сластолюбие, жестокосердие к людям, видя тебя на престоле в неге и усыплении, в кругу раболепных клеветов, я так же привык к лести и сластолюбию, думал, что для царей люди то же, что рабочий скот для их подданных, – бессловесные животные, содержимые, пока служат и пока есть от них польза. Так я мыслил, получив от тебя в наследство такой образ мыслей. Теперь стражду за то, что шел по следам твоим». Укоризны они оканчивали страшными проклятиями, дыша свирепством, готовые ринуться один на другого.

Носились еще около них, как птицы ночные во мраке, мучительные подозрения, вымышленные смуты, недоверчи-

вость – кара владыкам за бесчувственность к подданным, ненасытная алчность к богатству, ложное, всегда кровожадное славолюбие и усыпленная роскошь, которая прилагает бедствие к бедствию, но никогда не приносит истинного удовольствия.

Многие из царей страдали не за зло содеянное, а за добро упущенное. Вменялись им в вину все преступления подданных от слабости в наблюдении за исполнением законов: власть для того, чтобы законы ею царствовали. Приписывались им и все неурядицы от пышности, роскоши и расточительности, которые, исторгая человека из мирных пределов его состояния, заставляют презирать закон для несправедливого стяжания. Тяготела рука правосудия особенно над теми, которые, вместо того, чтобы быть добрыми, бдительными пастырями народа, расхищали вверенное им стадо.

Но с живейшим сокрушением Телемак увидел в безднотьмы и мучений царей, славных некогда в мире добротой, и осужденных в Тартаре на казни за преданность людям злым и коварным, за зло, их именем и властью содеянное. Большая часть из них не были ни злы, ни добры: до того доходила их слабость. Равнодушные к истине, знали они или не знали ее, они не имели ни искры любви к добродетели, и удовольствие добро творить было им совсем неизвестно.

## Книга девятнадцатая

### *Описание Полей Елисейских.*

Оставив место скорби и плача, Телемак вздохнул свободно: камень отпал от его сердца. По собственному чувству он измерял несчастье заключенных во тьме без всякой надежды выйти из страны горестей и содрогался от ужаса, размышляя, до какой степени участь царей мучительнее участи других осужденных. Столько обязанностей, – говорил он, – столько сетей, преткновений, преград в познании истины, в брани с другими, с самим собой: и после всего труда, всех козней от зависти, всех превратностей в столь краткой жизни – в аду еще столько неизъяснимых страданий! Безумен тот, кто ищет власти! Счастлив довольный частной долей под мирным своим кровом, где путь к добродетели менее усеян тернами.

Смутился он и вострепетал при столь печальном размышлении, – и мрачная грусть, запав в его сердце, дала ему вкусить от отчаяния осужденных.

По мере того, как он отходил от места ужаса, тьмы и страданий, дух мужества оживал в нем. Наконец он успокоился и скоро увидел чистый, приятнейший свет жилища героев.

В отдалении от других праведных находились обители добрых царей, управлявших народами с мудростью. Как муки злых царей в Тартаре превосходили все мучения преступ-

ников частных состояний, так добрые цари в Елисейских Полях наслаждались высшим, несравненным блаженством против прочих людей, ходивших на земле путем добродетели.

Телемак пошел к тем царям в сады райские, на луга вечно зеленые, вечно цветущие. Ручьи светлой воды, в бесчисленном множестве, омывая эти прелестные места, разливают приятнейшую прохладу. Тысячи птиц с очаровательными голосами не умолкают. Цветы юной весны только что родятся еще под ногами, а на деревьях уже видно все богатство осенних плодов. Никогда не проникали туда ни палящий зной, ни грозная зима, ни бурные вихри. Бегут от той счастливой страны мира и кровожадная война, и злобная зависть с полным яда зубом и со змеями, около рук и персей обвившимися, и вражда, и подозрения, и страх, и все суетные желания. День не оканчивается, и ночь с мрачными тенями там совсем неизвестна. Свет живоносный, чистейший сияет над избранными, тела их одеты светом, как ризой.

Это не наш слабый свет – тьма перед ним – который озаряет глаза земнородных, это не свет, а блистание славы небесной, он проходит сквозь самые твердые тела быстрее, чем луч солнца сквозь чистейший кристалл, не ослепляет – дает еще глазам крепость, а душу наполняет какой-то невообразимой ясностью. Одним этим светом питаются избранные, из них он исходит и к ним обращается, всепроницающий, он сливается с их существом, как пища с нами совоплощается. Они дышат им, его видят, его ощущают. Он в них источ-

ник мира и радости, текущий в бесконечную вечность. Они плавают, как рыбы в море, в беспредельности сладостей. Нет уже в них никакого желания, они имеют все, ничего не имея: ощущение чистого света утоляет весь глад и всю жажду их сердца. Все желания их совершились, и они в полноте совершенства воспаряют выше всего того, чего ищут на земле суетные и алчные люди, ни во что вменяют даже все вокруг них сладости рая, упившись сладостью высочайшего блаженства, из глубины души истекающего, они уже не могут принимать впечатлений от внешних чудес небесных обитателей, они подобны богам, которые, насытившись нектаром и амброзией, не прикоснулись бы к яствам на великолепнейших пиршествах у смертных. Отбежали навеки все скорби от этого места покоя. Никогда не приближаются к нему ни смерть, ни болезнь, ни бедность, ни печаль, ни упреки, ни сетования, ни страх, ни надежда, часто мучительнейшая самого страха, ни раздор, ни гнев, ни унылая скука.

Заоблачные горы фракийские, обложенные от начала мира снегом и льдами, обрушатся с утвержденных в недрах земли оснований скорее, чем сердце праведных поколеблется. Они только скорбят о бедствиях жизни человеческой, но благолюбивая, мирная жалость нимало не изменяет невозмутимого их наслаждения. На лицах их написаны вечный цвет юности, бесконечное блаженство, божественная слава, но радость их не есть веселье скоротекущее, бурное: она всегда ровна, спокойна, исполнена величия, она есть высочай-

шее ощущение истины и добродетели – восторг души неизглаголаный. Непрерывно, ежеминутно они в таком восхищении сердца, какое чувствует мать, неожиданно увидевшая сына, давно оплаканного, но радость, преходящая скоро в материнском сердце, никогда не умирает в сердце небожителей, ни на одно мгновение не умалается, всегда для них первое, новое чувство. Они в восторге упоения с духом невозмутимым и светлым.

Совокупно они беседуют обо всем, что видят и чем наслаждаются, презирают и вместе оплакивают все утехи и все величие прежнего своего сана, с удовольствием возвращаются мыслию на то печальное, но краткое поприще, где надлежало им для победы над злом бороться с собой и идти против потока растреления, благословляют вышнюю руку, приведшую их к добродетели от скорби великой. Непрестанно течет сквозь сердца их что-то неизъяснимое, изливание от самого божества, с ними соединяющегося. Они видят, ощущают свое блаженство и чувствуют, что будут вечно блаженствовать, поют хвалу богам и все вместе составляют один голос, один ум, одно сердце. Волны блаженства льются в их души, соединенные неразрывным навеки союзом.

В божественном восхищении века протекают у них быстрее, чем у смертных часы, и тысячи тысяч протекших веков не убавляют ни одной капли в беспредельном море их блаженства, вечно нового и преисполненного. Все они царствуют не на престолах, сокрушаемых рукой человеческой, но в

самих себе, с непоколебимой силой и властью. Не нужно уже им быть страшными чуждой силой, не носят они тленных венцов, скрывающих под блеском труд и печали: боги сами возложили на них иные венцы непомрачимые.

Телемак, вступая в эти места, сначала боялся найти там отца, но до того восхищен был неопикуемой тишиной и райским блаженством, что желал уже встретить Улисса и сетовал, что сам должен был возвратиться в страну смертных. Здесь, – говорил он, – истинная жизнь, а на земле мы не живем – умираем. Потом он, изумленный, не верил глазам своим, сравнивая великое число заключенных в Тартаре с немногими избранными на Елисейских Полях. Мало царей, сильных духом и твердой волей, не всегда послушных своей власти, врагов лести, не внемлющих толпе угодников! Герои добродетели редки. Большая часть людей так злы, что боги не были бы правосудны, если бы после долготерпения в мире оставили их по смерти без наказания.

Не встречая отца между царями, Телемак искал, по крайней мере, своего деда, Лаерта божественного, но равным образом тщетно. Между тем подошел к нему старец, исполненный величества. Старость его не имела ни тени той старости, под бременем которой на земле человек изнемогает: видно только было, что он перед смертью был уже в преклонных летах. Величие старости сливалось в нем со всеми приятностями юности: приятности в полном цвете возрождаются в самых ветхих летами старцах, лишь только они ступят на Поля

Елисейские. Он спешил и издалека еще смотрел на Телемака со светлым лицом удовольствия, как на человека, любезного его сердцу. Не узнавая его, Телемак был в недоумении.

– Прощаю тебе, сын мой, что ты не узнаешь меня, – говорил ему старец. – Я Арцезий, отец Лаертов. Я скончался прежде, нежели Улисс, внук мой, пошел в поход против Трои. Ты был тогда еще в младенчестве, но я уже предвидел в тебе отличные дарования, и надежда моя совершилась: вижу тебя в царстве Плутоновом, и в подвиге сыновней любви боги сами ведут тебя под своим кровом. Счастливый юноша! Ты мил богам: они готовят тебе славу, как новому Улиссу. Счастлив и я, что вижу тебя. Не ищи здесь Улисса. Он еще жив и возвратится восставить дом наш в Итаке. Лаерт, ветхий летами и силой, так же еще наслаждается солнечным светом и ожидает, чтобы сын пришел закрыть ему очи. Так человек приходит, подобно полевому цветку: поутру разовьется, под вечер вянет, растоптанный. Идут поколения за поколениями, как в быстрой реке струя бежит за струей. Время не останавливается и влечет с собой все, на вид даже несокрушимое. И ты, сын мой, здравый ныне юностью, полной жизни и удовольствий, помни, что твой возраст так же, как цвет: распухнет и засохнет. И не заметишь, как переменешься. Исчезнут, как волшебный сон, и веселые приятности, и невинные забавы, твои спутницы, и сила, и здоровье, и радость, останется в тебе только печальное о них воспоминание. Придет с болезнями старость, враг удовольствий, мор-



щинами проложит след по себе на лице твоём, согнет твоё тело, расслабит члены, иссушит в сердце источник веселья, опротивеет тебе все настоящее, она истерзает тебя страхом будущего, убьёт в тебе всякое чувство, но не чувство болезни и горести.

Это время кажется тебе отдалённым: ошибаешься, сын мой! Оно бежит, по пятам твоим следует, вот оно! То недалеко, что мчится с таким быстрым порывом. Далеко уже от тебя, напротив того, час настоящий, мимо идущий посреди нашей беседы и исчезающий навсегда безвозвратно. Не полагайся на настоящее, сын мой! Думай о будущем и, крепкий этой мыслию, мужайся на многотрудном пути добродетели. Приготовляй себе непорочностью жизни, любовью к справедливости место в счастливой стране покоя.

Скоро наконец ты увидишь отца в Итаке вновь на престоле и сам будешь царствовать. Но, сын мой, обманчив царский венец: издалека – величие, блеск и веселье, вблизи – труд и печали! Не бесславна в частной доле жизнь безвестная, тихая; царь не может без посрамления себя предпочитать покойную и праздную жизнь тяжким трудам управления. Он принадлежит не себе, а своим подданным, никогда не властен жить для самого себя. Погрешности его, и малые, часто влекут за собой роковые последствия: народ иногда страдает от них целые века. Он должен смирять наглость порока, низлагать клевету, быть щитом для невинности. Мало того, если он только не делает зла, он должен делать все воз-

можное добро, предваряя тем все нужды своей области. Не довольно и того, если он сам трудится об устройении общего блага: долг его поставить преграду всем злодеяниям, на которые другие могли бы дерзнуть без обуздания. Страшись, сын мой, столь опасного звания и будь непрестанно на страже против самого себя, против своих страстей и ласкателей!

Оживленный божественным огнем, Арцезий смотрел на Телемака с лицом, исполненным сострадания к бедствиям, неразлучным с царским достоинством.

– Оно – жезл железный, – говорил он, – в руках того, кто приемлет его в потеху страстям своим, тяжкое рабство, требующее исполинского терпения и мужества от того, кто приемлет его с твердой волей исполнить обязанности и управлять народом с отеческой бдительностью. Зато царствовавшие на земле с чистой добродетелью здесь наслаждаются всем тем, чем только могут всемогущие боги преисполнить меру блаженства.

Все слова великого старца проходили в глубину сердца сына Улисса и печатлелись на нем; так искусный художник резцом выводит из меди на свет любимое лицо, завещая его отдаленнейшему потомству. Слова мудрого старца, как тончайший огонь, проникали в его душу, горело в нем сердце растроганное, истаивало от божественной силы. Запавшая во внутреннейшее основание души мысль снедала его втайне, он не мог ни подавить, ни сносить ее, ни сопротивляться могущественному ее излианию – чувству живейшему, сла-

достному, но и мучительному, сильному исторгнуть душу из тела.

Наконец он успокоился и приметил в лице Арцезия большое сходство с Лаертом, приходили ему, хотя и слабо, на память такие же черты и в Улиссе, когда он отправлялся в Троянский поход.

Умиленный воспоминанием, он пролил от радости сладкие слезы и не один раз хотел обнять старца, но тщетно: уходила от рук его легкая тень, как сновидение бежит от спящего в ту самую пору, когда он мечтает им наслаждаться; то устами он хватает, томимый жаждой, мимо текущую воду, то движением губ трудится составить речь с усилиями, которым усыпленный язык непослушен, то простирает руки с быстрым порывом и ничего не находит. Так Телемак заключал в себе все изливание нежности, видел и слышал Арцезия, говорил с ним, но не мог прижать его к сердцу, неосвязаемого, наконец, спросил его, кто мужи, им видимые?

– Сын мой! – отвечал ему старец. – Они были каждый красой своего века, славой, даром благодатным для рода человеческого – избранные из царей, достойные венценосцы, верно проходившие звание богов на земле. Другие, отделенные от них легким облаком, приняли меньшую славу, это герои: возмездие за мужество и ратные подвиги не может сравниться с воздаянием за мудрое, правосудное и благотворное царствование.

Между героями ты видишь Тезея с прискорбным лицом.

Он испытал несчастные последствия легкого внимания к внушениям коварной жены и теперь еще сокрушается, что несправедливо молил Нептуна о жестокой смерти сыну своему Ипполиту – был бы он счастлив, если бы не всегда следовал первому движению сердца, быстрого к гневу.

Далее Ахиллес опирается еще и теперь на копьё от нанесенной Парисом в пяту ему раны, от которой и смерть его. Если бы в нем справедливость, мудрость и власть над собой были равны неустрашимости, то боги даровали бы ему долговременное царствование. Но они сжалились над фиотами и долопанами, наследственным достоянием его после Пелея, и не сообразовали отдать целые племена на произвол человеку неистовому, всегда готовому закипеть гневом скорее бурного моря. Парки пресекли нить его дней преждевременно. Он был подобен цветку, едва только развившемуся, подрезанному острием плуга и мертвому еще перед закатом в первый раз для него взошедшего солнца. Боги воздвигли его, как быстрый поток или грозную бурю в казнь людям за злодеяния, послали его сокрушить стены Трои в месть за вероломство Лаомедоново и за преступную страсть Приамова сына. Но, употребив его орудием правосудия, они умилились и не вняли уже ни слезам, ни молению Фетиды о продолжении жизни юного героя, способного только умножать смуты, обращать города в пепел, опустошать царства.

Но видишь ли ты вдали от нас тень с лицом раздраженным? То Аякс, сын Теламонов, сродник Ахиллесов. Слава

его в битвах, без сомнения, известна тебе. По смерти Ахиллеса он спорил, что доспехи его не могли принадлежать никому другому, как только ему. Отец твой не вменил себе в обязанность уступить ему этого оружия. Греки присудили его Улиссу. Аякс в отчаянии лишил себя жизни. Ярость и негодование на лице его живо еще написаны. Не приходи к нему, сын мой! Он подумает, что ты ругаешься над ним в несчастье, а он достоин сожаления. Не замечаешь ли ты, с какой досадой он смотрит на нас? Вдруг отворотился и пошел в мрачную рошу: мы ненавистны ему.

С другой стороны видишь Гектора – непобедимого, если бы сын Фетидин не был его современником. Но вот идет Агамемнон со свежими еще на себе знаками вероломства Клитемнестрина. Сын мой! Я содрогаюсь, когда вспомню несчастья дома преступного Тантала. Раздор братьев, Атрея и Тieste, наполнил его кровью и ужасами. О, сколько преступлений влечет за собой одно злодеяние! Агамемнон, глава греков, возвратясь от Трои, не мог спокойно насладиться под родным кровом стяжанной славой. И таков жребий всех почти завоевателей! Все эти герои были страшны в бранях и знамениты, но не любовью к ним народов и не добродетелями. Потому дана им и в Елисейских Полях только вторая обитель.

Мирные цари, напротив того, царствовали правосудно, любили своих подданных, и за то они друзья богов. Между тем, как Ахиллес и Агамемнон, все еще дыша распрями и

битвами, принесли и сюда свои скорби и с природными слабостями сетуют о потерянной жизни, и с горестью видят, что сами здесь не что иное, как бессильные, праздные тени – цари праведные, очищенные питающим их божественным светом, ничего уже не требуют к исполнению меры блаженства, с состраданием взирают на всю суету между смертными, и величайшие дела – смутный труд властолюбцев – кажутся им игрой младенцев. С сердцем довольным, насыщенным истинной и добродетелью прямо из источника, они не знают печали ни от других, ни от самих себя, нет уже для них ни желаний, ни нужды, ни страха, все для них кончилось, но не радость нескончаемая.

Посмотри, сын мой, на древнего царя Инаха, основателя царства Аргосского! Какая приятнейшая и величественная старость! Цветы рождаются под ногами его, он не идет, а парит, как легкая птица, и с лирой из слоновой кости поет дивные дела богов в вечном восторге. Из сердца и уст его исходит сладостнейшее благовоние, звук его лиры и голоса восхитил бы смертных и небожителей. Так он вознагражден за любовь к народу, которому дал законы, собрав его в общество.

С другой стороны видишь под тенью миртов Цекропса, египтянина, первого царя в Афинах, городе, посвященном богине мудрости и названном по ее имени. Из Египта, откуда науки и образованность перешли в Грецию, Цекропс принес полезные законы в Аттику, укротил свирепые нравы

рассеянных весей<sup>17</sup>, ввел между ними союз общества, был правосуден, человеколюбив, сострадателен, оставил народ в изобилии, а семейство свое в скудости, и не хотел передать детям власти, считая других того достойнейшими.

Я должен еще показать тебе Ерихтона – там же в малой долине. Ему принадлежит изобретение денег. Он полагал доставить более свободы в торговых сношениях между греческими островами, но предвидел и неудобства своего изобретения. «Старайтесь, – говорил он грекам, – умножать у себя истинные богатства природы, возделывайте землю, чтобы иметь в избытке хлеб, вино, плоды, масло, содержите стада, которых молоко будет вам служить в пищу, а руна для одеяния. Тогда не бойтесь бедности. Увеличится у вас население, но когда ваши потомки не отстанут от труда, то возрастет и богатство. Земля не истощается, по числу прилежных рук умножается еще ее плодородность; щедрая для трудолюбивого, она скупа и неблагодарна только для ленивых. Приобретайте прежде всего истинные богатства для удовлетворения истинных же надобностей. Деньги могут иметь цену только тогда, когда нужны или для неизбежной войны вне отечества, или для получения необходимых иноземных произведений. Но и в торговле надлежало бы вообще воспретить все предметы великолепия, роскоши, неги.

Боюсь я, друзья мои, оставить вам пагубный дар в своем изобретении, – часто говорил мудрый Ерихтон. – Предвижу:

---

<sup>17</sup> Поселений. – Прим. изд.

оно возбudit сребролюбие, честолюбивую гордость и пышность, введет множество вредных искусств к растлению нравов, вы отстанете от той счастливой простоты, в которой одной вся безопасность и все спокойствие жизни, пренебрежете, наконец, земледелием, основанием жизни человеческой, источником истинного богатства, но, боги свидетели, я вверил вам полезное открытие с чистым намерением». Когда же он увидел, что деньги, как он и предвидел, начали портить добрые нравы, то с горести удалился от людей на дикую гору и там, одинокий, жил в недостатке до глубокой старости, не приемля участия в правлении.

Вскоре после того явился в Греции знаменитый Триптолем, наученный Церерой обрабатывать землю и каждый год покрывать поля золотовидной жатвой. Хлеб и способ размножать его посевом до него еще были известны, но не искусство возделывать землю. Триптолем, посланный Церерой с плугом в руках, обещал дары ее всем, кто мужественно решится преодолеть природную леность и посвятит себя труду постоянному, научил греков пахать и удобрять землю прилежным возделыванием – и скоро неутомимые, полные рвения жатели ссекали уже острыми серпами тучные колосья на нивах. Тогда дикие сыны лесов эпирских и етолийских, прежде рассеянные за желудями на пищу, познакомясь с искусством оплодотворять землю и питаться хлебом, смягчились в нравах и покорились законам.

Триптолем дал почувствовать грекам, сколь приятно быть



обязанным своим благосостоянием труду собственных рук и находить под родным кровом все нужное для довольной и счастливой жизни. При невинном и простом избытке от земледелия они вспомнили мудрые советы Ерихтоновы и презрели серебро со всеми искусственными богатствами, которых все достоинство от воображения, а действие – жажда опасных увеселений и отвращение от труда, где каждый нашел бы довольство с непорочностью нравов и прямой независимостью; удостоверились, что плодоносное, прилежно возделанное поле есть истинная сокровищница для благоразумного семейства, любящего умеренную жизнь по примеру своих предков. Греки были бы счастливы, если бы непоколебимо соблюдали эти правила, были бы довольны, свободны, могущественны и достойны всего того по добродетели. Но они начинают прельщаться ложными богатствами, истинные богатства им уже не по сердцу. О, как далеко они отстали от древней, невинной простоты нравов!

Ты будешь некогда царствовать, сын мой! Старайся тогда обращать народ к земледелию, уважай этот труд, ободряй его пособиями и не терпи людей праздных или занятых только изобретениями в пищу неги и роскоши. Ерихтон и Триптолем, на земле истинно мудрые, здесь милы богам, и посмотри, какое различие между их славой и славой Ахиллеса и всех знаменитых только войной героев: не столь отличны животворная весна от мертвой зимы и свет солнца от блеска луны.

В продолжение беседы Телемак непрестанно обращал взоры на лавровую рощу, где тихий ручей омывал берега, усеянные розами, кринами, тьмой цветов, блистательных, как те цветы, которыми красуется Ириса, когда сходит с неба на землю возвещать кому-либо из смертных волю богов. В том райском месте он завидел Сезостриса, но в таком новом, неизобразимом величии, какого и слабой тени не являло все его величие на превознесенном престоле египетском. Очи его ослепляли глаза сына Улиссова, сияя лучами чистейшего света. Он был в восторге, упоенный сладчайшим вином небожителей, восхищенный божественным духом превыше всякого разума человеческого – в воздаяние за добродетели.

– Это Сезострис, – сказал Телемак Арцезию, – тот мудрый царь, которого я недавно видел в Египте.

– Ты не ошибся, – отвечал Арцезий Телемаку, – и по этому примеру можешь судить, как боги щедры в вознаграждении добрых царей. Но все это блаженство ничто перед тем, которое ожидало Сезостриса, есл и бы он не забыл в быстрых успехах счастья правил умеренности и справедливости. Желая наказать дерзость и высокомерие тирян, он овладел их столицей. Одна победа родила в нем страсть к новым победам. Ослепленный ложной славой завоевателя, он покорил или, лучше сказать, опустошил всю Азию, а возвратясь в Египет, нашел врага себе в брате, который, похитив царскую власть, поколебал все законы своевольным правлением. Плодом великих побед была смута в отечестве! При-

ложил он к тому еще непростительную погрешность: упившись славой, велел самым знатным и гордым из побежденных царей везти себя в торжественной колеснице; сам потом почувствовал свое заблуждение, стыдился столь бесчеловечной надменности. Таковы были последствия громких его подвигов, так и всегда завоеватели, посягая на чуждые области, губят и сами себя и отечество. Царь, благодетельный и справедливый, преткнулся: оттого и слава его – тень только славы, богами ему уготованной.

Но вот Диоклид, царь Карийский, с блистающей раной! Он обрек себя в жертву за народ свой на поле битвы. Прорицание возвестило, что в войне между кариянцами и ликиянами тот из двух народов восторжествует, которого царь падет в сражении.

Возле него – мудрый законодатель, который, дав согражданам законы, ведущие к добродетели и счастью, взял от них клятву не нарушать их в его отсутствие – и удалился, сам себя изгнал из отечества, умер бездомный на чужой стороне, чтобы клятвой заставить народ свой блюсти полезные законы на все будущее время.

Далее ты видишь Енезима, одного из предков мудрого Нестора. Смертоносное поветрие опустошало землю, и берега Ахерона ежедневно наполнялись новыми теньями. Он молил богов предложить гнев на милость и смертью его искупить тысячи невинных. Боги вняли его молению и здесь даровали ему истинное царство, перед которым все земное владыче-

ство – тень преходящая.

За ним видишь старца в венке из цветов. Это знаменитый Бел, царь Египетский, сочетавшийся браком с Анхиной, дочерью бога Нила, который скрывает свой исток в недоступных, безвестных местах и разливает по берегам своим каждый год новое богатство. Он имел двух сыновей: жизнь старшего, Даная, известна тебе, от младшего, Египта, цветущее царство получило название. Бел измерял свое богатство не налогами на подданных, а изобилием и сыновней их к нему любовью.

Не умерли, как ты думаешь, сын мой, эти мирные и мудрые цари, они живы: смертью надлежит считать жизнь, которую на земле влачит в бедствиях род человеческий. Каждому из них здесь дано только новое имя. Боги да благословят и тебя добродетелью, достойной райской жизни, вовеки невозмутимой и бесконечной. Но время тебе идти искать отца. Увидишь еще кровопролитные битвы – и какая слава ждет тебя на полях Гесперийских! Помни советы мудрого Ментора, иди по пути, им указанному, и имя твое возвеличится.

Потом Арцезий привел Телемака к воротам, изводящим из царства Плутонова: врата были из кости слоновой. Сын Улиссов не мог обнять божественного старца, расстался с ним со слезами, вышел из области мрака, возвратился к спутникам, сопровождавшим его до пещеры, и поспешил с ними в стан к союзникам.

## Книга двадцатая

*Битва между союзниками и Адрастом.*

*Сеча кровопролитная.*

*Союзники смяты.*

*Телемак оживляет в них бодрость и низлагает Адраста.*

Вожди между тем рассуждали, надлежало ли им занять Венузу, город укрепленный, которым Адраст завладел у соседей своих апулиян. В надежде отмщения за нападение апулияне приступили к союзу против Адраста. Для успокоения их он отдал город под охрану луканам, но подкупил и войско, и начальника, так что не луканы, а он властвовал в Венузе. Обман апулияне тотчас увидели, как только войско луканское заняло город.

Один из граждан венузских, именем Демофант, предложил втайне союзникам отворить им городские ворота ночью порой: предложение, тем более важное, что множество военных снарядов и припасов для продовольствия собрано было Адрастом недалеко от города в месте, по взятии Венузы совсем беззащитном. Филоктет и Нестор полагали воспользоваться счастливым случаем. Другие вожди, послушные чувству уважения к старцам и ослепленные пользой нетрудного предприятия, разделяли их мнение. Один Телемак по возвращении старался всеми средствами отклонить их от этого намерения.

«Я знаю, – говорил он, – что если кто заслужил впасть в сети обмана, то, конечно, Адраст, сам столь искусный в обманах. Вижу также, что, взяв Венузу, вы овладеете не чужим, а своим городом: он принадлежит апулиянам, вашим союзникам. Имеете вы к тому и повод, тем благовиднейший, что Адраст, вверив город постороннему народу, купил себе ценной золота у начальника и стражи свободу входить туда во всякое время. Наконец, я согласен с вами и в том, что, взяв сегодня Венузу, вы завтра овладеете крепостью, где хранятся все военные снаряды неприятельские, и в два дня положите конец войне разорительной. Но что лучше: победить таким образом или погибнуть? Надлежит ли отражать обман обманом? Цари, соединившиеся против клятвопреступника, чтобы наказать его за обманы, сами пойдут его же дорогой! Если дозволено нам следовать примеру его, то он не виновен, и меч на него мы обнажаем несправедливо. Но как! Неужели вся Гесперия, с сынами Греции, с героями, победителями Трои, не найдет против козней и вероломства Адрастова иного орудия, как те же козни и вероломство?

Вы клялись всем, что свято, оставить Венузу в руках у луканов. Стража их, говорите, подкуплена Адрастом. Пусть так, но она в их службе, не отложила от них, и в войне, по крайней мере явно, не принимает участия. Ни Адраст, ни войско его не входили в Венузу, договор не отменен, а боги не забыли вашей клятвы. Тогда ли только должно блюсти данное слово, когда нет благовидного повода нарушить его?

Тогда ли только хранить клятву, когда нет выгоды от клятвопреступления? Но если бы уже не удерживали вас ни страх божий, ни любовь к добродетели, то должны остановить вас собственные ваши слава и польза. Показав несчастный пример нарушать данное слово и прекращать войну преступлением клятвы, чем вы оградите себя от войны после такого вероломства? Будет ли сосед, который невольно не возненавидел бы вас, опасных соседей? Кто прибегнет к вам, теснимый нуждой? Что вы представите в залог искренности, когда захотите убедить соседей в чистоте своих намерений? Договор? Но торжественный договор теперь вы же нарушите. Клятву? Но кому не будет известно, что боги не страшны вам, когда вы надеетесь обратить клятвопреступление в свою пользу? Тогда вы найдете в мире так же мало безопасности, как и в войне. Всякое ваше действие будет почитаемо предвестием войны, явной или скрытной. Вы будете вечными врагами соседних с вами народов. Все то, где требуется честность и добрая вера, делается для вас невозможным. Вы отнимете сами у себя всякий способ уверить других в истине своих обещаний.

Но с малым чувством правоты и с некоторым предвидением собственной пользы вы должны остановиться на уважении гораздо еще сильнейшем: нарушение договора подрывает все основания настоящего вашего союза, и враг ваш восторжествует.

Вожди, оскорбленные, требовали от Телемака ответа, как

он мог говорить, что предприятие, которого успех так верен, могло расстроить союз?

– Можете ли вы полагаться друг на друга, – отвечал он, – когда разорвете единственную связь всех общественных соотношений – добрую веру? Если примете за правило, что для выгоды можно нарушать верность и честность, будет ли между вами взаимное доверие, когда любой из вас легко может найти свою выгоду в нарушении данного слова, в обмане? Что тогда будет с вами? Кто не захочет коварством предварить коварство соседа? К чему союз столь многих народов, когда они положат в общем совете, что каждому вольно мимо всех условий внезапно напасть на соседа? Недоверчивость породит раздор и кровавые брани. Не нужно будет Адрасту приходиться к вам с мечом в руке: вы станете сами себя терзать и оправдаете его вероломство.

Мудрые и великодушные венценосцы! Пастыри народов, просвещенные опытом! Не отвергните совета от юноши. Если бы постигли вас величайшие бедствия, которыми война часто карает род человеческий, вы могли бы еще подняться неусыпным трудом, несокрушимой доблестью: истинное мужество никогда не падает духом. Но если вы ступите шаг за межу доброй веры и чести, утратите то, что никогда уже к вам не возвратится, ничем тогда не восстановите доверия, необходимого для успеха во всех важных предприятиях, и, сами показав пример презрения добродетели, бесполезно будете другим говорить ее именем. Чего вы боитесь? Что еще



нужно вам для вашей доблести, и соединенным силам столь многих народов? Пойдем с мечом в руке и, если так суждено, погибнем. Смерть на поле боевом лучше бесчестной победы. Адраст, клятвопреступник, в наших руках, когда мы возгнушаемся подражать ему в низких кознях и вероломстве.

Сладкое убеждение истекло из уст Телемака и проникло в сердца. Все смолкло и стихло, все мысли, как бы проходя мимо него и мимо всей приятности его слов, увлекались непреодолимой в речах его силой истины, безмолвное удивление написано было на лицах. Тихий шум потом распространился в собрании; смотря друг на друга, никто не смел сказать первый своего мнения: ожидали заключения главных военачальников, но и уважение к ним едва удерживало общий порыв. Старец Нестор наконец говорил: «Достойный сын Улиссов! Боги вещали твоими устами. Минерва, наставлявшая отца твоего вдохновением свыше, вложила тебе в сердце совет нам, великодушный и мудрый. Не смотрю я на твои лета, во всех твоих словах вижу Минерву. Ты защищал добродетель, без нее величайшая выгода не есть приобретение, без нее мы навлекаем на себя мщение врагов, подозрение союзников, ненависть благолюбивых людей, праведный гнев богов. Оставим Венузу в руках у луканов и пойдем против Адраста с мечом в руке, с мужеством в сердце».

Ответом на слова его было общее рукоплескание, все в изумлении обращали взоры на Телемака, всем казалось, что из уст его слышали голос самой богини мудрости.

Вслед за тем возник другой вопрос в совете царей: Телемак приобрел здесь не меньшую славу. Адраст, постоянный в жестокости и вероломстве, отправил в союзный стан переметчика по имени Акант с поручением опоить ядом знатнейших вождей и особенно Телемака, во что бы то ни стало: так он уже был опасен дониянам! Телемак, с духом бесстрашным и с чистым сердцем, не знал недоверчивости и с первого шага дружелюбно принял злодея, тем более, что он видел Улисса в Сицилии и рассказывал про его подвиги. Он дал ему пристанище под своим кровом и старался утешить его в злополучии. Акант выставлял себя жертвой обмана и неблагодарности Адрастовой. Но Телемак снисхождением питал и согревал при себе змею с смертоносным и полным яда жалом.

Пойман беглый, именем Арион, посланный от Аканта к Адрасту с донесением о состоянии союзного войска и с уверением, что в следующий день все главные цари и Телемак будут отравлены на пиршестве. Арион признался в предательстве. Пало подозрение на Аканта в согласном с ним умысле по взаимной их дружбе. Но он, неустрашимый и темный лицемер, защищался с таким искусством, что не было способа ни уличить его, ни открыть всей мрачной тайны заговора.

В сомнении вожди полагали пожертвовать Акантом для общей безопасности. «Он должен умереть, – говорили. – Что жизнь одного человека, когда надобно оградить жизнь столь

многих царей? И что до того, если бы погиб и невинный, когда речь идет о спасении тех, кто образ богов на земле?»

– Какое несправедливое правило! – отвечал Телемак. – И вы так мало дорожите кровью человеческой, вы, вожди, пастыри, стражи народов! Пастырь не знает жестокости, и тот не пастырь, кто лишь стрижет, закалывает овец, а не печется о пажитях. Тот еще не преступник, кто обвиняется, и меч правосудия не карает по одному подозрению. Иначе невинный был бы игралищем клеветников и завистников, и в пищу недоверчивости, всегда возрастающей, потребны были бы всегда новые жертвы.

Так говорил Телемак с силой и властью, которой все сердца были послушны, – не было уже речи о казни Аканта. Он продолжал:

– Что касается меня, то я не столько привязан к жизни, чтобы покупать ее такой ценой. Пусть Акант остается злодеем, я не буду равен ему в злобе. Лучше пусть он лишит меня жизни предательством, нежели мне погубить его несправедливо, без удостоверения, по одному подозрению. Но позвольте мне допросить его в вашем присутствии. Вы судии народов и знаете, как творить правый суд с разумом и кротостью.

И тогда же он спросил Аканта о причинах его связи с Адрастом, требовал от него ответа на множество подробностей, говорил, что отошлет его к Адрасту как беглого, достойного казни, наблюдал каждый взгляд его и каждое движение.

Злодей не менялся ни в лице, ни в голосе. Потеряв надежду исторгнуть из сердца его истину, он потребовал у него с руки перстень, чтобы послать Адрасту. Акант побледнел и смешался. Телемак, не отводя от него взора, заметил его смятение, взял перстень и говорил: «Я пошлю его Адрасту с известным тебе Политропом. Он явится к нему с тайным от тебя поручением. Если таким образом мы откроем твои сношения с Адрастом, то ты нещадно погибнешь самой лютой смертью. Но если теперь же признаешься в своем преступлении, то получишь прощение и только будешь сослан на отдаленный остров, где, впрочем, ни в чем не будешь терпеть недостатка». Акант открыл всю тайну заговора, Телемак испросил ему прощение, он сослан на один из островов Ехинадских и жил там спокойно.

Спустя несколько времени дониянин по имени Диоскор, незнатный, но с духом сильным и смелым, пришел ночью к союзникам с предложением умертвить Адраста в его стане.

Он мог исполнить это намерение: что жизнь другого тому, кто не дорожит собственной жизнью? Диоскор кипел мщением: Адраст отнял у него жену обожаемую, подобную Венере красотой. Он решился или воздать ему за насилие смертью и возвратить себе жену, или погибнуть. Тайные переговоры открывали ему дорогу в ставку к Адрасту ночной порой, многие из донийских вождей обещали ему пособие, несмотря на то, он думал, что легче ему будет спасти в тревоге себя и жену, если союзники грянут на стан Адрастов.

При невозможности увести жену, он сам готов был погибнуть, но не без мщения, решился прежде омыть руки в крови похитителя.

Когда Диоскор изъяснил царям свое намерение, они все обратились к Телемаку, от него ожидали ответа.

Он говорил: «Боги, спасавшие нас от предателей, воспрещают нам внимать их предложениям. Если бы мы не гнушались изменой по чувству добродетели, то надлежало бы нам отвергнуть ее для своей пользы. Оправдав своим примером измену, мы обратим, и достойно, на себя ее жало. Кто из нас будет тогда в безопасности? Адраст может избежать рокового удара и поразит союзных царей тем же оружием. Война тогда не будет войной, доблесть и мудрость замолкнут, везде увидим измену, вероломство, убийства, испытаем все пагубные плоды предательства – и справедливо, когда сами отворим дверь величайшему из злодеяний. Я полагаю отослать изменника к Адрасту. Он не заслуживает такого внимания, но на нас вся Гесперия, на нас Греция смотрит: они достойны того, чтобы мы великодушием сохранили право на их уважение. Для самих себя, для богов правосудных мы должны отвергнуть предательство.

Немедленно Диоскор отправлен к Адрасту. Он принял с ужасом весть о грозившей ему опасности и не мог довольно надивиться великодушному действию от неприятелей. Злодей не понимает истинной и чистой добродетели. Невольно изумленный, он не смел отдать им принадлежащей справед-

ливости. Поступок столь благородный приводил ему на память все его обманы и все жестокости, от стыда показаться неблагодарным он старался унижить великодушие, которому обязан был жизнью. Порок ожесточается против всего, что могло бы еще произвести доброе впечатление. Наконец, видя возраставшую каждый день славу союзников, Адраст решился затмить ее делом громким, блистательным, не мог достигнуть этой цели путем добродетели, прибегнул к силе оружия, положил дать сражение.

В день битвы лишь только утренняя заря отворила врата востока и путь солнцу усеяла розами, Телемак оставил сладкий сон, предваря бдительность старейших вождей трудом и заботой. Вдруг по его слову все оживилось. Сверкнул на голове его шлем с пышным гребнем, блеском от бронных на нем лат глаза ослеплялись: броня его, превосходнейшее дело рук Вулкановых, сияла сверх того светом сокровенного под ней эгида. С копьем в одной руке, другой он указывал каждому свое место.

Минерва зажгла в его очах божественное пламя и на лицо положила печать того мужественного величия, которое предвестник победы. Он шел, и все цари за ним следовали, забыв сан и лета, послушные силе вышней, незримой. Не смела прокрасться в сердца малодушная зависть, все покорялось тому, кого Минерва невидимо сама руководствовала. Без бурных порывов и опрометчивости, терпеливый, кроткий, спокойный, всегда готовый внимать советам

и ими пользоваться, но вместе неутомимый, прозорливый, он предусматривал все возможные случаи, все располагал благовременно, ни сам ни в чем не терял присутствия духа, ни других не приводил в замешательство, прощал погрешности, исправлял неудачи, предварял затруднения, ни от кого не требовал ничего свыше сил и способов, предоставлял всякому свободу в действиях, всякому внушал доверие. Давал ли приказанья – говорил в выражениях самых простых и ясных, повторял их, чтобы лучше вразумить исполнителя, читал в глазах его, понял ли он приказание, заставлял изъяснять непринужденно и самое повеление, и главную цель его. Испытав таким образом рассудок исполнителя, познакомив его со своим намерением, он ободрял еще его при самом отправлении изъяснением доверия и уважения. Оттого каждый рвался угодить ему и успеть в поручении, но никто не стеснялся страхом неудачи, все знали, что он извинял неумышленные погрешности.

Между тем небо запылало от лучей восходившего солнца и море зарделось. Тянулись по берегу рать за ратью, снаряды за снарядами, кони и колесницы, поднялся шум, подобный шуму волн разъяренных, когда Нептун высылает из бездн грозные бури. С громом оружия, созвучным строем битве, Марс начинал воспламенять в сердцах гнев и ярость.

Покрылось копьями поле боевое, как во время жатвы плодоносная нива одевается колосьями. Туча пыли заслонила небо и землю, с обеих сторон шли навстречу смута, свиреп-

ство, ужас и смерть ненасытная.

Полетели первые стрелы. Тогда Телемак, возрев на небо и воздев руки, так говорил:

– Отец богов и людей! Великий Юпитер! Ты видишь наше право и любовь нашу к миру, которого мы не устыдились предложить неприятелю. Обнажаем меч принужденно, мы хотели бы пощадить кровь человеческую и даже врагу вероломному, жестокому и клятвопреступному не воздаем ненавистью за ненависть. Возри и рассуди между нами. Должны мы погибнуть: жизнь наша в твоей власти. Но если Гесперия достойна свободы, а рушитель мира ее – казни, то ожидаем победы от твоего всемогущества и от мудрости Минервы, твоей дочери. Тебе слава за избавление! Ты, с весами в руке, решишь брани, мы за тебя ополчились, ты бог правосудный, и Адраст еще более твой, нежели наш враг. Если правда восторжествует, то на алтарях твоих прольется кровь сточисленной жертвы.

Сказал – и бурных коней пустил прямо в густые ряды неприятельские: встретил тотчас Периандра со шкурой льва на плечах, убитого им в Киликии – второй Геркулес, он держал в руке огромную палицу – могучий исполин ростом и силой. Взглянув с презрением на Телемака, цветущего летами и красотой, он говорил ему: «Тебе ли, отрок-женолюбец, спорить с нами о славе оружия? Иди, ищи отца в царстве теней». И поднял тяжелую, в сучьях, железом набитую палицу, словно мачту, роковую, на кого бы ни пала. Она уже ви-



села над головой сына Улисса, но он успел уклониться и быстрый, как орел, ринулся на Периандра. Палица обрушилась и раздробила колесо стоявшей возле колесницы. Вдруг Телемак копьем ударил в горло соперника: хлынула кровь из широкой раны, и голос его прервался. Бурные кони почуяли, что рука владыки их онемела и вожжи свисли на гривы, и помчали его по полю, и он пал с колесницы, с глазами, уже сомкнутыми, с лицом, покрытым смертной бледностью. Телемак из сострадания отдал тело его слугам, оставив себе в знак победы палицу и львиную шкуру.

Посреди сечи он искал Адраста и между тем сразил многих витязей: Гилея, у которого два коня в колеснице, вскормленные на тучных берегах Авфида, были подобны коням Фебовым, Демолеона, некогда славного в Сицилии, второго Ерикса в кулачных боях, Крантора, гостеприимного друга Геркулесова, когда он, проходя через Гесперию, умертвил кровожадного Какуса, Менократа, в борьбе, по сказаниям, равного Поллуксу, Гиппокоона – Кастора на коне приятностью и ловкостью, Евримеда, знаменитого стрелка, всегда обогрившего кровью медведей и вепрей, которых он преследовал по снежному хребту сурового Апеннина, милого Диане, так, что она сама, если верить молве, учила его пускать стрелы из лука, Никострата, победителя того исполина, который изрыгал пламя между утесов Гарганской горы, Клеанта, обрученного с юной Фолое, дочерью реки Лирис. По предсказанию Фолое осуждена была на жертву родившему-

ся на берегу реки крылатому змию. Отец обещал ее руку тому, кто избавит ее от чудовища. Клеант, в порыве страстной любви, решился искупить мужеством жизнь невинной девы, убил змия, но не мог насладиться плодом победы. Приготовив брачный венец, считая дни и часы, Фолое услышала, что Клеант пошел с Адрастом на войну и пал в сражении. Одинокая, она тогда вверяла лесам и горам свои скорби в горестных стенаниях, заливалась слезами, рвала на себе прекрасные русые волосы, забыла и цветы, и венки, из них сплетаемые, обвиняла небо в несправедливости, проводила дни и ночи в рыдании. Боги призрели на печаль ее сердца и, вняв мольбе отца, положили конец ее горести. Проливая непрестанно слезы, она вдруг превратилась в ручей, который соединяет свои струи с родными водами реки Лирис. Но в ручье горечь осталась, по берегам его никогда цветок не покажется, тень на них только от кипарисов.

Между тем Адраст, извещенный о поражении, реял по полю битвы и также искал Телемака, надеясь легко победить его в летах столь еще нежных, окруженный отборной дружиной из тридцати дониян, отличных силой, искусством и смелостью. Он обещал им великую цену за голову сына Улисса, и если бы встретил его в первом пылу битвы, то они, обступив колесницу его, могли бы удобно иметь полный успех, между тем как и сам Адраст тут же грянул бы на Телемака. Но Минерва обратила их в другую сторону.

Представилось Адрасту, что он видел и слышал Телема-

ка на краю долины у подошвы горы, где завязалась жаркая сеча. Не поскакал, полетел он туда, жадный крови, но нашел там не Телемака, а престарелого Нестора, который ветхой рукой изредка пускал наудачу безвредные стрелы. Адраст, разъяренный, считал уже его своей жертвой, но дружина пилиян стеной стала около Нестора.

Стрелы с обеих сторон полетели, как туча, раздались смертные, жалобные вопли, зазвенели доспехи, падая с ранеными, земля застонала под грудами трупов, кровь ручьями лилась. Беллона, Марс, фурии адские в одежде, напитанной кровью, жестокосердные, тешились побоищем, не переставая раздувать в сердцах убийственное пламя: божества, ненавидящие род человеческий, они гнали прочь с ратного поля и великодушное сострадание, и воздержное мужество, и кроткое человеколюбие. В смутной толпе посреди обоюдного остервенения без пощады свирепствовали убийство, мщение, зверская лютость, отчаяние. Взглянув на побоище, мудрая и непобедимая Паллада дрогнула от ужаса и удалилась.

Между тем Филоктет со стрелами Алкидовыми тихими стопами шел к Нестору на помощь. Не успев поразить божественного старца, Адраст сыпал стрелы на пилиян – и не тщетно. Лежали уже у ног его: Ктезилай, едва оставлявший легкий след по себе на бегу по сыпучим пескам, обгонявший на родине быстрые воды Ерота и Алфея, Евтифрон, красотой превосходивший самого Гиласа, Гипполиту равный

страстью к ловле, Птерелай, спутник Несторов в троянском походе, милый Ахиллесу за мужество и силу, Аристокитон, который, омывшись в струях реки Ахелоя, получил от бога таинственный дар превращаться во всякие виды: и подлинно был так гибок и быстр в телодвижениях, что ускользал от самой могучей руки. Адраст копьем низвергнул его в прах бездыханного, вмиг душа его вылилась с кровью.

Нестор, свидетель побиения лучших своих витязей, сраженных Адрастом, как неумолимый жнец в летнюю пору ссекает острым серпом золотые колосья, забывал опасности, которым подвергался без пользы, ветхий летами. Изумленный, он только следовал взорами за своим сыном Пизистратом, который, пламенный в битве, старался заслонить отца от ударов. Но наступил тот роковой час, когда Нестору суждено было восчувствовать, как иногда несчастен тот, кто лживый отжил век свой.

Пизистрат устремил в Адраста копье с такой быстротой, что гибель его, казалось, была неизбежна, но тот уклонился, и между тем, как Пизистрат, поднимая копье, пошатнулся от промаха, Адраст пронзил живот его дротиком. Кровь из него заструилась, лицо побледнело, как вянет цветок на лугу, сорванный нимфой, глаза померкли, голос замер. Алцей, наставник и спутник его в битве, принял на руки павшего, но едва уже мог довести его к Нестору. Он хотел еще сказать отцу слово любви, но открыл уста только для того, чтобы испустить последнее дыхание.

Между тем как Филоктет, отражая неукротимого Адраста, распространял вокруг себя смерть и ужас, Нестор прижимал к сердцу тело любезного сына, изливал печаль свою в воплях, не мог сносить света. «О, как я несчастен, – говорил он, – что был отцом и дожил до такой старости! Жестокая судьба! Зачем ты не пресекла моей жизни на ловле за вепрем калидонским, или во время путешествия в Колхиду, или в первую осаду троянскую? Я умер бы тогда со славой, без горести и не доживал бы теперь болезненный век свой в недугах, в презрении, в немощи. Я не живу, а страдаю, во мне живо только чувство печали. О сын мой! Любезный Пизистрат! Когда смерть похитила у меня твоего брата Антилоха, ты утешал меня. С тобой всего я лишился, ничто уже не утешит меня, все для меня совершилось, не возвеселит меня и надежда, последняя отрада нам в скорбях. Антилох! Пизистрат! Любезные дети! Мне кажется, что я обоих вас вместе теряю: новая рана раскрывает в моем сердце и прежнюю рану. Мне уже не видеть вас! Кто закроет мне очи? Кто придет собрать прах мой? О Пизистрат! Ты умер, как и брат твой, с мужеством в сердце, я один не могу умереть».

Так говоря, он хотел пронзить себя стрелой, но был удержан. Взято между тем от него тело Пизистратово, и сам несчастный старец, без чувств от слабости, отнесен в ставку. С первым пробуждением сил он хотел возвратиться на место сражения, но вновь был удержан.

Адраст и Филоктет искали друга друга по полю битвы.

Глаза их, полные гнева, предвестники угроз и неумолимого мщения, светились, как у тигра и льва горят очи, когда они, сошедшись на берегах Каистра, схватятся, жадные крови. За стрелами их всюду следовала смерть неизбежная, витязи с обеих сторон смотрели на них, изумленные от страха. Наконец они друг друга завидели, и Филоктет уже взял одну из тех роковых стрел, которые из рук его никогда не вылетали напрасно и от которых раны были неисцелимы. Но Марс, поборник жестокого и бесстрашного Адраста, не мог видеть равнодушно его гибели и желал продлить еще ужас кровопролития. Правосудные боги блюли еще Адраста как орудие гнева и казни.

Филоктет, метив стрелой в Адраста, сам в то же мгновение ранен: поразил его копьем Амфилох из Лукании, юный, прекрасный, как Нирей, уступавший красотой между всеми греками под Троей только Ахиллу. Почувствовав рану, Филоктет пустил стрелу в Амфилоха: она вошла ему в сердце – и яркие черные глаза его, осененные мраком смерти, потухли, уста, алые, как розы, вестницы восходящей Авроры, завяли, выступила на щеки мертвая бледность, и лик прелестный и нежный вдруг изменился. Сам Филоктет пришел в жалость, и все восстенали, увидев, как юный воин пал, облитый кровью, и как его волосы, прекрасные, как Аполлоновы, влачили по пыльной земле.

Низложив Амфилоха, Филоктет принужден был сойти с поля сражения, силы его истощались с кровью, и даже древ-

няя рана его от труда в битве могла раскрыться со всеми болезнями: сыны Эскулаповы не исцелили его совершенно со всем их божественным знанием. Еще немного – ион пал бы на обгаренные трупы, если бы Архидам, могучий и смелый, из всех эболиян вернейший сотрудник его в новом отечестве Петилии, не вывел его из сечи в тот самый час, как он подвергался явной опасности. С той поры Адраст не встречал уже сопротивления, все падало к ногам победителя или бежало, он метался по полю битвы, подобно реке, которая, выступив из берегов, мчит по кипящим валам жатвы, стада, пастухов и целые веси.

Клик победителей достиг слуха сына Улиссова, и скоро затем он увидел все смятение союзной рати: воины бежали, как стадо робких оленей, когда оно, гонимое стрелками, рыщет по широкому полю, по крутым горам, по дремучему лесу и мечется в быструю воду.

Телемак восстенал от скорби о поражении, запыхлала глаза его гневом. Оставив то место, где битва долго была для него столь же славна, сколь и опасна, он поспешил к бегущему войску, покрытый кровью сраженных врагов, вскрикнул – и обе рати еще издали слышали его голос.

Минерва дала его голосу громоподобную, страшную силу, отозвались на его голос окрестные горы: не гремит так сильно и звучно свирепый голос Марса во Фракии, когда он зовет к себе войну, и смерть, и адских фурий. Оживает в союзниках мужество и смелая храбрость, неприятель цепенеет,

сам Адраст, изумленный, не верит от стыда незнакомому до-толе смятению в сердце. Зловещие предчувствия приводят его в трепет, во всех его действиях видны уже порывы отчаяния, а не мужество. Трясущиеся колена под ним подломились, он отпрянул без мысли и цели, стоит с бледным лицом, холодный пот обливает все его члены, начатые дрожащим, могильным голосом слова замирают в устах, глаза сверкают, как раскаленные угли: новый Орест, терзаемый фуриями, он весь в содроганиях и теперь только вспомнил, что есть боги. Мечталось ему, что он видел их в гневе, что слышал голос, глухим стоном исходивший из бездны, – призывный голос из мрачного Тартара, чувствовал вышнюю руку, невидимую, простертую над его головой и мезтью вооруженную, вся надежда погасла в его сердце, и бесстрашная храбрость его исчезла, как меркнет дневной свет, когда солнце сходит в морские волны и земля одевается мрачным покровом ночи.

Ударил последний час для безбожного Адраста, долго, слишком долго терпимого на земле, если бы такие бичи не были нужны для рода человеческого. Исступленный, он сам стремился к неизбежной гибели с сердцем, разорванным от ужаса, мучительных угрызений, уныния, лютой отчаяния. Представилось ему, лишь только он завидел Телемака, что увидел бездну зияющую и пламя мрачного Флегетона, прямо на него вихрем несомое, вскрикнул и с раскрытым ртом стоял онемевший, подобный спящему, когда он в страшном сновидении, открыв уста, хочет вымолвить слово



с тщетными усилиями. Трясущеюся и торопливой рукой он пустил стрелу в Телемака. Но сын Улиссов, бесстрашный, как друг богов, оградил себя светозарным щитом. Казалось тогда, что победа, приосенив его крылом своим, держала уже над ним лавровый венок, глаза его блистали ясным огнем спокойного мужества, сама Минерва была в его образе: столько в нем было присутствия духа посреди величайшей опасности! Стрела, отраженная щитом, пала на землю. Адраст обнажил меч свой, предваряя стрелу от Телемака. Бросив стрелу, Телемак стал перед ним также с мечом в руке.

Сошлись – и все воины, безмолвные, опустили оружие, все взоры на них обратились: судьба войны зависела от их единоборства. Сверкнули мечи, как смертоносные молнии, сшиблись, ударили по блестящим доспехам: зазвенели доспехи. Соперники стояли друг против друга, то вытянувшись вперед, то назад подаваясь, то наклонясь, то поднявшись: внезапно схватились. Плющ, выросший под тенью вяза, не так крепко вьется гибкими отраслями от корня по стволу, по сучьям, по ветвям до самого верха, как они друг друга стиснули. Адраст нимало не утратил еще своей силы, Телемак не пришел еще в возраст совершенного мужа. Адраст не жалел ни искусства, ни усилий, чтобы сбить соперника с ног и вырвать из рук его меч, но без успеха. Телемак в то самое мгновение, как он ловил его меч, вдруг схватил и повалил его наземь. Темный презритель богов тогда показал малодушный страх пред лицом смерти, от стыда не молил о

пощаде, но глаза, но все черты его лица умоляли Телемака, он хотел привести его в жалость. «Сын Улиссов! – говорил он ему. – Я узнаю наконец, что есть правосудные боги, они карают меня по заслугам, несчастье открывает человеку глаза, а вместе и истину: я вижу ее и свое осуждение. Но царь злополучный пусть напомним тебе об отце твоём, страннике на чужой стороне, и судьбу мою пусть решит твое сердце».

Простертого стиснув коленами, с мечом в руке над его грудью Телемак отвечал: «Я желал только победы и мира народам, которым пришел сюда на помощь, не люблю я кровопролития. Живи, Адраст! Но изгладь следы своих преступлений, возврати похищенное, восстанови спокойствие и справедливость на берегах великой Гесперии, которую ты опозорил изменой и убийствами. Живи и будь иным человеком, пав, узнай, что боги правосудны, что злые несчастны и заблуждаются, когда ищут благополучия путями насилия, неправд и жестокостей. Постоянная добродетель в простоте нравов одна составляет все спокойствие и все счастье в жизни человеческой. Дай нам заложников – сына своего Метродора и двенадцать старейшин из своего народа».

Так говоря, Телемак подал ему руку, не подозревая в нем злобного умысла. Но он, выхватив скрытый под одеждой дротик, вдруг ударил им Телемака так быстро и ловко, что дрот с острым жалом пробил бы доспехи его, если бы они не были сделаны мастером-богом. Избегая преследования, он тотчас отпрянул за дерево. Тогда Телемак, обратясь к дони-

янам, сказал: «Победа наша – вы видите. Злодей спасается одним вероломством. Кто не боится богов, тот боится смерти. Но в ком страх божий, тот ничего не боится».

И подошел он к дониянам, велев своим воинам заградить дорогу коварному Адрасту. От страха попасть в руки врагов, он то назад отступал, то бросался на критян. Вдруг

Телемак грянул на вероломного, быстрый, как молния, когда отец богов с высоты Олимпа мещет ее на преступников, и, схватив его победоносной рукой, низвергнул, как бурный вихрь кладет наземь жатву на ниве. Он не внемлет уже его молению: злодей дерзнул еще раз прибегнуть к его состраданию, вонзает меч ему в сердце. Низринутый в огонь мрачного Тартара, он приял достойную казнь за злодеяния.

# Книга двадцать первая

*Избрание царя дониянам.*

*Прибытие Диомеда.*

*Возвращение союзников восвояси.*

Не успел Адраст закрыть очей, как все донияне, вместо того чтобы сетовать о смерти его и о своем поражении, вздохнув свободно, в знак согласия и примирения дали руки союзникам. Бежал один Метродор, сын Адрастов, робкий душой, воспитанный отцом в правилах лицемерия, несправедливости и бесчеловечия. Но раб, сообщник его во всех срамных делах и жестокостях, отпущенный на волю, осыпанный дарами, единственный товарищ его в бегстве, изменил ему ради золота, в пути умертвил его с тыла и принес союзникам отрубленную голову, надеясь продать ее, а с ней и мир высокой ценой. Злодей возбудил общий ужас и был предан смерти. Увидев голову Метродора, дивного красотой, с превосходными склонностями, но испорченного худым примером и сластолюбием, Телемак прослезился. «Вот что производит – говорил он, – яд счастья в молодом государе! Чем более возвышен в духе, чем более пылкости в сердце, тем скорее он заблуждается, отходит от всякого чувства добродетели. Было бы то же, может быть, и со мной, если бы по благодати небесной несчастья с младенчества и наставления Менторовы не научили меня воздерживать страсти».

Донияне молили о мире с одним условием: чтобы им предоставлено было право избрать такого царя, который добродетелями мог бы загладить пятно, опозорившее царский венец на челе вероломного Адраста, благодарили богов за избавление их от мучителя, спешили один перед другим к Телемаку лобызать его руку, низложившую изверга, считали поражение торжественной победой. Пало, таким образом, в мгновение ока и безвозвратно могущество, грозная туча, висевшая над всей Гесперией, страшная столь многим народам, – подобно твердыне, на вид прочной, несокрушимой, но постепенно снизу подкапываемой: незримая рука медленно роет, и слабый труд долго не замечается, все, кажется, на своем месте, все твердо, ничто не зыблется, а между тем основания уже подрыты, твердыня вдруг оседает, и открывается пропасть. Власть несправедливая и вероломная, какого бы счастья ни достигла насилием, роет яму сама под собой. Обман и жестокость подмывают самые твердые основания власти. Лесть, страх и раболепство у ног ее до последнего ее дыхания, а между тем она падает под собственной своей тяжестью, и ничто уже не восставит ее, она сама разрушила надежнейшую свою подпору, честность и справедливость, единственный союз любви и доверия.

В следующий день вожди совещались об избрании царя дониянам. Радостно было видеть два стана, соединенные столь неожиданной дружбой, две вчера еще враждебные и уже единомышленные рати.

Мудрый Нестор не мог быть в совете. Горесть, согласясь со старостью, сокрушила его сердце, как дождь ввечеру побивает цветок, на заре дня еще красузеленого луга. Ручьями лились непрестанно из глаз его слезы, сон от них бежал – волшебный целитель мучительных скорбей, погасла в нем жизнь сердца – надежда, несчастный старец отвергал всякую пищу, даже свет был ему ненавистен, истомленная душа его желала уже только отрешиться от тела и сойти в вечный мрак царства Плутонова. Моления друзей были тщетны, раздранное сердце не находило отрады в дружбе, как больной не находит вкуса в отборнейших яствах, на все увещания он отвечал стоном и неутешимым плачем. Иногда говорил: «О Пизистрат! О сын мой! Слышу призывный твой голос, иду вслед за тобой, с тобой смерть будет мне в сладость. О сын мой любезный! Душа моя жаждет того только счастья, чтобы еще увидеть тебя на берегах Стикса». Иногда же он сидел по целым часам безмолвный и неподвижный и только вздыхал, воздевая руки, возводя к небу заплаканные очи.

Вожди между тем ожидали Телемака. Он оставался у тела Пизистратова, осыпал его цветами, возливал на него драгоценнейшие благовонные воды и мешал с ними горькие слезы. «Любезный товарищ! – говорил он. – Никогда я не забуду того времени, когда увидел тебя в Пилосе, сопровождал тебя в Спарту и вновь нашел на берегах великой Гесперии. Ты всегда и везде оказывал мне неизменную дружбу, я любил тебя, взаимно тобой любимый, я знал твою храбрость,

ты превзошел бы ею знаменитейших витязей Греции. Ты пал в подвиге мужества со славой, но сошла с тобой в гроб юная доблесть, которой некогда ты был бы у нас вторым Нестором. Так! Твой ум и витийство сравнились бы в зрелом возрасте с мудростью и витийством старца, чтимого всей Грецией. Ты уже имел силу его сладкого убеждения, которому, когда он говорит, все покорно, его пленительную простоту в рассказе, его мудрую умеренность, которой он, как волшебным железом, укрощает раздраженные страсти, его власть, даруемую благоразумием и силой добрых советов. Когда ты начинал говорить, все умолкали, все были готовы, были рады принять твои мысли. Речь твоя, сильная простотой без всякой надменности, незаметно проникала в сердца, как роса сходит на злачную ниву. И все эти дарования, недавно еще наша надежда, похищены у нас безвозвратно. Не стало Пизистрата, которого я обнимал еще сегодня утром. О, если бы ты, по крайней мере, закрыл глаза Нестору прежде, нежели мы закрыли твои глаза! Он не был бы свидетелем горестнейшего зрелища и несчастнейшим из всех отцов».

После того Телемак велел омыть рану в боку Пизистрата и положить тело на одр, покрытый багряными тканями. Смертвой в лице бледностью Пизистрат был подобен дереву, которое недавно, бросая далеко от себя тень по земле, возносило роскошные ветви, но подрублено топором дровосека. Оно уже не на корне, не вскормит его земля, щедрая мать, питавшая все его побеги, без силы держаться на стволе оно

колеблется и падает, желтеют зеленые листья и ветви, заслонявшие солнце, завянув, сохнут, простертые в прахе: лежит, как голый остов без всякой красоты, недавно пышное дерево. Так Пизистрат, добыча смерти, был несом к роковому костру.

Медленно следовала за ним дружина пилий, опустив копья, потупив глаза и слезы роняя. Костер загорелся, тело истлело, пепел собран в золотую пеплохранительницу, и Телемак вручил ее, как сокровище, Каллимаху, наставнику Пизистратову. «Возьми, – говорил он ему, – печальный, но драгоценный остаток столь тебе милого юного друга, сохрани его для отца, но ожидай, пока он сам пожелает увидеть прах любезного сына. Горесть находит в свое время отраду в том, что безвременно растравляет ее».

Потом Телемак прибыл в собрание союзных царей. Все смолкло, как только он показался. Общая тишина привела его в краску, он сам остановился, безмолвный. Скоро затем поднялся со всех сторон клик в похвалу его подвигов, он желал скрыться и в первый раз пришел в замешательство, просил наконец собрание избавить его навсегда от похвал. «Я не бесчувственен к похвалам, – говорил он, – особенно от столь достойных судей добродетели, но боюсь пристрастия к ним. Они – яд для человека, наполняют его самолюбием, мечтами и гордостью. Надобно заслуживать их, но и бегать от них. В самой невинной хвале есть близкие к неправде оттенки. Лесть сплетает похвальные песни злейшим мучителям. Но в



такой хвале кто найдет удовольствие? Лестна хвала не в глаза, когда я так счастлив, что ее заслуживаю. Если вы почитаете меня истинно добрым, то не отнимайте у меня скромности, незнакомой с тщеславием. Если имеете обо мне доброе мнение, то пощадите меня и не хвалите как человека, звуком похвал оглушаемого».

Многие и затем до звезд еще превозносили его, но он скоро остановил клики молчанием и равнодушием: боялись навлечь на себя его неудовольствие. Прекратились похвалы, но не удивление. Все были свидетелями, с каким умилением он оплакивал Пизистрата, с какой любовью отдал последний долг юному витязю, и изливания доброго сердца трогали более, нежели все чудеса его разума и храбрости. «С умом возвышенным и с мужеством, – говорили втайне, – он друг богов, выше смертного, герой нашего века. Но великие качества только удивляют. Он человеколюбив, добр, друг верный и нежный, сострадателен, великодушен, благодотворен, предан всей душой тем, кого любит, отрада друзей, и нет в нем ни спеси, ни холодной, гордой наружности. Вот что в нем мило, что пленяет, привязывает к нему каждого сердце, что дает цену всем его доблестям, за что каждый из нас готов отдать за него последнюю каплю крови!»

Все потом стихло, и собрание приступило к рассуждению о необходимости избрать царя дониянам. Большая часть вождей полагала разделить Донийскую область по праву завоевания между союзниками. Телемаку назначали плодонос-

ную землю Арпийскую, приносящую два раза в год богатые дары Церерины, сладкие Вакховы грозди и всегда зеленый плод посвященного Минерве масличного дерева. «Обладая такой землей, – говорили ему, – ты скоро забудешь бедную свою Итаку с ее хижинами, и дикие утесы дуликийские, и дремучие дебри закинтские. Перестань искать отца и матери и отечества: отец, без сомнения, погиб в волнах у мыса кафарского – жертва мести Науплиевой и гнева Нептунова, мать по разлуке с тобой давно отдала руку не тому, так другому искателю, а отечество – как сравнить бедный угол земли с уделом, который мы предлагаем тебе?»

Терпеливо он слушал эти речи, но гранитные скалы во Фракии и Фессалии не столь глухи к жалобам отчаянных любовников, сколько Телемак был бесчувствен ко всем предложениям. «Не льстят меня, – отвечал он, – ни богатства, ни прохлады роскоши. Какая польза владеть обширным пространством земли и многочисленным народом? Более от того скорбей, но не свободы. Для умеренного, мудрого человека довольно в жизни несчастий и без тревожной заботы правления другими людьми, непокорными, строптивыми, коварными, несправедливыми, неблагодарными. Кто властвует по самолюбию, ищет только преобладания, удовольствий, собственной славы, тот бич рода человеческого. Но кто хочет управлять людьми по истинным правилам, с единственной целью их счастья, тот не владыка, а пастырь народа, трудам его нет ни предела, ни меры, и он далек от желания распро-

странять свое владычество. Пастух, который бережет свое стадо, защищает его от волков с опасностью для собственной жизни, ищет для него пажитей, не дает себе покоя ни днем, ни ночью – такой пастух не захочет умножать своего стада соседскими чужими овцами: тем он только умножил бы свою заботу. Я не был главой правления, – продолжал Телемак, – но знаю из законов и от мудрых законодателей, как трудно управлять городами и царствами. Довольно для меня моей бедной и малой Итаки, довольно и славы, которую могу снискать на родине, если буду царствовать справедливо, неукоризненно и мужественно. Но боюсь, чтобы и там этот жребий не пал на меня слишком рано. О, если бы отец мой, спасшись под кровом богов от ярости волн, возвратился в отчизну и царствовал до глубокой старости, а я мог от него еще долго учиться побеждать свои страсти, чтобы со временем управлять страстями народа».

Потом Телемак говорил: «Знаменитые военачальники! Внемлите тому, что я вменяю себе в долг сказать вам для вашей пользы. Если вы дадите дониянам царя справедливого, руководимый справедливостью, он внушит им, сколь благотворно, не посягая на чужое, блюсти добрую веру: правило, доселе им незнакомое под властью вероломного Адрас-та. Покуда они будут управляемы царем мудрым и кротким, нечего вам от них опасаться, обязанные вам добродетельным царем, миром и благоденствием, они не придут к вам с мечом в руке, будут, напротив того, благословлять вас – и царь,

и народ, вами восставленные. Но если вы разделите их землю, то я смело могу предсказать вам несчастные последствия такого раздробления.

Народ, доведенный до отчаяния, вновь ополчится, справедливо обнажит меч за свободу, и боги будут ему поборниками. Когда же боги за угнетенных, то не сегодня завтра постигнут вас казни, и счастье ваше исчезнет, как дым, отнимется от ваших вождей дух совета и мудрости, от рати мужество, от земли плодородие. Вы ослепитесь ложными надеждами, ознаменуете свои предприятия безрасчетной дерзостью, заградите уста добродетельным людям, готовым открыть вам истину, внезапно падете, и скажут о вас: вот народ, цветущий и сильный, который хотел дать всему миру законы! Сам ныне бежит от лица неприятелей, попираемый ногами, потешное зрелище соседям. Боги так сотворили, и достоин того народ несправедливый, надменный и бесчеловечный. Помыслите, впрочем, что вы, разделив между собой завоевание, поставите против себя все окрестные народы. Союз ваш, заключенный для защиты общей свободы Гесперии от хищного и вероломного Адраста, будет всем ненавистен, вы сами дадите другим право обвинять вас в насильственном присвоении себе преобладания.

Положим, что вы восторжествуете и над дониянами, и над всеми соседями, но верьте, что с этой победы начнутся ваши бедствия. Раздел завоевания посеет между вами раздор и распри. Он не будет основан на справедливости, не будет по-

тому у вас ни правила, ни меры в притязаниях, каждый захочет получить соответственную силе его долю и никто не будет иметь столько власти над другими, чтобы совершить раздел миролюбно. Отсюда война нескончаемая для вас и для поздних ваших потомков. Не лучше ли быть справедливым и умеренным, нежели, следуя порывам честолюбия, идти против явных опасностей и неизбежных несчастий? Глубокий мир и спутник его – невинное, тихое довольство, счастливый избыток, дружба соседей, слава – неотъемлемая дань справедливости, имя и власть судии народов, приобретаемые доброй верой, не драгоценнее ли преходящего блеска неправедных завоеваний? Вожди народов! Вы видите, что я забываю себя: внемлите совету человека, простирающего любовь свою к вам до того, что даже не боится навлечь на себя ваше негодование прекословием за истину».

Так говорил Телемак с силой и властью, новыми для всех военачальников. Но между тем, как они дивились мудрости его советов, издалека стал слышан говор, распространившийся по всему стану, достигший до самого места собрания. Какой-то странник пристал к берегу с вооруженной дружиной, на лице его написано величие, герой телом и сердцем, по виду давно несчастный, но сильным духом выше всякого бедствия. Когда приморская стража, приняв его за неприятеля с опасными замыслами, не пускала его на берег, он, бесстрашный, обнажив меч, объявил, что сумеет отразить силу силой, но тут же молил о мире и гостеприимстве, и смирен-

но, с масличной в руке ветвью, просил препроводить его к одному из начальников края. Вняв ему, стража привела его к союзным царям.

И вслед за известием странник явился в собрание. С первого взгляда все были поражены величественным его видом. можно было принять его за Марса, когда он созывает к себе со скал Фракийских дружины, алчные брани. Странник говорил:

– Пастыри народов, собравшиеся, без сомнения, для защиты отечества от неприятелей или для утверждения в своих областях справедливых законов! Внемлите человеку, гонимому судьбой. Боги да спасут вас от подобных моим страданий и бедствий. Я Диомед, царь Этолийский, который под Троей ранил в руку Венеру. Мечь богини преследует меня по всему свету. Нептун, всегда послушный воле божественной дочери моря, отдал меня на жертву волнам и ветрам, корабли мои не раз погибали, сокрушаясь о камни. Неумолимая Венера лишила меня всей надежды возвратиться в свое царство, обнять семейство, вздохнуть родным воздухом. Никогда уже не видеть мне того, что для меня всего в мире дороже. После многих несчастий я пристал к здешнему берегу в надежде, не найду ли себе здесь покоя и верного крова. Если вы боитесь богов и особенно Юпитера, покровителя странных, если сострадание знакомо вашему сердцу, то не отвергайте моей просьбы, дайте мне в обширной своей стране угол бесплодной песчаной земли, в степи ли безлюдной

или в горах непроходимых, где я мог бы со своими спутниками основать город в память невозвратимой отчизны. Малого участка земли у вас просим, и земли, для вас бесполезной. Будем жить с вами в мире и ненарушимом союзе. Ваши враги будут нашими врагами, мы готовы делить с вами горе и счастье. Предоставьте нам только свободу жить по собственным нашим законам.

Телемак не мог отвести взора от Диомеда, на лице его страсть страстью сменялась. Когда Диомед упомянул о долговременных своих страданиях, он думал, полный надежды, не отец ли его этот величественный странник. Но когда Диомед сказал свое имя, он побледнел, как меркнет прекрасный цветок от бурного северного ветра. Потом, когда Диомед говорил о непреклонном гневе на него раздраженной богини, растроганный, он чувствовал всю тягость того же гнева на него и на отца его. Грусть слилась с радостью в его сердце, потекли из глаз его слезы, он бросился на выю к Диомеду.

– Я сын Улисса, – говорил он ему, – которого ты знаешь и который небесполезен был и тебе при уводе славных коней Резовых. Тебя и его боги покинули без милосердия. Если верить предвещанию Эреба, то он еще жив, но не для меня. Я ищу его вдали от отечества и не могу ни с ним соединиться, ни возвратиться в Итаку. Несчастья мои пусть будут для тебя мерой моего сострадания к твоей участи. Несчастному предоставлено, по крайней мере, то приобретение, что он умеет делить горе с другими. Чужой в здешнем крае, невзи-

рая на то, я могу способствовать тебе в твоём намерении, великий Диомед, непобедимейший из всех греков по Ахиллесе! Воспитание мое в отрочестве, при всех бедствиях моей родины, не было пренебрежено до такой степени, чтобы я не знал всей твоей славы на поле брани. Все эти цари человеколюбивы и знают, что без человеколюбия нет ни доблести, ни истинного мужества, ни твердой славы. Слава великого мужа получает новый блеск от несчастья. Чего-то недостает в нём, если он никогда не был в несчастии, недостает в его жизни примеров терпения и крепости духа. Страждущая добродетель трогает всякое сердце, не совсем чуждое любви к добродетели. Будь спокоен: наше дело утешит тебя в скорбях. Ты дар нам от богов, и мы счастливы, что можем доставить тебе отраду в горестях.

Диомед смотрел на него с удивлением, с сердцем умиленным. Они обняли друг друга с чувством будто старинной любви. «Достойный сын мудрого Улисса, – говорил Диомед Телемаку, – я узнаю в тебе его кроткие черты лица и приятность в беседе, его силу витийства и благородные чувства, его мудрость в советах».

Филоктет подошел и также обнял великого сына Тидеева: один другому они рассказывали про бывшие с ними превратности. Потом Филоктет говорил ему: «Без сомнения, приятно тебе будет увидеть мудрого Нестора. Он недавно лишился последнего своего сына Пизистрата. Ничего уже не осталось ему в жизни, путем слез он сходит к гробу. Утешь



его: несчастный друг лучше всех усладит его горечь». И пошли они к Нестору. Старец с трудом узнал Диомеда, до того скорбь ослабила его память и чувства. Диомед проследил за ним, и свидание с ним растравило рану сердца у Нестора. Но мало-помалу присутствие друга успокоило его, грусть в нем стихла от удовольствия, с которым он описывал Диомеду свои страдания и внимал взаимному его рассказу.

Союзные цари между тем рассуждали с Телемаком о предмете совещания. Телемак советовал им уступить Диомеду землю Арпийскую, а в цари дониянам избрать Полидама, их соотечественника. Полидам был знаменитый вождь, удаленный Адрастом от всех дел из зависти и опасения, чтобы успехи не были приписаны дарованиям опытного мужа и чтобы слава оружия не разделилась. Часто Полидам предварял его втайне, что он подвергал свою жизнь, а с ней и царство явной опасности войной против столь сильного союза, хотел познакомить его с чувствами правоты и умеренности. Но враги истины ненавидят всякого, кто смеет открывать им истину, бесчувственные к искренности, усердию и бескорыстию. Счастье, всегда неверное, ожесточало сердце Адрастова против самых спасительных советов. Наперекор им он считал дни свои новыми победами, надменность, вероломство, насилие не переставали пролагать ему пути к торжеству над неприятелями. Несчастья, Полидамом предсказываемые, не приходили. Он смеялся над робкой предусмотрительностью, измеряющей дальние последствия, не мог терпеть Полида-

ма, устранил его от всякого звания и покинул одинокого в бедности.

Сначала Полидам испытал всю тягость опалы, но скоро приобрел ею то, чего только и недоставало ему – познание всей суеты человеческого величия. Купил себе мудрость дорогой ценой, но в самом несчастье нашел отраду, научился страдать молча, довольствоваться малым, питать сердце истиной в тихой безвестности, исполнять втайне смиренные добродетели, превосходнейшие громких деяний, и не иметь нужды в людях. Жил он, бездомный, у подошвы Гарганской горы, в месте пустынном, под кровом свисшего полусводом утеса. Водопад утолял его жажду. Сад его состоял из нескольких плодовых деревьев. Два раба возделывали для него небольшой участок земли, он сам трудился с ними собственными руками, и земля награждала его труд изобилием, он не знал ни в чем недостатка, имел в избытке не только плоды и овощи, но и цветы всякого рода, в одиночестве оплакивал бедствие народа, ведомого на край бездны слепым властолюбием, и боялся, чтобы правосудные, хотя и долготерпеливые боги не сегодня завтра не наказали Адраста. По самым успехам коварства и оружия он вычислял приближение его к роковому пределу: неразумие, счастливое в заблуждении, и сила, вошедшая на последнюю, крайнюю ступень власти, предтечи падения царств и царей. Услышав о поражении и смерти Адраста, он не показал удовольствия ни в том, что предвидел его низвержение, ни в том, что сам избавлял-

ся от мучителя, вздохнул только от страха, не склонились бы донияне под иго рабства.

Этого достойного мужа Телемак предложил возвести на престол. Он был известен ему добродетелью и мужеством. Телемак по совету Ментора всегда и везде любопытствовал знать добрые свойства и слабости людей, занимавших разные должности не только у союзных в войне против Адраста народов, но и у неприятелей, старался везде находить и испытывать людей, отличных дарованиями или добродетелью.

Союзники сперва затруднились вверить державу Полидаму. «Пример показал нам, – говорили они, – как страшен царь донийский соседям, когда он любит и умеет вести войну. Полидам полководец искусный и тем опасный». «Если с одной стороны Полидам знает ратное дело, – отвечал Телемак, – то с другой известна любовь его к миру: два качества, которые должны быть неразлучны в государе. Человек, знакомый с опасностями, с бедствиями, со всем трудом войны, скорее будет избегать ее, нежели тот, кто никогда не проходил этого опыта. Полидам знает всю сладость, все счастье жизни тихой и мирной, он осуждал замыслы Адрастовы, предвидел все их пагубные последствия. Царь слабый, без познаний и опыта, опаснее такого царя, который сам во все входит, все сам разрешает. Слабый царь будет смотреть на все глазами пристрастного любимца или подозрительного и властолюбивого советника-ласкателя и в ослеплении вовлечется в войну против сердца. Нельзя будет ни в чем по-

ложиться на него, он сам сегодня не знает, как будет мыслить завтра, не устоит в договорах, и вы скоро дойдете до крайности избрать одно из двух: или его низложить, или от него принять иго. Полезнее и благонадежнее, справедливее и великодушнее отвечать на доверие к вам дониян искренней правотой и дать им царя, достойного власти».

Совет, убежденный, велел объявить дониянам свое заключение. С нетерпением они ожидали ответа и, услышав имя Полидама, говорили: «Теперь мы видим чистые намерения союзных царей. Они желают вечного мира, когда избрали нам в цари добродетельного человека, достойного царствовать. Если бы они предложили нам иного царя, слабого, неопытного, изнеженного роскошью, в таком предложении таилось бы верное средство к угнетению нашей области, к изменению у нас образа правления, и скрытное чувство вражды переходило бы у нас из рода в род за столь коварный поступок. Но избрание Полидама служит нам залогом благонамеренной искренности. Избрав нам такого царя, которому свобода и слава нашего племени будут всего драгоценнее, союзники, без сомнения, взаимно не ожидают и от нас ничего несправедливого и низкого. Зато мы клянемся перед лицом правосудных богов, что реки скорее потекут обратно к истокам, чем в нас погаснет любовь к столь благотворным царям. Да сохранится дар их из рода в род в памяти отдаленнейших наших потомков, и мир золотого века да процветет во всей Гесперии».

Потом Телемак предложил дониянам уступить Диомеду землю Арпийскую. «Этот новый народ, – говорил он им, – будет обязан вам своим поселением в месте, доселе вами необитаемом. Не забудьте, что люди должны любить друг друга. Земля слишком обширна, соседство неизбежно, соседями лучше иметь людей, обязанных вам водворением. Сжальтесь над несчастным царем, невинным изгнанником из своей области. Полидам и Диомед, соединясь добродетелью и справедливостью – несокрушимым союзом, утвердят в стране вашей мир и согласие: вы будете страшны всем, в ком ни возникнул бы дух преобладания. Донияне! Избрав вам такого царя, который возвеличит вашу славу, мы взаимно просим вас уступить бесполезную вам землю царю, достойному всякого пособия».

Дониянесогласились на предложение, не могли ни в чем отказать Телемаку из благодарности за избрание Полидама. Немедленно они отправились призвать его из пустыни на царство, но прежде отдали Диомеду плодоносную долину Арпийскую: дар, которым союзники были тем еще довольнее, что новое поселение греческое могло со временем служить им большим подкреплением, в случае, если бы донияне, по примеру Адраста, возобновили насилие.

Наконец союзные цари разлучились. Телемак расстался с ними со слезами, и, обняв с умилением великого доблестью Диомеда, мудрого, тогда неутешного, Нестора и славного Филоктета, достойного преемника стрел Геркулесовых,

пошел обратно в Салент со своей дружиной.

## Книга двадцать вторая

*Возвращение Телемака в Салент.*

*Любовь его к Антиопе, дочери Идомениевой.*

Телемак, сгорая нетерпением, спешил обнять Ментора в Саленте, а потом возвратиться в Итаку, где уже надеялся найти Улисса. С удивлением он смотрел на неутомимую деятельность в окрестностях Салента, прежде бесплодных, незаселенных, и, как сад, возделанных в короткое время: узнал труд мудрого Ментора. Вошедши в город, он также заметил уже не ту толпу художников, не ту роскошь, не прежнюю пышность, и по природной любви к великолепию и к наружному блеску, с первого шага с неудовольствием глядел на такую во всем перемену. Скоро заняли его иные мысли: он завидел Идоменея и Ментора, – радость слилась с нежностью любви в его сердце. Но, невзирая на все свои успехи на войне, он не был уверен, доволен ли Ментор его поведением, и, подходя к нему, старался угадать по глазам его, не заслужил ли упрека.

Идоменией обнял его как сына. Телемак бросился потом к Ментору и обл ил его слезами. «Я доволен тобой, – сказал ему Ментор. – Ты часто ошибался, но зато узнал себя и научился не всегда верить сердцу. Погрешности нередко полезнее блистательных деяний. Великие дела дарят надменность и опасную самонадеянность, погрешности заставляют

человека приходиться в себя и возвращают ему благоразумие, теряемое в быстрых успехах счастья. Остается тебе воздать славу богам и от людей не искать себе славы. Ты совершил подвиг великий, но сам ли собой? Не пришло ли как бы со стороны, как дар тебе свыше, все, что ты сделал? Не могли ты расстроить все пылким своим нравом и неосмотрительностью?

Не чувствуешь ли ты, что Минерва преобразила тебя в иного, высшего человека, чтобы совершить тобой то, что ты сделал? Она заслонила все твои страсти, как Нептун, когда смиряет бурю, останавливает разъяренные волны».

Между тем как Идомоней любопытствовал знать от критян подробности похода, Телемак слушал мудрого Ментора, а потом, обращая взор во все стороны, говорил ему с удивлением: «Я вижу здесь во всем перемену, но не постигаю причины. Подумаешь, что беда случилась в Саленте в мое отсутствие. Нигде не видно и тени прежнего великолепия, ни золота, ни серебра, ни камней драгоценных, одеты все просто, дома, и то необширные, строятся без украшений, художества упали, город стал уединенной пустыней».

«А заметил ли ты состояние полей около города?» – отвечал с улыбкой Ментор. «Там все возделано, – сказал Телемак, – и плуг в почтении». «Что же лучше, – говорил Ментор, – город ли великолепный, богатый серебром, золотом, мраморами, с бесплодной, брошенной в запустении кругом его степью, или пространные поля, обработанные и плодо-



носные, с городом посреди них, посредственным и скромным в нравах? Большой город, наполненный художниками, расслабляющими нравы утонченными наслаждениями, в области бедной и худо возделанной подобен чудовищу с огромной головой и с тощим, изнуренным от голода телом, без всякой с головой соразмерности. Народонаселение и избыток в предметах первой потребности составляют истинную силу и богатство государства. У Идоменея теперь народ многочисленный, неутомимый в труде, рассеянный по всему пространству его области. Вся его область – один великий город, которого Салент средоточие. Мы перевели из города в область людей, здесь излишних, а там нужных. Мало того: мы призвали сюда иноземцев. С размножением населения произведения земли умножаются совокупным трудом: мирное и тихое возрастание, полезнейшее всех завоеваний. Мы изгнали из города только излишние художества, которые бедных отводят от земледелия, единственного способа к удовлетворению прямых нужд человеческих, а богатых вовлекают в роскошь и негу с растлением нравов, но мы не тронули ни изящных художеств, ни людей с истинными к ним дарованиями. От того Идомея теперь гораздо могущественнее, чем прежде был со всем своим великолепием. Под блеском тогда таились бедность и слабость, предтечи скорого разрушения царства. Теперь у него народ возрастает в числе и, несмотря на то, не знает нужды, а привыкши к труду, к недостаткам, к презрению смерти, с любовью к благотворным зако-

нам, он всегда готов обнажить меч на защиту земли, возделанной в поте лица. Область, клонящаяся, как ты думаешь, к падению, скоро будет красой Гесперии.

В народоправлении две пагубные и почти неизлечимые болезни – злоупотребление власти и роскошь, зараза для нравов.

Все может тот, кто считает законом во всем свою волю и страстям не знает границы. Но он подрывает истинные основания власти. Без правил, обдуманых и постоянных, он внемлет только внушениям лести: за то и окружен не подданными верными, а рабами, которых число ежедневно уменьшается. Кто скажет ему истину? Кто остановит поток в его бурном стремлении? Все падает к его ногам, а мудрые уходят и втайне, в неизвестности стенают. Только внезапное и сильное потрясение может обратить его в естественные пределы. Но удар, благовременно еще спасительный, нередко бывает роковым безвозвратно ударом. Ничто так не близко к падению, как власть, выступившая из черты всех уставов. Она подобна луку, слишком крепко натянутому: тетива, не спущенная в меру, рано или поздно вдруг перервется. Кто же дерзнет привести ее в меру? Такой обольстительной властью Идомей отравлен был в сердце и заплатил за то царским венцом, но не пришел в разум истины. Богам надлежало послать к нему нас, чтобы показать ему всю глубину заблуждения, и то еще чудеса были нужны, чтобы открыть ему глаза.

Роскошь – другое, почти неисцелимое зло. Она заража-

ет весь народ своим ядом. Послушаешь: роскошь питает бедных от избытка богатых, как будто человек недостаточный не может снискать себе продовольствия сельским трудом с пользой для себя и без участия в разврате богатых утонченными изобретениями неги и сластолюбия. Весь народ привыкает считать излишние вещи предметами первой потребности, каждый день новая надобность, нельзя, наконец, обойтись без того, что лет за тридцать было еще совсем неизвестно. Такая роскошь слывет изящным вкусом, совершенством в художествах, народной образованностью; порок, рождающий множество других зол, превозносится как добродетель и между тем разливает отраву от царя до последнего подданного. Ближние сродники царицы хотят равняться с царем в великолепии, с ними вельможи, с вельможами люди среднего, с этими – низшего состояния, ибо кто сам себе судья неподкупный? Никто не живет по состоянию: тот из тщеславия вместо заслуг выставляет богатство, другой от стыда скрывает свою бедность под позолотой. Если еще и слышится голос мудрого, осуждающий столь гибельное неустройство, то и мудрый уже не решится показать собой первого примера наперекор общему образу жизни. Все царство между тем разоряется, все состояния истаивают. Страсть к приобретению, исчезающему в ненужном и бесполезном иждивении, заражает сердца самые чистые и непорочные. Единственная у всех и каждого цель – обогатиться. Скудость вмещается в бесчестие. Будь учен, с дарованиями, будь добродетель

телен, просвещай юношество, греми победами, спасай отечество, жертвуй всем своим и собой для общего блага – все ты в презрении, когда роскошь не дает твоим дарованиям своего волшебного блеска. Хочет слыть и тот богачом, у кого нет верного насущного хлеба, расточает как бы из полной сокровищницы, в долг живет чуждым, обманывает, пускается на всякую хитрость, на всякую подлость, лишь бы дойти до своей цели. Кто же придет на помощь в такой общей болезни? Надобно переменить вкус и привычки целого народа, дать ему новые законы. Кто решится на исполинское предприятие? Такой подвиг предоставлен царю просвещенному, который один может примером собственной умеренности посрамить расточительную пышность и отдать справедливость благоразумию, оправдать бережливую, честную скромность».

Внимая словам мудрого старца, Телемак был подобен человеку, от глубокого сна пробудившемуся, чувствовал всю истину его речей, и они печатлелись в его сердце; так искусный ваятель, вызывая на свет из мрамора лик по своей мысли, дает ему жизнь, силу и чувство. Он повторял сам себе слышанное, долго осматривал в городе все перемены и, наконец, сказал Ментору:

– Идоменей под твоим руководством стал мудростью выше всех венценосцев: не узнаю ни царя, ни народа. Дела твои здесь превосходят все наши победы. Успех на войне много зависит от силы, от случая. Славой в битвах мы должны

делиться с воинами. Но здесь все плод разума. Ты должен был один совершить весь подвиг в исправлении царя и народа. Успехи в войне всегда гибельны и ознаменованы кровью: здесь все дело небесной мудрости, все кротко и чисто, все дышит любовью, все носит печать сверхъестественной власти. Хочет ли кто славы? Зачем не ищет ее в благотворении роду человеческому? О сколь ложное понятие о славе имеет тот, кто надеется снискать мечом и огнем истинную славу!

Ментор с лицом светлым радовался, что Телемак мыслил так здраво о победах и завоеваниях в таких летах, когда еще свойственно ослепляться заслуженной славой.

Потом он говорил:

– Все, что ты здесь видишь, действительно хорошо и похвально, но все могло бы быть еще лучше. Идомея владеет своими страстями и старается править царством правосудно, но нередко еще претывается – несчастная дань, которую он платит прежнему своему заблуждению. Когда человек отложится от зла, оно долго еще по пятам его ходит. Остаются в нем худые привычки, расслабленное сердце, заблуждения, вместе с ним состарившиеся, непреодолимые почти предрассудки. Счастлив тот, кто никогда не совращался с правого пути! Он может делать добро совершеннее. О Телемак! Боги взыщут с тебя более, чем с Идомея: ты знаешь истину с юности и не был предан всем очарованиям счастья.

Идомея – царь просвещенный и мудрый, но, слишком входя в мелочи, не довольно объемлет главные предметы

правления, так, чтобы составить обдуманное предначертание. Искусство главы царства не в том состоит, чтобы делать все своими руками, и грубое только тщеславие может надеяться дойти до такой точности или успеть других в том уверить. Главный долг государя – выбор и руководство подвластных. Не его дело мелкие занятия – это обязанность подчиненных. Довольно для него общего отчета о всех подробностях управления, и столько сведений, сколько нужно для основательного суждения о всем по отчетам. Выбор и употребление людей по способностям есть уже превосходное управление. Величайшее и совершеннейшее искусство состоит в направлении к одной цели тех, кому власть вверяется. Тут предлежит испытание, надзор неусыпный, одного надобно исправлять и воздерживать, другой требует ободрения, одного надобно смирить, другого возвысить, тому дать иное назначение, всех содержать в безмолвной покорности.

Желание входить во все самому показывает недоверие и страсть к мелочам, которая убивает и время, и свободу ума, необходимую для важных предметов. Великие предприятия требуют свободного и спокойного духа, думы глубокой и вольной, не стесненной неизбежными в производстве дел затруднениями. Ум, изнуренный тягостным, хотя и мелким трудом, подобен отстою вина на дне сосуда без всякой уже крепости и приятного вкуса. Кто управляет так, что все проходит через его руки, для того предел всех мыслей есть настоящее, он не объемлет отдаленного будущего, теку-

щий труд поглощает все его внимание, и единственное его занятие представляется ему в преувеличенном виде, стесняет его разум. Тот только может здраво судить о делах, кто вместе их сравнивает, располагая по порядку, в некоторой связи и соразмерности. Кто в управлении не наблюдает этого правила, того можно сравнить с музыкантом, который наберет, набросает множество приятных звуков, но не мыслит о том, чтобы слить их воедино составить из них согласное целое, тронуть сердце умным соединением звуков. Можно также сравнить его с зодчим, который, собрав множество огромных столбов, искусно обтесанных камней, думает, что тем и совершил свое дело, не заботясь о том, чтобы каждая вещь и каждое украшение в здании были поставлены в порядке, в меру, у места. Отделал он обширную комнату для угощения и не вспомнил, что нужна к ней приличная лестница, выстроил дом – и не подумал ни о дворе, ни об удобном подъезде. Таким образом, все его здание – не что иное, как сбор великолепных частей, одна другой не соответствующих, – позорный, а не славный для него памятник, показывающий ум недалкий, посредственный и неспособность художника обнять мыслью и расположить все принадлежности здания. Человек, рожденный с ограниченным дарованием, может действовать только под руководством. Верь мне, любезный Телемак, что управление государством требует согласия так же, как музыка, и правильных соразмерностей так же, как зодчество!

Станем продолжать сравнение: увидим еще более, как посредственны люди, страстные к мелочам в управлении. Тот остается только певцом, кто поет, хотя и превосходно, одно ему данное место в многосложном сочинении: хором управляет ум с даром высшим. Равным образом, кто отделяет столбы или возводит одну сторону здания, тот только каменщик. Зодчий тот, кто составляет чертеж всему зданию, у кого все оно в мысли во всем пространстве и мере. Так и в государственном управлении. Не тот управляет, кто много пишет, суетится, вечно за делом, подчиненный делопроизводитель. Ум высший, держащий бразды правления, приводит все в движение, в действие, внешне сам неподвижный. Он-то мыслит, изобретает, проникает в будущее, возвращается к прошедшему, соображает, распоряжается, готовит все заблаговременно, собирается заранее с силами, чтобы, подобно пловцу в борьбе с волнами быстрой реки, твердо противостать превратному счастью, и не задремлет, чтобы ничего не отдать на волю случая.

Думаешь ли ты, Телемак, что великий живописец работает без отдыха, торопится окончить начатые картины с ранней зари до позднего вечера? Нет! Всякое принуждение, всякой труд срочный и рабский погасили бы огонь его воображения, он не трудился бы тогда по вдохновению, у него не может быть назначенного часа для работы, все у него изливается порывами по возбуждению чувства, по движению духа. Думаешь ли ты, что он теряет время в приготовлении кистей, в



растирании красок? Нет! Он не сходит к ученическому занятию, а предоставляет себе высшее занятие – мыслить и смелой кистью картинам давать благородство, жизнь, чувство. В нем воскресают все мысли, все чувства героев, которых он пишет, он живет в их веке, их воздухом дышит, с ними в походах и битвах, с ними делит горе и счастье, но и в восторге он строг и разборчив, все у него истинно, правильно и соразмерно. Думаешь ли ты, что государю, чтобы быть великим, нужно иметь менее возвышения в духе, силы в мыслях, чем великому живописцу? Царю потому предлежит главное занятие – мыслить, обдумывать предприятия и избирать людей, способных к совершению их под его руководством.

– Все, тобой сказанное, я понимаю, – отвечал Телемак Ментору, – но государь, если не будет сам входить во все подробности, легко может подвергаться обману.

– Ты сам обманываешься, – сказал ему Ментор. – Общие основные сведения, общий взгляд на состав управления ограждают от обмана. Кому основания и порядок дел неизвестны, кто притом лишен дара различать умы, тот впотьмах ходит ощупью, и только счастливый случай может спасти его от обмана; он сам не знает, чего ищет, цели в виду не имеет, все искусство его состоит в недоверчивости, и подозрение его падает более на честных людей правдолюбивых, чем на уклончивых клеветников-ласкателей. Кому, напротив того, известны основания государственного управления и кто знает людей, тот вместе знает и то, чего и как должно искать в них,

видит, по крайней мере, в общем обзоре, способны ли они к тому, во что употребляются, понимают ли его мысли, разделяют ли его намерения, идут ли с ним одним путем и к той же цели. Ум его, не обремененный тягостными подробностями, объемля ход предприятий, может свободно судить об успехе. Если он и подвергается обману, то не в главных вопросах правления. Далек он от мелкой зависти, сродной низкой душе, уму ограниченному, знает, что обманы в обширных делах неизбежны: во всех делах одни и те же орудия – люди, столь часто лукавые.

Нерешимость, последствие недоверчивости, вреднее мелких обманов. Счастлив тот, кто бывает обманут только в малых вещах, когда важные дела идут успешно: цель, на которую должно обращать все внимание великого человека. Обман открывшийся надобно строго наказывать. Но кто не хочет быть в сети, тот наперед должен во всем отделять долю на жертву обману. Художник видит у себя все своим глазом и все может делать собственными руками. Царь в обширном государстве не может всего сам ни делать, ни видеть. Ему предлежит только то, чего никто другой не может исполнить. И видеть равным образом он должен только то, что относится к разрешению важнейших вопросов государственных.

Наконец, Ментор сказал Телемаку:

– Боги к тебе милостивы, под кровом их твое царствование будет исполнено мудрости. Все, здесь тобой видимое, совершилось не столько для славы Идоменеевой, сколько

для наставления тебя поучительным примером. Все мудрые в Саленте установления – тень только того, что ты некогда устроишь в Итаке, если добродетелью оправдаешь высокое свое предназначение. Но пора нам подумать об отъезде: корабль готов для нас в гавани.

Тогда Телемак открыл Ментору, но не без замешательства, сердце и чувство, по которому прискорбно ему было расстаться с Салентом. «Ты, конечно, не одобришь меня за то, – говорил он ему, – что я везде даю легко и скоро волю сердцу в любви, но я приготовил бы себе в том же сердце немолчный упрек, если бы скрыл от тебя свою любовь к Антиопе, дочери Идомениевой. Любовь моя к ней – не такая слепая страсть, какой сгорал я на острове Калипсо. Я знаю всю глубину раны от страсти своей к Эвхарисе, и теперь еще не могу без волнения в душе произнести ее имени; ни разлука, ни время не изгладили ее из моей памяти, и несчастный опыт научил меня не верить самому себе. К Антиопе во мне совсем иное чувство, не страстная любовь, а привязанность, уважение, уверенность, что с ней был бы я счастлив. Если боги возвратят мне отца и он предоставит выбор жены мне на волю, женой моей будет только Антиопа. Пленяют меня в ней нрав молчаливый, скромность, уединение, непрестанное занятие, искусство в шитье по узорам и в тканях, умное управление домом отцовским по кончине матери, презрение роскошных нарядов, забвение, едва ли даже не совершенное неведение своей красоты. Велит ли отец ей плясать с юными

критянками по звуку свирелей – она тогда, как Венера, окруженная приятностями, светлая радостью. Возьмет ли он ее с собой на ловлю – Диана между нимфами не превзойдет ее величественным видом и искусством пускать стрелы из лука. Все от нее в восхищении, она одна того не знает. Входит ли она в храм с корзиной на голове, полной посвященных богам приношений – подумаешь, не сама ли она божество, чтимое в храме? Мы сами видели, с каким страхом и благоговением она приступала к алтарю с жертвой умилоствления, когда надлежало или укротить гнев богов, или омыть преступление, или отвратить несчастное предзнаменование. Увидишь ли, наконец, ее между женами и девами с золотой в руке иглой – подумаешь, не сама ли Минерва, приняв на себя образ человеческий, учит людей рукодельям? Пример в труде подругам, она заставляет их волшебным своим голосом, песнями во славу богов забывать скуку работы. Шитью ее по тканям уступит самая искусная живопись. Счастлив тот, кому она отдаст руку и сердце! Одного он должен бояться – лишиться и пережить ее.

Я готов тотчас оставить Салент: боги тому свидетели. Пока жив, не перестану любить Антиопу, но возвращения моего в Итаку она не остановит ни на одно мгновение. Если другому суждено быть ее мужем, пройдет тогда вся моя жизнь в кручине и горести. Но я оставлю ее, невзирая и на уверенность, что она не моя, как только я с ней расстанусь. Не скажу я ни слова ни ей, ни отцу о любви, могу верить только

тебе эту тайну, пока Улисс, возвратясь на престол свой, не изъявит мне на то согласия. Ты видишь, любезный Ментор, как отлична настоящая моя привязанность от прежней слепой страсти к Эвхарисе».

– Я согласен с тобой в этой разности, любезный Телемак! – отвечал ему Ментор. – Антиопа соединяет в себе с умом простоту нрава и кротость, руки ее не презирают работы, она все предусматривает, на все обращает внимание, умеет молчать, всем распоряжается с рассудком, спокойно, всегда за делом, и без всякой тревожной заботы все делает вовремя. Порядок в доме родительском – ее слава, лучшее всех ее прелестей украшение. Все на ее попечении, она обязана взыскивать, сокращать иждивение; женщины обыкновенно за то ненавидимы, она всеми любима оттого, что в ней нет, как в других, ни пристрастия, ни упрямства, ни легкомыслия, ни причудливого своенравия. Все отгадывают по одним взглядам ее мысли, и каждый боится навлечь на себя ее неудовольствие. Все ее приказания точны и ясны, от каждого она требует только того, что по силам, самые выговоры ее исполнены благости и ободрения. В ней находит покой сердце отца ее, как путник, изнуренный от солнечного зноя, покоится на мягкой траве в прохладной тени. Ты прав, Телемак! Антиопа – редкое, бесценное сокровище. Ум ее не ищет ложно блестящих украшений, воображение, живое и пылкое, никогда не выходит из границ скромности, она говорит только тогда, когда нужно и должно, и каждый раз, как

откроет уста, пленительное убеждение льется из них с приятством невинности. При первом звуке слов ее все умолкают и тогда она, заметив общее внимание, с краской стыда на лице старается замять разговоры, беседы ее и мы почти не слышали.

Помнишь ли ты, как однажды она была призвана к Идоменею? Пришла с потупленным взором, с длинным с чела покрывалом. Царь хотел тогда строго наказать одного из служителей. Она старалась смягчить его сердце, сперва разделила его огорчение, мало-помалу затем успокоила его, сказала все, что могла, к извинению несчастного, и, не показывая царю его запальчивости, внушила ему чувства справедливости и сострадания. Не с большей кротостью Фетида, лелея старого Нерая, смирят разъяренные волны. Как теперь она владеет лирой, когда играет на ней нежные песни, так некогда будет владеть сердцем мужа, не присваивая себе никакой власти, не гордясь красотой. Одним словом, Телемак, любовь твоя к ней справедлива, боги предназначают тебе Антиопу, ты любишь без ослепления. Остается тебе ожидать, пока можешь получить ее руку через Улисса. Я рад, что ты не открылся ей в привязанности. Если бы ты пошел кривыми путями, она отвергла бы твое предложение и потеряла бы все к тебе уважение. Сама она никогда никому не даст слова, пойдет за того, кого отец изберет, но никогда не пойдет за человека, в котором нет страха божия и кто не соблюдает приличия. Примечаешь ли ты, что она, со времени возвра-

щения твоего, еще реже показывается, глаз не поднимет. Ей известны все твои успехи на войне, и род твой, и все твои странствования, и все то, чем боги одарили тебя: от того самого такая в ней скромность. Возвратимся в Итаку, любезный Телемак. Остается мне последний труд – привести тебя к отцу и найти тебе жену, достойную золотого века. Будь она пастушкой в холодной Алгиде, а не дочерью царя салентского – все ты будешь стократно ею счастлив.

## Книга двадцать третья

*Идоменей всеми средствами старается удержать Телемака в Саленте.*

*Телемак на охоте спасает жизнь Антионе, побеждает чувства своего сердца, отправляется в отечество.*

Идоменей, боясь и подумать о разлуке с Ментором и Телемаком, отдалял ее под разными видами: говорил Ментору, что не мог без него решить спора между Диафаном, жрецом Юпитера-хранителя, и Гелиодором, жрецом Аполлоновым, о предсказаниях по полету птиц и по внутренностям приносимых в жертву животных.

– Нет нужды тебе мешаться в дела духовные, – отвечал ему Ментор. – Предоставь разрешение этих вопросов этрурянам. У них в руках предания древнейших прорицалищ, они известны вдохновением, даром изъяснять волю богов. Со своей стороны старайся только подавлять такие распри в самом начале. Не показывай ни пристрастия, ни предубеждения, ограничивайся утверждением сделанных постановлений. Царь обязан покоряться уставам веры и никогда не должен позволять себе никакой в них перемены. Вера от богов, она выше царя. Царь, мешаясь в дела веры, стеснит ее вместо покровительства. Если он примет на себя звание судьи в духовных делах, то по могуществу его, с одной, а по слабости прочих, с другой стороны, все может подвергнуться



опасности изменений по его воле. Оставь друзьям богов полную свободу в разрешении подобных вопросов и ограничься укрощением непослушных произнесенному ими суду.

Потом он объяснял Ментору затруднительное свое положение от большого числа тяжб между частными лицами, требовавшими скорого разрешения.

– Разрешай случаи новые, – отвечал ему Ментор, – где речь идет о правилах общих или о пояснении законов, но никогда не принимай на себя суда в частных делах: не отобьешься от них, будешь судьей один во всем царстве, подвластные судьи тогда бесполезны, задавлен будешь частными распрями, они отвлекут тебя от важных предметов и, невзирая на то, сил у тебя не достанет на разбор всех мелких споров. Опасайся впасть в такую запутанность. Отсылай дела между частными лицами в суды, для того учрежденные, а сам делай то, в чем заменить тебя никто не может, исполнишь тогда истинные царские обязанности.

– Брачные союзы также приводят меня в затруднение, – продолжал Идомений. – Сыновья знатных отцов, бывшие со мной в походах, потеряв на службе все достояние, взамен утраченного хотели бы жениться на богатых невестах. Я мог бы одним словом доставить им возмездие.

– Это действительно стоило бы тебе одного слова, – отвечал Ментор, – но как дорого стоило бы тебе одно это слово! Захочешь ли ты отнять у отцов, у матерей свободу и утешение избирать дочерям мужей, а себе в лице их наследников?

Всякое семейство тогда было бы в рабском стеснении, пала бы на тебя вся ответственность за семейные несчастья. И без этой горести довольно скорбей в супружестве. Надобны награды за верную службу? Есть на то ненаселенные земли, достоинства, почести, соразмерные заслугам и званию каждого. Нужно более? Употребляй на то остатки своих собственных доходов, но не плати своих долгов богатыми невестами против воли родителей.

Идоменей перешел к другому предмету.

– Сибариты, – говорил он, – жалуются, будто мы захватили их землю и отдали ее в виде степи призванным нами сюда чужеземцам. Уступить ли мне этому племени? Притязаниям конца не будет.

– Равно было бы несправедливо верить сибаритам ли или тебе в собственном деле, – сказал Ментор.

– Кому же верить? – возразил Идоменей.

– Ни той, ни другой стороне, – отвечал Ментор, – а надлежит обратиться к посредничеству соседнего народа, к обеим сторонам беспристрастного. Таковы синонтинцы: они не могут иметь видов, противных вашим выгодам.

– Но неужели я должен отдать себя на суд посредника? – говорил Идоменей. – Я царь, царю ли покоряться суду чужеземцев даже о пространстве своих владений?

– По столь твердому голосу надлежит полагать, что ты считаешь право свое верным. Но и сибариты не отступают от своих требований, утверждая также свое право. Такое несо-

гласие мнений может быть разрешено одним из двух способов: избранным взаимно посредником или оружием, тут нет середины. Представь себе общество без суда и расправы, где каждое семейство было бы властно решать споры с соседями наглым самоуправством: ты пожалел бы о бедствии такого народа и с содроганием смотрел бы на смуты, раздор, вражду между семействами. С меньшим ли ужасом боги взирали бы на род человеческий, если бы каждый народ, – семейство великого общества, – считал себя вправе разрешать насилием споры с соседними народами? Частный человек может спокойно владеть своим полем, достоянием предков, под кровом законов и власти, но был бы строго наказан как нарушитель благоустройства, если бы захотел, в случае распри с соседом, ограждать свою собственность вооруженной рукой. Думаешь ли ты, что царь властен защищать свое право тотчас с мечом в руке без всех мер убеждения и кротости? Для царей, между которыми речь идет о государствах, справедливость не должна ли быть еще священнее, чем для семейств, между которыми споры о нивах? Тот несправедлив, похититель, кто завладеет чужим участком земли, а тот прав и герой, кто присвоит себе целую область? Если предубеждение, обман, ослепление нередки в частных распрях, то как должно бояться обмана и ослепления в важных делах государственных?

Можно ли полагаться там на свой собственный суд, где столько причин не доверять себе? Считаться со своей соб-

ственной прозорливостью в таких случаях, где нередко погрешность одного влечет за собой пагубные надолго последствия? Плодами пристрастия в притязаниях бывали истощение царств, голод, кровопролитие, опустошение, растление нравов – горькая чаша, которую иногда отдаленнейшие потомки еще допивали. Царь, всегда окруженный льстецами, не должен лив таких случаях еще более опасаться льстивых и ложных внушений? Но, отдав предмет возникшего спора на суд посредника, огласив тогда же все основания своего права, он покажет тем любовь к справедливости, умеренность, добрую веру. Приговор посредника не предполагает слепой покорности, место ее заступает личное к нему уважение. Он не произносит суда самовластного, но убеждает, и по советам его не та, так другая сторона жертвует частью выгод ради покоя и мира. Когда же война возгорится, невзирая на все попечения царя о сохранении мира, то он будет иметь на своей стороне, по крайней мере, свидетельство совести, утешение от соседей, а боги – его поборники.

Царь, убежденный рассуждением мудрого старца, согласился на посредничество синонтинцев.

После всех безуспешных попыток удержать своих друзей в Саленте Идоменей решился прибегнуть к иному сильнейшему средству. Любовь сына Улиссова к его дочери не была для него тайной, он надеялся обезоружить его этой страстью и для того неоднократно заставлял Антиопу петь на торжественных празднествах. Она повиновалась, но с роб-

кой скромностью, с таким прискорбием, что нельзя было не видеть страдания сердца ее, он даже уговаривал ее воспеть победу над Адрастом и дониянами, но она никак не могла решиться петь хвалу Телемаку, со смиренным почтением извинялась перед отцом, и он не принуждал ее. Голос ее, сладкий и трогательный, входил в душу сына Улисса, завораживал его. Идоменей не спускал с него глаз и тешился его замешательством. Но Телемак не показывал и вида, что проникал в его мысли. Сердце его в таких случаях невольно принимало сильные впечатления, но разум в нем владел чувством. Он был уже не тот Телемак, которого прежде мучительная страсть держала в плену на острове у Калипсо – пение Антиопы слушал он с глубоким молчанием, но, как только она переставала петь, тотчас заводил речь о посторонних предметах.

В этом намерении также не видя успеха, Идоменей решился назначить большую звериную ловлю, как говорил, в удовольствие дочери. Антиопа не хотела принимать в ней участия, плакала, но должна была исполнить безусловную волю родительскую. Она является на гордом коне, бурном, как кони Каstorовы перед сражением, но тут послушном ее мановению. За ней скачут юные девы, между которыми она – Диана в лесу между нимфами. Идоменей не отводит от нее взоров, счастливый отец, забывает все свои прежние несчастья. Телемак глазами везде с ней, пленяется ее скромностью еще более, нежели искусством и приятностью.

Псы гнались за огромным вепрем, свирепым, как вепрь калидонский. Длинная щетина на нем торчала, как стрелы, очи, налившись кровью, светились, издалека слышан был шум от него, словно шум ветра, когда Эол под конец бури зовет его в свою пещеру. Долгими, как серп кривыми зубами он резал деревья при корнях. Псы, сколько их на него ни бросалось, легли растерзанные. Самые смелые ловчие гоняли его, но боялись настичь.

Антиопа бесстрашно, легко, как ветер, помчалась прямо на вепря, приложила стрелу к тетиве, стрела вонзилась в него выше ноги. Брызнула кровь из раны лютого зверя, закипев свирепством, он ринулся на Антиопу. Конь ее, гордый и бурный, захрапел и отпрянул. Вепрь на него устремился – громада катилась, подобная той, которой разбиваются осажденные стены. Конь зашатался и грянулся оземь, упала с ним Антиопа. Вблизи уже от себя она видела роковой клык разъяренного вепря, но Телемак, готовый для нее на всякую жертву, быстрый как молния, сошел уже с лошади, стал между упавшим конем и вепрем, жаждущим крови, и сильным взмахом руки погрузил длинное свое копьё почти все в его ребра. Зверь повалился. Телемак тотчас отсек ему голову, все еще страшную, и поднес Антиопе. Она покраснелась, взглянула на отца и старалась по глазам разгадать его мысли. Идоменей как прежде обмер от страха, видя дочь в явной опасности, так теперь не помнил себя от удовольствия и дал ей знак, чтобы приняла дар Телемака. Взяв из рук его

голову вепря, она сказала ему: «Я получаю от тебя с благодарностью иной, гораздо лучший дар, – жизнь, которой тебя обязана», – и боясь, не слишком ли много сказала в немногих словах, потупила взор. Телемак, видя ее замешательство, отвечал кратко: «Счастлив сын Улиссов, что спас столь драгоценную жизнь, но он был бы стократно счастливее, если бы мог провести свою жизнь неразлучно с тобой». Не отвечая ни слова, она отошла от него к своим подругам и села на лошадь.

Идоменей тогда же готов был отдать ее руку Телемаку, но надеялся еще более воспламенить в нем страсть неизвестностью, даже думал, что желание увериться в успехе своего намерения заставит его пробыть еще долго в Саленте. Так он мыслил, но боги играют советами смертных. То, что должно было удержать Телемака, то самое заставляло его спешить удалиться. Рождавшееся в сердце его чувство рождало в нем справедливое к самому себе недоверие.

Ментор старался всеми средствами возбудить в нем желание возвратиться в Итаку, а Идоменея просил отпустить их в отечество. Корабль стоял совсем снаряженный. Ментор, возводя Телемака от славы к славе и располагая всеми часами его жизни, оставался с ним в каждом месте столько времени, сколько где было нужно для искушения твердости его в добродетели новыми опытами. Он заботился приготовить корабль тотчас по возвращении Телемака.

Идоменей смотрел с прискорбием на эти приготовления.

Когда же увидел, что время разлуки с друзьями, столь полезными его сотрудниками, было уже недалеко, то предался убийственной печали и неутешной грусти, затворялся в уединеннейших местах своего дома и там с глубокими вздоханиями изливал в слезах сокрушенное сердце, забывая даже пищу. Мрачные думы его не засыпали, он сохнул и таял от скорби, подобно великому дереву. Далеко вокруг себя оно бросает еще тень по земле от пышных ветвей. Но червь уже подъел жилы корня, пресек все пути жизненной силе, и дерево, которого ствол непоколебимо стоял против бури, которого ростом из недр своих земля любовалась, которое всегда чтит секира, вянет от незримой болезни, желтеет, и лист, богатое убранство его, валится на землю. Остается от роскошного дерева пень с корой рассевшейся и ветви засохшие. Таков был Идомей в глубокой горести.

Телемак с растроганным сердцем не смел начать с ним разговора, боялся дня разлуки, старался отдалить ее под разными видами, рад был еще долго пробыть в нерешимости. Но Ментор сказал ему:

– Приятно мне видеть в тебе такую перемену. Ты родился с сердцем жестким и гордым, в тебе чувство было только к личным своим выгодам и удовольствиям. Наконец ты стал человеком и, наученный горестью, начинаешь делить горе с другими. Без сострадания доблесть и дар к управлению теряют лучшее свое достоинство. Но должно знать меру и в сострадании, не дозволяя себе малодушия в дружбе. Я охотно



избавил бы тебя от неприятной беседы с Идоменеем, согласил бы его отпустить нас в Итаку, но не хочу, чтобы робкий стыд и застенчивость владели твоим сердцем. Надобно тебе приучаться соединять с нежной и чувствительной дружбой твердость и мужество. Не должно огорчать людей без нужды, но если это неизбежно, то надлежит разделять с ними скорби и смягчать неотвратимые удары.

– По тому самому я и желал бы, – сказал ему Телемак, – чтобы Идомеией узнал от тебя, а не от меня о близкой с нами разлуке.

– Любезный мой Телемак! – отвечал Ментор. – Ты обманываешься. Ты, как все царские дети, воспитанные в блеске величия, хочешь, чтобы все шло по твоим мыслям, вся природа была бы послушна твоей воле, а сам не имеешь столько силы в душе, чтобы лицом к лицу воспротивиться своим приближенным, не потому, чтобы много заботился о людях или боялся огорчить их по добродушию, но потому, что тебе покойнее не видеть около себя лиц печальных и недовольных. Вы глухи к страданиям и бедствиям, лишь бы ничего того не было у вас перед глазами. Дойдет вопль до вашего слуха, вы считаете всякую жалобу скучной, дерзкой и неуместной. Хочет кто вам нравиться, не переставай он твердить, что все процветает и благоденствует. В прохладах забав и роскоши, вы не хотите ничего ни видеть, ни слышать, что могло бы прервать ваши удовольствия. Надобно сказать неприятную правду, отвергнуть несправедливое ис-

кание – такое поручение вы всегда возлагаете на другого, сами решаются скорее осыпать недостойного милостями наперекор собственному сердцу и правосудию, чем изъяснить ему с кроткой твердостью несообразность его притязаний, скорее будете сквозь пальцы смотреть на расстройство в самых важных делах, чем победите свою слабость и перестанете действовать против совета наперсников. И как все рвутся воспользоваться таким же малодушием, каждый по своим видам! Тот слезными молениями, другой докучливой настойчивостью, оба равно утомляют и тем ли, другим ли путем доходят до своей цели. Иной не щадит ни лести, ни похвал, чтобы только найти дорогу к сердцу, и, когда успеет вкрасться в доверенность и получить при царе место и силу, ведет его, куда хочет, ярем на него налагает, – и тот стонет, желает сложить с себя иго, но остается под ним уже до гроба, старается показать, что он не под властью, но всегда покорен внушениям, не может и быть без того, подобно гибкой лозе, бессильной держаться собственной крепостью и вьющейся около дерева.

Не потерплю я, Телемак, чтобы ты впал в такую слабость: она делает человека неспособным к правлению. Ты не смеешь сказать слова Идоменею, так ты чувствителен! А не успеешь выйти за стены Салента, как уже будешь равнодушен к его скорбям. Не горесть его сокрушает тебя, присутствие его приводит тебя в замешательство. Ты сам должен объясниться с Идоменеем. Учись быть чувствительным, но

и твердым, изобрази ему все свое сетование, но покажи решительным голосом необходимость разлуки.

Телемак не смел ни Ментору воспрекословить, ни явиться к Идоменею, стыдился своего малодушия, но не имел силы преодолеть его, то останавливался, то, ступив шаг, возвращался с объяснением Ментору новых препятствий к отъезду. Но один взгляд мудрого старца заграждал ему уста, рассеивал все препятствия.

– Ты ли тот победитель дониян, – с улыбкой он говорил ему, – тот избавитель Гесперии, сын Улиссов, которому предназначено быть после него прорицалищем Греции? Боишься сказать Идоменею, что нельзя тебе далее отлагать возвращения в отечество, к родителю? Несчастлива Итака, если некогда царь ее, от застенчивости малодушный, станет жертвовать государственными выгодами своим слабостям в маловажных предметах! Смотри, Телемак, какое различие между храбростью в битвах и мужеством в поведении. Бесстрашный против меча Адрастова, ты боишься печали Идоменеевой. Такая слабость опозорила не одного из государей, знаменитых громкими подвигами. Герои на поле брани, в случаях обыкновенных, где другие непоколебимы, они малы душой.

Убежденный истиной, тронутый упреком, не внемля уже сердцу, он пошел к Идоменею и приблизился к тому месту, где царь сидел с поникшими глазами, унылый и мрачный от горести. Оба смутились. Телемак страшился встретиться

взором с Идоменеем. Но и безмолвные, они друг друга поняли, оба равно боялись прервать молчание, оба вместе зарыдали.

– К чему вся наша любовь к добродетели, – сказал наконец царь, стесненный сильным чувством печали, – показать мне мои слабости и потом бросить меня? Предстоят мне вновь те же ненастья. Никто пусть не говорит мне о добром правлении, я ни к чему не способен, люди мне в тягость. Куда ты хочешь идти от меня, Телемак! Отца напрасно ты ищешь, враги твои раздирают Итаку, возвратишься туда на верную гибель, мать твоя давно отдала руку не тому, так другому из твоих неприятелей. Остайся со мной, ты будешь моим сыном, наследником, царем после меня, но и при жизни моей здесь все будет в полной твоей власти, я отдам тебе все с беспредельным доверием. Если ты бесчувствен ко всем моим предложениям, то оставь мне, по крайней мере, Ментора, последнюю мою надежду. Не ожесточи своего сердца, сжался над несчастнейшим из смертных. Молчишь! Боги ко мне без милосердия: чувствую гнев их еще более, нежели на Крите, когда я пролил кровь сына.

Голосом смущенным и робким Телемак отвечал ему:

– Я не принадлежу себе. Судьба зовет меня в отечество. Ментор, исполненный мудрости, велит мне именем богов возвратиться на родину. Суди сам, что мне делать? Неужели отречься от отца, от матери и от отечества, которое должно быть мне еще дороже, милее родителей? Рожденный на цар-

ство, я не призван к жизни кроткой и тихой, не моя доля следовать склонности сердца. Область твоя богаче, могущественнее области отца моего, но я должен предпочесть твоему дару удел, назначенный мне богами. Я был бы счастлив одной Антиопой без всякой надежды получить с ней царство, но прежде всего надобно мне сделаться достойным руки ее исполнением обязанностей, а отцу моему предложить ей через тебя мою руку. Не сам ли ты обещал мне возвратить меня в Итаку? И не в той ли надежде я обнажал за тебя меч с союзниками против Адраста? Пора мне вспомнить о домашних своих бедствиях. Боги, вверив меня Ментору, даровали его сыну Улиссову, чтобы он под руководством его исполнил высшее свое предназначение. Нет у меня ни имения, ни убежища, ни отца, ни матери, ни верного, родного крова, остается при мне только добродетельный мудрый муж, но зато драгоценнейший дар великого бога. Суди сам, могу ли я согласиться на разлуку с таким человеком? Нет! Скорее умру. Лиши меня жизни: что мне в жизни? Но не отнимай у меня Ментора.

Так говоря, Телемак с каждым словом показывал более твердости в голосе, робость в нем исчезла. Идоменей не знал, что отвечать, но не мог и согласиться с Телемаком, молчал и старался телодвижениями и взорами привести его в жалость: неожиданно завидел Ментора, тот подошел и сказал ему величественным голосом:

– Не сокрушайся, мы уйдем, но не отойдет от тебя муд-

рость, председатель в совете богов, веруй только в промысл Юпитера, пославшего нас спасти твое царство, вывести тебя из заблуждения. Филоклес, возвращенный из заточения, будет служить тебе верно. Страх божий, рвение к добродетели, любовь к народу, сострадание к бедным никогда не умрут в его сердце. Внимай его советам, употребляй его с доверенностью. Величайшая от него услуга тебе будет состоять в искренности, с которой он открывал бы тебе все твои слабости, называя всякую вещь своим именем. Возвышеннейшее великодушие доброго царя является тогда, когда он ищет истинного друга, строгого судью его погрешностей. С таким мужественным сердцем и без нас ты будешь счастлив.

Но если лезть, извиваясь змеей, проложит себе вновь дорогу к тебе в сердце и вселит в тебя подозрение к бескорыстным советам – погибнешь. Не предавайся праздной печали, мужайся, иди смело по пути добродетели. Филоклес знает все то, чем может облегчить твой труд, не употребляя во зло доверия. Я отвечаю за него. Боги даровали Филоклеса тебе, меня – Телемаку. Всякой из нас должен следовать своему званию с бодрственным духом. Бесполезно сокрушаться. Если бы представилась тебе когда-либо надобность в моем пособии, я приду к тебе, как только возвращу Телемака отцу и отечеству. И в чем я могу найти себе лучшую отраду? Не ищу я на земле ни богатства, ни власти: все мое желание – помогать ищущим добродетели и справедливости. Могу ли я забыть все твое ко мне доверие, всю твою дружбу?

И тогда же Идоменей стал иным человеком. Все смолкло в его сердце, как по мановению Нептуна стихают разъяренные волны и грозные бури. Осталось в нем чувство печали, но спокойной и мирной, – тихое сетование и сожаление. Мужество, доверие, добродетель, упование на помощь свыше воскресли в его сердце.

– Так не должно унывать и тогда, когда все мы теряем, – говорил он. – По крайней мере, в Итаке, где ты, любезный Ментор, соберешь плоды своей мудрости, вспомни об Идомеене. Не забудь, что Салент – дело рук твоих и что ты здесь оставляешь царя злополучного с надеждой на одного тебя. Прощай, достойный сын Улиссов! Не смею противиться воле богов, не удерживаю тебя. Великое сокровище боги даровали мне на малое время. Прощай и ты, Ментор, слава и украшение рода человеческого! Если только человек может творить дела, тобой содеянные, и если ты не божество, снисшедшее на землю в образе человеческом дать разум истинны не ведущим и слабым. Соверши предназначенный богами путь с сыном Улиссовым, счастливым тобой более, нежели победой над общим врагом Гесперии. Идите и простите уже не жалобам моим, а воздыханиям. Будьте оба благополучны! Мне останется только воспоминание о вашем здесь пребывании. Я не знал всей цены вам, счастливые, светлые дни! Вы прошли быстро, как молния, и никогда уже не возвратитесь. Не видеть уже мне того, что я вижу.

Ментор обнял Филоклеса, который, не говоря ни слова,

облил его слезами. Телемак хотел взять Ментора за руку, но царь, став между ними, сам пошел к пристани, смотрел то на того, то на другого, подавлял воздыхания, начинал говорить, слова в устах замирали.

Между тем стал слышан с берега крик мореходцев: поднимали паруса, ставили снасти, попутный ветер повеял. Ментор и Телемак со слезами простились с Идоменеем. Он долго прижимал их к сердцу, долго потом следовал за ними взорами.



## Книга двадцать четвертая

*Глубокая на море тишь.*

*Телемак пристаёт к необитаемому острову.*

*Там встречается с отцом, но не узнает его.*

*Печаль его, когда он узнал от Ментора, что то был отец его.*

*Жертвоприношение. Является ему Минерва.*

*Последние наставления ее Телемаку.*

Корабль снялся с якоря, ветер заиграл парусами, берег бежал от моря, и кормчий опытным глазом уже завидел вдали горы левкатские, одетые мглой и снегом, и горы акрокеронские, столько веков поражаемые громом и все еще гордые, непоколебимые.

Телемак, обратясь к Ментору, говорил:

– Кажется, я теперь понимаю правила народоправления. Сначала, как ты изъяснял их, я, как во сне, что-то видел, мало-помалу они развились в моих мыслях, и теперь представляются ясно, подобно как все предметы, когда утренняя заря только еще занимается, лежат в тумане, как бы разбросанные, после выходят из сумрака, когда свет, рассыпав ночные тени, отделяет предмет от предмета и возвращает каждому свой цвет и свой образ. Вижу, что главный вопрос в народоправлении состоит в искусстве различать свойства умов, избирать их и употреблять по способностям. Но как узнавать

людей?

– Познание людей, – отвечал Ментор, – приобретается внимательным наблюдением: для того надобно сообщаться, иметь с людьми обращение. Царь должен быть доступен для подданных, беседовать с ними, советоваться, испытывать их, требовать от них отчета в мелких делах, чтобы видеть, способны ли они к званиям высшим. Каким образом ты сделался знатоком в лошадях? Много их видел и по суждению опытных людей замечал, в чем их доброта и в чем пороки. Точно так же говори часто о добрых и злых в людях свойствах с другими людьми, просвещенными и добродетельными, проведшими век свой в наблюдении сердца человеческого – и незаметно узнаешь, как сотворены люди и чего можно ожидать от них безнаказанно. Как ты научился отличать хороших от худых стихотворцев? Читал разные сочинения и рассуждал о них с людьми со вкусом, с духом поэзии. Чем приобрел ты познания в музыке? Таким же внимательным и разборчивым соображением. Можно ли надеяться хорошо управлять людьми, когда их не знаешь? И как может знать людей тот, кто не живет с ними? Жить с людьми значит не то, чтобы встречаться в обществах, где отборными и обдуманно словами говорят о погоде. Надобно беседовать с людьми уединенно, проникать в глубину их сердец, ловить их тайные думы, искушать и со всех сторон их испытывать, чтобы открыть их правила и побуждения. Но прежде всего, чтобы судить основательно о людях, надобно знать, к чему

они призваны, надобно определить себе, в чем состоит истинное достоинство, чтобы найти и в толпе отличить людей достойных.

Куда ни ступишь, везде только и речи, что о достоинстве и добродетели, но в чем достоинство и добродетель, редко кто знает. Для большей части немолчных проповедников добродетели она не что иное, как приятный звук, громкое имя. Надобно самому иметь твердые правила справедливости, разума и добродетели, чтобы узнавать людей умных и добродетельных. Надобно самому знать правила доброго, мудрого правления, чтобы отличать людей с такими правилами от других, с ложными умствованиями. Для измерения разных тел надобно иметь известную меру: так и в суждении. Надобно иметь постоянные здравые правила и на них уже основывать всякое суждение.

Надлежит прежде всего знать истинное предназначение жизни человеческой и цель, в правлении народом предполагаемую. Главная и единственная цель состоит в том, чтобы никогда не желать власти и величия для самого себя. Такое честолюбивое желание стремилось бы только к удовлетворению гордости, между тем, как в бесконечных трудах правления должно забыть себя, жертвовать всем собой, чтобы народ сделать добрым и счастливым. Без того предашь все и себя воле случая будешь во всю жизнь ходить ощупью во мраке, подобно кораблю в открытом море без кормчего: нет на нем никого, кто наблюдал бы звезды, кто был бы знаком с

берегами – потонет или разобьется об камни.

Не зная, в чем состоит истинная добродетель, цари часто не знают и чего искать в людях. В прямой добродетели они находят что-то необразованное, слишком она взыскательна и непреклонна, пугает, оскорбляет: отходят от нее к лестии. Тогда они ищут, но уже нигде не находят ни искренности, ни добродетели, недостойные истинной славы, они гоняются за обманчивым призраком славы мечтательной и скоро знакомятся с мыслью, что неложная добродетель известна на земле только по имени. Добрые знают злых, злые не знают добрых, не могут даже поверить, чтобы они были на свете. Такие цари ко всем равно недоверчивы, невидимые за недоступными стенами, снедаясь подозрениями, для всех они страшны, но и сами мучатся страхом, бегают от света, не смея показаться в истинном своем виде, стараются одеть все свои дела тайной, но для кого они тайна? Злое любопытство подданных везде проникнет и все разгадает. Они сами только ничего не знают. Клеветы их, алчные и ненасытные, с радостью видят, что все к ним пути заграждаются. Царь, недоступный для людей, недоступен и для истины. Все то, что могло бы еще открыть ему глаза, описывается ему черными красками, прочь отгоняется. Он проводит жизнь в каком-то диком и страшном величии, на каждом шагу боится обмана и на каждом шагу нещадно обманут – и по заслугам: обращаясь только с немногими и всегда с теми же лицами, он невольно принимает все их страсти и предрассудки, не помышляя, что

даже у добрых есть свои слабости, предубеждения, делается наконец игралищем доносчиков, подлого, гнусного рода, который питается ядом, превратно толкует самые невинные действия, преувеличивает маловажные случаи, вымышляет зло небывалое, чтобы только вредить и губить, тешась недоверчивостью и позорной пытливостью царя слабого и подозрительного как орудием корыстных своих видов.

Старайся, любезный Телемак, узнавать людей, наблюдай их свойства и склонности, расспрашивай одного о другом, испытывай их постепенно, но ни кому не вверяй себя слепо. Пользуйся опытом, когда обманешься в своих заключениях: будешь обманут, и не однажды, злые заслоняют себя непроницаемым покровом так, что не сегодня завтра увлекают добрых в свои сети. Не суди ни о ком по первому движению сердца ни в худую, ни в добрую сторону. Такие суждения всегда опасны, и здесь-то прошедшие твои погрешности послужат тебе полезным наставлением. В ком найдешь дарование и добродетель, употребляй того к делу с доверием. Честный человек любит доброе о себе мнение, для него уважение и доверие дороже сокровищ. Но не давай и честным людям неограниченной власти. Иной пребыл бы всегда на добром пути, но совратился оттого, что даны ему вдруг и власть и богатство. Кто столько мил богам, что находит в своем царстве двух или трех друзей – не льстецов, с истинной мудростью и постоянной благостью сердца, тот скоро найдет через них много других, им подобных, для низших званий.

Доверием к благолюбивым царь узнает то, чего сам никогда не может видеть в своих подданных.

– Но должно ли, как я часто слышал, – спросил Телемак, – употреблять к делам злых людей, когда они с дарованиями?

– Иногда нужда того требует, – отвечал Ментор. – Положим, что ты уже находишь в силе хитрых и несправедливых людей в области, волнуемой раздорами. Они занимают важные звания, от которых нельзя вдруг их отставить, пользуются доверием сильных, которых нужно щадить, нужно щадить и самих их, опасных лицемеров, готовых все смутить и расстроить. Надобно поневоле употреблять их до времени, но не терять при том из вида необходимости удалять их исподволь. Никогда они не должны быть твоими наперсниками, читать тайны в твоём сердце, иначе употребят во зло доверие и твоими же тайнами свяжут тебе руки – оковами, которые труднее разорвать, чем железные цепи. Возлагай на них временные поручения, будь к ним благосклонен, владей их страстями так, чтобы они находили в собственных своих страстях побуждение быть тебе верными: единственное средство держать их в покорности. Но не вводи их в свои тайные советы. Имей всегда в готовности пищу для их самолюбия, но никогда не вверяй им ни сердца, ни главного управления. Когда государство спокойно, устроено, управляется людьми разумными, правдолюбивыми, верными, тогда злые, терпимые в службе по нужде, мало-помалу делаются излишними. Снисхождение к ним и тогда не должно изменяться: неблагодар-

ность ни в каком случае не дозволена даже и против злодеев, но снисхождением надобно стараться прежде всего обращать их к добродетели. Надобно сносить в них недостатки, свойственные человечеству, но в то же время утверждать силу власти, предваряя тем зло, которому они открыли бы все пути без обуздания. Одним словом, и то уже худо, что злые употребляются орудиями в добрых делах: это зло нередко неизбежное, но должно стараться исподволь отстранять такие орудия. Государь мудрый, у которого одна цель – добро и справедливость, обойдется со временем без хитрых людей с корыстными видами: будет у него много честных людей с дарованиями.

Но не довольно того, чтобы находить людей честных и с дарованиями, надобно пересоздать, образовать их на будущее время.

– Тут-то и камень преткновения, – сказал Телемак.

– Совсем нет, – отвечал Ментор, – пожелай только найти людей неукоризненных и с способностями, выведи их из толпы, из мрака безвестности: пример оживит всякого, в ком есть способности и чувство чести. Никто не пощадит для тебя труда. Многие зачухли в безвестности, а были бы людьми полезными, если бы соревнование и уверенность в успехе разбудили в них уснувшие дарования. Сколько раз нищета и невозможность выйти из толпы прямым путем добродетели заставляли людей пролагать себе к счастью кривые дороги! Определи награды и почести за разум и добродетель: люди

образуются к служению сами собой. И сколько их ты образуеть, возводя по степеням от низшего к высшему званию? Усовершишь тем их способности, узнаешь на опыте всю силу ума и всю искренность их добродетели. Займут высшие звания люди, образованные с низших должностей у тебя под глазами, будет известна тебе вся их жизнь во всех ее переменях, будешь судить о них не по словам, а по деяниям.

Так они беседовали, и между тем завидели корабль феакийский у небольшого острова, обложенного кругом страшными камнями. Той порой в воздух стихло, веял зефир – и тот притаился, море было ровно и гладко, как зеркало, корабль в сонной воде стоял неподвижно, и парус, опустившись, не шевелился, гребцы в истоме напрасно истощали последние силы: надобно было пристать к острову, невзирая на то, что он был голой скалой, а не землей обитаемой. Не в столь мертвую тишь нельзя было бы и подумать подойти безнаказанно к этому берегу.

Феакияне и салентинцы с равным нетерпением ожидали попутного ветра. Телемак, перебираясь с камня на камень, пошел к феакиянам, и первого, кто ему встретился, спросил, не видел ли он Улисса, царя Итаки, в доме царя Алциноя?

То был не феакиянин, а неизвестный странник, с лицом величественным, но унылым и мрачным. В глубокой думе, казалось, он не слышал вопроса, отвечал, но не тотчас, Телемаку:

– Ты не ошибся, Улисс был у царя Алциноя, у которого в



доме гостеприимном живет страх к богу богов, но там уже нет его. Он отправился в Итаку, если судьба, преложив гнев на милость, дозволит ему наконец поклониться богам своих предков под родным кровом.

Сказал – и, печальный, пошел в небольшую наверху скалы тенистую рощу, откуда вдали от всех, одинокий, он глядел на море и, казалось, сетовал на остановку в пути.

Телемак не мог отвести от него взора, и чем более смотрел на него, тем более сострадал и смущался, говорил Ментору:

– Этот странник отвечал мне, как человек, который с разданным от горести сердцем не внемлет речи другого. Но, наученный несчастьем, я понимаю чужую беду и не могу видеть несчастного без соболезнования. Сердце мое что-то слышало, заныло, не знаю сам, от чего. Он принял меня холодно, слушал меня и отвечал неохотно, но все равно я желал бы видеть конец его бедствиям.

– Вот к чему служат несчастья в жизни, – отвечал с улыбкой Ментор, – внушают царям кротость и сострадание. Пока они усыплены сладким ядом постоянного счастья, почитают себя богами. Горы должны превращаться в долины, лишь бы желания их совершились. Люди в глазах их твари ничтожные, потеха от скуки. Скажет кто им о страданиях – словно сквозь сон о том слышат, скользят мимо ушей незнакомые звуки, они не знают расстояния между счастьем и бедой. Одно злополучие может научить их человеколюбию, каменному сердцу дать жизнь и чувство. Тогда они видят, что они

также люди и что должно щадить человечество. Если странник безвестный, бездомный, как и ты, в диком месте, приводит тебя в такую жалость, то не обольется ли некогда кровью твое сердце, когда ты увидишь язвы народа, который боги вверят тебе, как стадо пастырю, и который, может быть, застонет от твоего честолюбия, роскоши, неосмотрительности? Помни, что тот всегда виной бедствий народа, кто поставлен врачевать его раны.

С грустью и унынием Телемак слушал Ментора, потом сказал ему с некоторой горячностью:

– По словам твоим, жребий царя весьма несчастен. Он раб тех, кем обладает, обязан жертвовать им собой, предвидеть их нужды, он не принадлежит себе: слуга народа, слуга каждого из своих подданных, он должен применяться к их слабостям, исправлять, просвещать их с сердцем отеческим, распространять между ними довольство, он силен властью, но и власть не его, он не может ступить шага для собственной своей славы и удовольствия, власть его – власть закона, которому он первый должен покоряться для полезного примера своим подданным. Он только блюститель закона, язык его, и обязан недреманно пещись и трудиться, чтобы он один царствовал в его области. Нет во всем царстве человека, который имел бы менее свободы и покоя, как царь – невольник, продавший покой и свободу для общей свободы и общего блага.

– Без сомнения, царь для того только и носит венец, – от-

вечал Ментор, – чтобы быть стражем народа, как пастух стережет свое стадо, как отец оберегает семейство. Но несчастен ли тот, кто может делать добро тысячам? Царь исправляет злых наказаниями, добрых ободряет наградами; руководствуя таким образом людей к добродетели, он на земле образ бога. Не довольно ли для него славы быть блюстителем законов? Слава быть выше закона достойна презрения и ненависти. Не любит он добра – тогда он подлинно несчастен и напрасно будет искать покоя и мира душевного в страстях и суетности. Добр он – с таким сердцем найдет чистейшее и возвышеннейшее удовольствие в самых трудах, подъемлемых из любви к добродетели в надежде вечного воздаяния от богов за доблестный подвиг.

Великие истины, с которыми издавна свyksя, которые и другим внушал, Телемак слушал здесь, как бы совсем незнакомые: до такой степени был смущен тайной в сердце тоской! Какое-то огорчение, несогласное с его чувствами, возбуждало в нем дух прекословия, ропота против сказанных Ментором истин. Он возразил ему неблагодарностью в людях. Стоит ли труда, говорил, искать любви от людей, которые, верно, не воздадут тебе за то любовью, делать добро злым, чтобы они обратили тебе же во вред твои благодеяния?

– Неблагодарности нельзя не ожидать от людей, – спокойно отвечал ему Ментор, – но и затем не должно затворять от них сердца. Надобно делать людям добро не столько для них, сколько из любви к богам, учредившим служение лю-

дям. Добро содеянное не пропадает. Могут забыть его люди, боги помнят и награждают. Пусть, впрочем, народ будет неблагодарен: в толпе всегда найдутся немногие, которые умеют ценить добродетель. Наконец, и толпа, непостоянная и своевольная, рано или поздно отдает справедливость истинной добродетели.

Хочешь ли избегнуть неблагодарности? Трудись не о том только, чтобы твои подданные были могущественны, богаты, страшны оружием, счастливы прохладами роскоши. Слава, богатства, удовольствия повлекут за собой растрепывание нравов, возрастет от них зло, а с ним вместе и неблагодарность, ты оставишь народу пагубный дар, дашь ему выпить сладкого яда. Старайся исправить нравы, внушить подданным справедливость, человеколюбие, искренность, страх божий, верность, умеренность, бескорыстие. Будут они добры, будут и благодарны, получают от тебя в дар единственное в мире благо – добродетель, а с ней, когда она нелицемерна, не умрет в их сердце привязанность к тому, кому они будут обязаны познанием истинного блага. Такое не ложное добро принесет самому тебе добрый плод, и тогда не опасайся неблагодарности. Можно ли дивиться неблагодарности подданных тем повелителям, которые сами показали им пример несправедливости, необузданного честолюбия, зависти к соседям, бесчеловечия, надменности и вероломства? То и собирают, что сами посеяли. Но когда царь старается примером и властью утвердить в подданных добрые нравы, он находит за

труд свой возмездие в их добродетели, найдет, по крайней мере, в своей добродетели и в любви богов отраду во всякой невзгоде.

Потом Телемак спешил к феакиянам, которых корабль стоял у берега, и, встретив одного из них, старца, спросил его, откуда и куда они шли и не видали ль Улисса? Старец отвечал:

– Мы идем из своей родины, Феакии, в Эпир за товарами, Улисс, как ты уже слышал, был у нас, но недолго.

– Кто ваш спутник, – прервал Телемак, – тот, который ходит в глубокой грусти вдали от всех, одинокий, в ожидании попутного ветра?

– Он не наш соотечественник, – отвечал старец, – и нам совсем неизвестен, говорят, что его зовут Клеоменом. По сказаниям, он родом из Фригии. Прорицание будто бы еще прежде его рождения предрекло его матери, что он будет царем, если не останется в отечестве, в противном случае боги в гневе покарают Фригию жестокой моровой язвой. Родители отдали его, еще младенца, мореходцам отвезти в Лесбос, где он и воспитывался втайне за счет отечества: изгнание, от которого зависело спасение Фригии. Потом он возмужал, возрос в силе, в приятности, искусстве в телесных упражнениях, показал даже отличный вкус и ум в науках и изящных художествах, но нигде не находил гостеприимного крова. Молва о предсказании прорицалища распространилась, все знали его, куда он ни показывался, цари смот-

рели на него как на похитителя престолов. Таким образом, он с юного возраста скитается без приюта в целом мире, даже в странах, отдаленных от его отечества, и род его и предсказание о нем известны с первого его во всяком городе шага. Сколько он ни старается скрываться в безвестности и вести жизнь незаметную, скромную, отличные его дарования в войне, в науках, во всех важнейших событиях везде являются, наперекор ему, с блеском. Неожиданно всюду представляется ему не тот, так другой случай, где он забывает свою тайну. Отсюда все его бедствие: страшен умом и достоинствами и за то нигде не принят, во всех известных странах уважаем, всеми любим, предмет общего везде удивления, и, невзирая на то, отовсюду изгнан. Вот его участь! Он уже не молод, но не нашел еще ни в Азии, ни в Греции такого угла, где мог бы приклонить голову и жить спокойно. Без всяких видов честолюбия, равнодушный к богатству, он был бы счастлив, если бы ему не было обещано царство. Не утешает его и надежда возвратиться когда-либо в отечество: он знает, что принес бы туда с собой в дар каждому семейству горечь и слезы. Не льстит ему и царский венец – призрак, за которым он из страны в страну нехотя гоняется, невинный страдалец, гонимый судьбой и обреченный ей на потеху до старости; несчастный дар богов, который, смущая лучшие дни его, готовит ему печали в таких летах, когда человеку на закате жизни нужно уже только спокойствие. Теперь он идет, как сам говорит, в Фракию, с тем, не удастся ли ему встре-

тить дикое, необразованное племя, собрать его в общество, дать ему законы и управлять им несколько времени: полагает, что таким образом предсказание сбудется и что затем откроется ему свободный путь в самые цветущие царства. Тогда он думает поселиться в Карию и под сельским кровом посвятить себя любимому своему занятию – земледелию. Он человек умный и кроткий, боится богов, знает людей и умел везде жить с ними мирно, не раболепствуя. Таковы слухи о неизвестном нашем спутнике.

Слушая рассказ старца, Телемак часто обращал взоры на море. Проснулось море, встал ветер, покатались к берегу волны, били в утесы и обливали их серебряной пеной.

– Прощай! – сказал старец Телемаку. – Спутники мои ждут меня, – и поспешил на корабль.

Снялись с якоря, крик нетерпеливых мореходцев раздался по всему берегу.

Неизвестный переходил со скалы на скалу, измеряя с горных вершин беспредельное собрание вод, печальный лицом и сердцем. Телемак не терял его из вида, считал каждый шаг его. Сердце его делило всю горесть добродетельного страдальца, рожденного с высоким предназначением, но бездомного, преследуемого судьбой, изгнанника из родины. По крайней мере, я, – говорил он сам себе, – может быть, еще увижу Итаку, а ему никогда уже не видеть Фригии. Находил он какое-то облегчение в своей горе, видя, что есть человек, близкий к нему по несчастью, еще и его злополучнее. Меж-

ду тем странник, видя, что корабль его совсем готов, сошел со стремнины легко и свободно, как Аполлон переходит через глубокие дебри в ликийских лесах, когда, завязав свои русые волосы, с луком и со стрелами в руках, идет на охоту на вепрей и на оленей. Скоро корабль рассекал уже волны и мчался далеко от берега.

Тогда мрачная скорбь запала в сердце сына Улисса. Он тоскует, сам не зная, о чем, плачет и находит в слезах неизъяснимую сладость. Смотрит – вдоль по берегу лежат на траве в глубоком сне все мореходцы салентские: из сил они выбились, и волшебный сон обаял их чувства, и всемогущая Минерва низвела на них посреди ясного дня ночные тени. Удивляется он усыплению всех своих до единого в то самое время, как феакияне бодро и весело воспользовались попутным ветром, но и не подумав о том, чтобы идти разбудить усыпленных, он, неподвижный, следует взором за кораблем феакийским, почти уже незаметным для глаза, в изумлении и непостижимом для него беспокойстве души, не отводит от него взора, хотя видит уже только белый парус на синем море, не слышит даже того, что говорил ему Ментор, весь вне себя, в исступлении, подобно менадам, когда они с жезлами в руках бегают по берегу Гебра, по Исмарским и Родопским горам, оглашая их буйными кликами.

Прошло, наконец, в нем исступление, и вновь он залился слезами. Тогда Ментор говорил ему:

– Не дивлюсь я твоим слезам, любезный мой Телемак!



Причина твоей скорби, тебе неизвестная, не тайна для Мен-тора. Это голос природы, она являет свое право и силу, весть подала сердцу. Неизвестный, который так взволновал всю твою душу, был отец твой, великий Улисс. Рассказ о нем под именем Клеомена – не что иное, как его вымысел, чтобы удобнее скрыть возвращение свое в отечество. Он пошел отсюда прямо в Итаку и теперь уже у пристани – видит, наконец, предел столь долгих желаний, родную кремлю<sup>18</sup>. Ты видел и не узнал его, так тебе и предсказано. Скоро увидишь его уже не странником, скоро и он обнимет своего Телемака. Боги не могли даровать вам отрады узнать друг друга на чужой стороне. Смутилось и его вещее сердце, но он никогда не решится открыть своего имени в таком месте, где мог бы ожидать вероломства и оскорблений от злобных преследователей твоей матери. Улисс, отец твой, выше всех осторожной мудростью. Сердце его – глубокий кладезь. Тайна в нем непроницаема и недоступна. Он любит истину и никогда не скажет неправды, но правду говорит по мере надобности. Мудрость поставила к устам его стражу, чтобы никогда не выходило из них бесполезное, праздное слово. Когда он говорил с тобой, о, как билось его сердце! С каким трудом и усилием он подавлял в себе чувство, готовое вылиться! Как высказать словами всю его борьбу и страдание, когда он встретил тебя! Вот причина его печали и уныния!

Телемак, растроганный и изумленный, залился слезами и

---

<sup>18</sup> Крепость внутри города. – Прим. изд.

от стенаний долго не мог говорить, наконец сказал:

– О! Друг мой! Недаром во мне сердце горело, оно предчувствовало, кто этот странник. Но для чего ты скрыл от меня его имя? Ни сам ему ни слова не молвил, не показал даже вида знакомства? Что за тайна? Вечно ли быть мне несчастным, – под гневом богов вторым Танталом, который видит бегущую мимо уст его воду и тает от жажды? Отец мой! Неужели ты расстался со мною навеки? Неужели мне суждено никогда уже не видеть тебя? Преследователи моей матери могут завлечь его в сети, мне приготовленные. Был бы я с ним, с ним бы и умер. Отец мой! Если ты и не будешь вновь жертвой бури – чего я не должен бояться от неумолимой местности? Приводит меня в трепет страшная мысль, не ожидает ли тебя в Итаке та же несчастная участь, какая постигла Агамемнона в Мицене? Любезный Ментор! Зачем ты позавидовал моему счастью? Он был бы теперь в моих объятиях, я ступил бы уже вместе с ним на землю родную, с ним обнажил бы меч на злоумышленников.

– Примечай, любезный Телемак, свойство сердца человеческого, – отвечал с улыбкой Ментор. – Ты в отчаянии, что видел и не узнал отца, а вчера чего бы ты не дал за одно только удостоверение в том, что он жив? Уверился собственными глазами, но не на радость, самая уверенность сокрушает тебя. Так-то сердце человеческое, всегда больное, ни во что вменяет, как только получит предмет пламенных желаний, и мучит себя тем, чего еще не имеет.

Боги, оставляя тебя в неизвестности, искушают твоё терпение. Ты считаешь это время потерянным. Любезный Телемак! Это самое полезное время в твоей жизни, оно утверждает тебя в той добродетели, которая всего нужнее начальнику. Чтобы владеть собой и другими, надобно много терпения. Нетерпение – сила, огонь души – не что иное, как слабость, в которой нет силы переносить скорбь и невзгоды. Кто не умеет ожидать и терпеть, тот не лучше того, кто не умеет хранить вверенной ему тайны: в том и в другом нет твердости удерживать движения сердца; оба подобны человеку, у которого на бегу в колеснице нет в руках столько силы, чтобы остановить быстрых коней в случае надобности: почували бурные свободу, мчатся, как стрелы – несчастный свалился и лежит, весь разбитый. Так и нетерпеливый человек, увлекаясь необузданными, строптивыми желаниями, сам сходит в бездну несчастий, и чем более в руках его власти, тем нетерпение для него пагубнее. Он ничего не выжидает, ничего не даёт себе времени измерить, нудит и гонит, лишь бы воля его исполнилась, ветви рвет и ломает, чтобы достать плод, и то незрелый, дверь разбивает, не дожидаясь, пока будет отворена, хочет жать, когда разумный земледелец только еще засеивает, все, что ни делает наскоро, не вовремя – худо, и так же, как и все его прихоти, ненадолго. Человек, мечтающий быть всемогущим, позорит себя такими безрассудными действиями, предаваясь необузданным желаниям со злоупотреблением власти. Любезный Телемак! Боги ведут тебя че-

рез терны испытаний, держат тебя в неизвестности, тешатся страннической твоей жизнью – все для того, чтобы научить тебя терпению. Счастье, которое ты ищешь, мелькнет и исчезнет, как легкий сон на заре, даже и то, что уже в руках у тебя, вмиг улетает. Самые мудрые советы Улиссовы были бы тебе не так полезны, как долговременное его отсутствие, и труд, и печали твои во все это время.

Предстоял, наконец, Телемаку последний, но и разительнейший опыт терпения. Он спешил к мореходцам – с якоря сняться, как вдруг Ментор остановил его.

– Принесем здесь на берегу, – говорил он ему, – жертву Минерве.

И Телемак с покорностью исполняет его волю. Сложены из дерна два жертвенника, дым клубится от фимиама, струится кровь закланной жертвы, и сын Улиссов воссылает из умиленного сердца воздыхания к небу, полный благоговения ко всемогущему покровительству великой богини.

По совершении жертвы он пошел за Ментором под тенистым кровом дерев в середину недалекой от берега рощи. Вдруг видит, что лицо его друга принимает совсем иной образ: морщины сходят с чела, как исчезают ночные тени, когда Аврора, отворив алым перстом двери востока, зажигает на небе огненное зарево, глаза впалые, грозные переменяются в глаза голубые, полные нежности небесной, божественного пламени, седой бороды, на грудь небрежно сходившей, не стало. Телемак, изумленный, видит черты благо-

родные и величавые, но кроткие и приятнейшие, видит лицо девы, прекрасное, светлое, как весенний цветок, только что на солнце развившийся: белизна крина сливается на нем с непомрачимой розой и вечная юность с величием простоты без всякой хитрости. Волосы, рассыпаясь по плечам, разливают дух животворнейший, райский, одежда блещет, подобно как сумрачный свод небесной тверди сияет, когда восходящее солнце, позолотив облака, пестрит их яркими цветами. Оставив землю, богиня ходит по воздуху легко и тихо, как птица несется на крылах. В могучей ее руке блистает копье, перед которым вострепетали бы города и народы, знаменитейшие мужеством в бранях, сам Марс дрогнул бы от страха. Голос ее, нежный и кроткий, исполнен силы и власти. Всякое слово ее, как огненная стрела, проходит в сердце сына Улисса, наполняя его непонятной, но сладостной горестью. На шлеме ее видна печальная птица афинская, а на груди светится страшный эгид. Телемак по доспехам узнает Минерву.

– Великая богиня! – воскликнул он. – Теперь только я вижу, что тебе угодно было самой по любви к отцу руководствовать сына!

Далее не мог говорить, голос его замер, уста напрасно силились выразить мысли, исходившие, как волны, из глубины его сердца. В ужасе благоговения перед лицом божества он был подобен человеку в сонной мечте, когда испуг грудь ему давит, едва он дух переводит, и сомкнутые губы при всех

усилиях не могут произнести ни слова, ни звука.

Наконец Минерва сказала ему:

– Внемли мне в последний раз, сын Улиссов! Никого еще из смертных я не наставляла с таким, как тебя, попечением: я провела тебя сквозь бури на море, по странам неизвестным, сквозь кровавые битвы, сквозь все беды, какими только может быть искушаемо сердце человеческое, показала тебе на опыте истинные и ложные правила власти. Самые преткновения твои обратились тебе в пользу не менее, как и несчастья. И кто может властвовать мудро, если никогда беды не терпел и скорбями от собственных своих погрешностей не выстрадал опыта?

Землю и море ты, как и отец твой, наполнил молвой о печальной своей участи. Иди! Ты теперь достоин идти по стопам его. Остается тебе недалний и нетрудный путь до Итаки, куда Улисс теперь же приходит. Под знаменами его против врагов повинуйся ему, как последний из его подданных, покажи собой всем пример скромной покорности. Он соединит тебя браком с Антиопой, и ты будешь с нею счастлив в воздаяние за то, что искал не красоты, а мудрости и добродетели.

Когда будешь на престоле, стремись к той только славе, чтобы восстановить золотой век в своем царстве. Слушай всякого, верь немногим, и самому себе слепо не верь, бойся обмана, но никогда не бойся показать, что ты обманут.

Люби народ свой и ничего не щади, чтобы быть взаимно

любимым. Где нет любви, там только нужен страх – средство сильное, но и опасное, к которому затем надобно и прибегать не без сокрушения.

Измеряй благовременно последствия всякого предприятия, предусматривай все неудачи, невзгоды, и знай, что истинное мужество видит и исчисляет опасности, но не боится их, когда они неизбежны. Кто заранее не хочет видеть опасностей, в том нет столько силы души, чтобы спокойно смотреть на находящую тучу. Кто видит издали все опасности, избегает, чего можно избегнуть, затем идет сквозь огонь и воду бесстрашно, тот мудр и великодушен.

Избегай неги, роскоши и расточительности, гордись простотой, лучшим твоим украшением везде, и в царских чертогах пусть будут добрые дела и доблесть, пусть они будут и верной твоей стражей, покажи всем и каждому, в чем состоит истинная честь.

Не забывай, что царь на престоле не для своей собственной славы, а для блага народа. Века, сменяясь, чтут добро, им посеянное, но и зло, им соделанное, переходит из рода в род до отдаленнейшего потомства. Часто народы страдали не одно столетие от одного худого царствования.

Будь особенно на страже против запальчивого своего нрава – врага, которого ты будешь носить с собой везде до самого гроба, который не перестанет вкрадываться в твои советы и будет платить тебе изменой за внимание к его внушениям. Дух своенравия упускает из рук драгоценнейшие слу-

чай, возбуждает пристрастия и негодования детские: что до того, если сам же теряет при том величайшие выгоды? Вершит важные дела по ничтожным причинам, помрачает все дарования, затмевает славу мужества, делает человека причудливым, слабым, низким, несносным. Не верь столь опасному неприятелю.

Бойся богов, Телемак! Страх божий – величайшее сокровище сердца человеческого. Придут к тебе с ним и справедливость, и мир душевный, и радость, и удовольствия чистые, и счастливый избыток, и непомрачимая слава.

Оставляю тебя, сын Улиссов! Но мудрость моя всегда с тобой, доколе в тебе пребудет чувство, что без нее ни начать, ни совершить ничего ты не можешь. Пора тебе ходить без помощи. Я расставалась с тобой в Египте, в Саленте единственно для того, чтобы приготовить тебя к настоящей разлуке, подобно как мать отнимает младенца от груди, когда придет время давать ему вместо молока питательнейшую пищу.

С последним словом богиня вознеслась на воздух, вошла в светозарное облако и скрылась от взоров. Телемак, изумленный, вне себя, с глубокими вздыханиями, воздев руки к небу, пал на землю, потом возвратился к усыпленным своим спутникам, поспешил сняться с якоря, прибыл в Итаку и нашел там отца у верного Евмея.